

М

мемуары



Осип Мандельштам

ШУМ ВРЕМЕНИ

Осип Мандельштам  
ШУМ ВРЕМЕНИ

литературные



ВАГРИУС

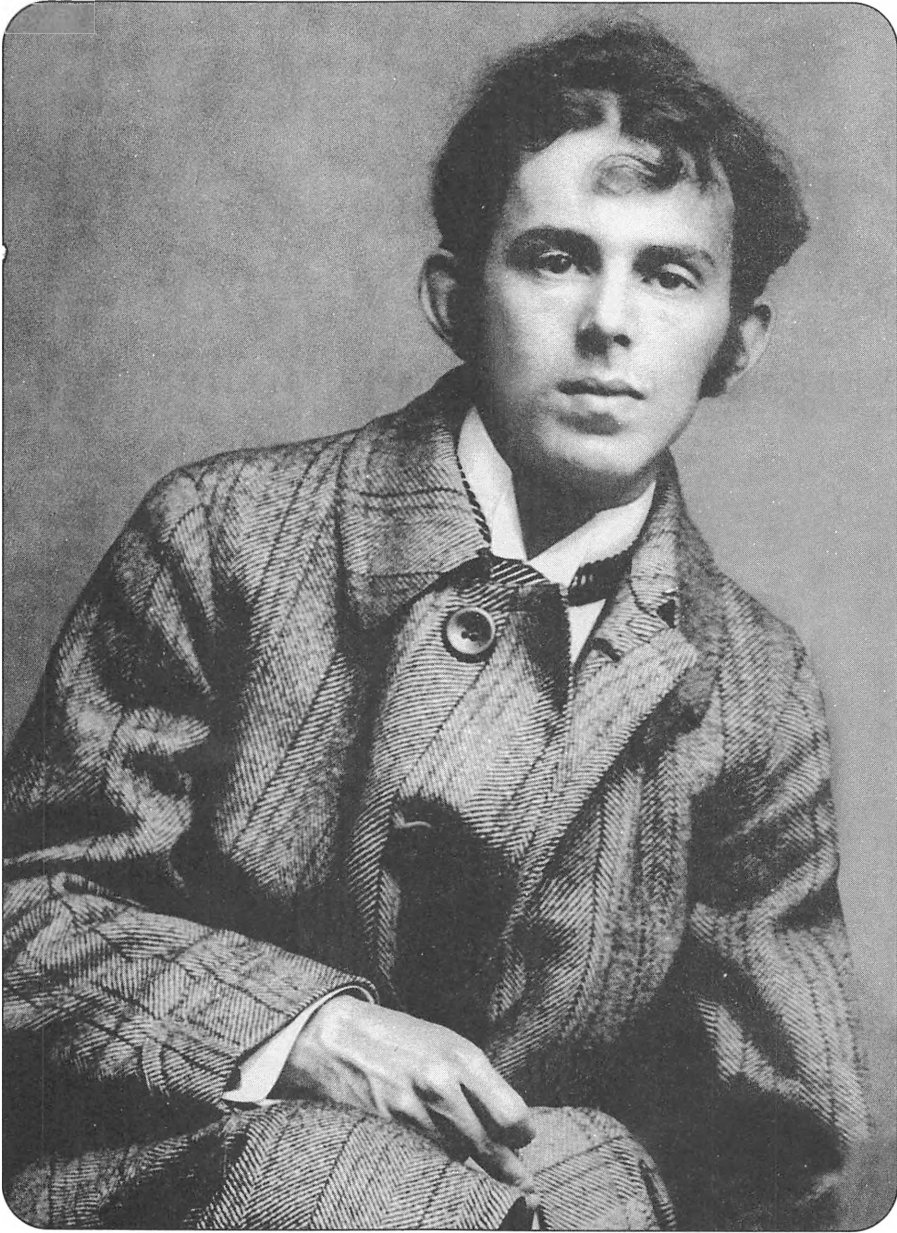
*мемуары*

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

*литературные*







*Осип Мандельштам*

---

ШУМ ВРЕМЕНИ

МОСКВА ВАГРИУС 2002

УДК 882-94  
ББК 84.Р7  
М 23

Федеральная программа книгоиздания России

*Предисловие Андрея Битова  
Примечания А.А.Морозова  
Подготовка текста С.В.Василенко и А.А.Морозова*

*Издательство благодарит  
за помощь в подборе иллюстративного материала  
Российскую государственную библиотеку по искусству,  
а также С.В.Василенко*

*На фронтиспise: О.Э.Мандельштам.  
Фотография 1914 года*

ISBN 5-264-00436-6

© Издательство "ВАГРИУС", 2002  
© А.Битов, предисловие, 2002  
© А.Морозов, примечания, 2002  
© Т.Костерина, дизайн серии, 2002



*Власть отвратительна, как руки брадобрея...*  
О.М.

---

1—3

---

*Есть три эпохи у воспоминанья...*

И три грамматических времени. Но — четыре времени года. Глаза — два. Рот — один. Один язык. Бог един. Век — это единица. Человек — век. Рифма бедная, но единственная. Десятками измеряются яйца на рынке, сотнями — года в истории. Человеческий век не равен историческому. Особенно если история укорачивает его на поколение.

«И внуки нас похоронят...» До трех не дадут досчитать!

Два сонных яблока у века-властелина  
И глиняный прекрасный рот,  
Но к млеющей руке стареющего сына  
Он, умирая, припадет.

Блудный сын тоже один. Как отец.

Написав «1 января 1924 года», по-видимому, именно 1 января, Осип Мандельштам ходил к гробу Ленина 23 января (*прибой у гроба*) и после этого еще работал над стихотворением.

Его воспоминание (оно же прощание) об эпохе родилось раньше, чем она ушла. Начинались «разборки» с другим отцом.

Все, что написал Мандельштам в прозе, — воспоминания (даже его статьи о литературе). С одним принципиальным отличием: мемуары его пишутся не *потом*, а сейчас, со скоростью и внезапностью лирики. Если он пишет о детстве, о Тенишевском училище («Шум времени»), то есть об очевидном *прошлом*, отрубленным революцией от непрерывного времени, то пишет он *сейчас*, и время написания важнее времени воспоминания. И когда время воспоминания приближается, становится *смутным* («Египетская марка», «Феодосия»), и когда вре-

мя впечатления и время повествования *совпадают*, как в «Путешествии в Армению» или «Четвертой прозе»... все это — сейчас.

Это сейчас=счастье происходит с читателем и сегодня.

Потому что настоящий текст важнее памяти: память уточняется текстом, текст всегда важнее события, именно он и есть событие. Он — настоящее, и он настоящий. Как «Медный всадник» или «Двенадцать».

Непреложный закон лирики.

Лирика лирикой, но Мандельштам пишет прозу именно прозой, совершенно не пугая этих стихий, лишь обогащаясь их принципиальным различием как в поэзии, так и в прозе. Это трудно доказать, но легко почувствовать:

*Золотистого меда струя из бутылки текла так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:*

*— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела...*

*Я сказал:*

*— Виноград, как старинная битва, живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке. (1921)*

*Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, и некуда бежать от века-властелина... Снег пахнет яблоком, как встарь... И известковый слой в крови больного сына растает, и блаженный брызнет смех... Но пишущих машин простая сонатина — лишь тень сонат могучих тех. (1924)*

*Ночью на Ильинке,*

*Когда ГУМы и тресты спят*

*И разговаривают на родном китайском языке,*

*Ночью по Ильинке*

*Ходят анекдоты.*

*Ходят Ленин с Троцким в обнимку,*

*Как ни в чем не бывало.*

*У одного ведрышко и константинопольская удочка  
в руке.*

*Ходят два еврея, неразлучные двое —*

*Один вопрошающий, другой отвечающий,*

*И один все спрашивает и спрашивает,*

*А другой все крутит, все крутит,*

*И никак им не разойтись. (1930)*

Где поэзия? Где проза? Где граница?  
Жизнь-поэзия-проза... вот три времени!

Я человек и народный: при Сталине я не знал ничего, кроме одного стихотворения, неизвестному мне лицу принадлежавшего; при Хрущеве я узнал все про то, чего не знал при Сталине; после советской власти (вот совпадение!) я попытался расплатиться с О.М. за все это, вернуть долг. Все это вместе — мое настоящее, то есть *воспоминание*.

---

#### 4

В армии повели к зубному. Зубного не было. Усадив на лавку у дверей кабинета, старшина сказал: «Отдыхайте». И отошел по своим делам.

Не ждите, а отдыхайте.

И вот ни зубного, ни сопровождающего... С тех пор эта унылая стена и дверь на фоне зубной боли символизируют для меня понятие «отдых».

31 декабря 2000 года кончился, а 1 января 2001 года начался... Ничего не произошло.

Сменилась эпоха описания. Вы еще не прошлое, но уже не будущее.

Вы — настоящее.

Отдыхайте.

Тем не менее переход оказался ознаменован:

26 декабря 2000 года исполнилось 175 лет восстанию декабристов.

27 декабря — 62 года со дня смерти Осипа Мандельштама.

30 декабря — 20 лет со дня смерти Надежды Яковлевны Мандельштам.

5 января 2001 года — 50 лет со дня смерти Андрея Платонова.

15 января — 110 лет Осипу Мандельштаму.

16 января, отслужив все эти мессы, на ровном месте, в трезвом виде, среди бела дня я упал и сломал себе ребро... Вот я и в XXI веке!

Лежу под сугробом, отдыхаю... *Кто время целовал в измученное темя, с сыновней нежностью потом он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном...*

Тот век окончательно кончился, этот — не начался.



28 января исполнилось 5 лет со дня смерти Иосифа... Помню, встретились мы с ним в 1971 году случайно на Невском. Погодка была... бабье лето...

Болтали о разнице поэзии и прозы. Кто из великих поэтов насколько ее понимал... На Пушкине сошлись, на Пастернаке разошлись. А вот что он сказал о Мандельштаме, не помню.

5 февраля с.г. в поезде Петербург—Москва снится мне сон. Будто я в некоем сером городе, но знаю, что это Воронеж; будто я в нем впервые, но знаю дорогу. Город спит. Я ложусь на одеяло около почтамта и начинаю ждать открытия.

Все пути ведут в Воронеж... Встречались ли Мандельштамы с Платоновыми?.. Перелистываю записную книжку в поисках воронежских телефонов: были же! Одна знакомая — у нее еще сын в Китае — перебралась сюда... *Хао-хао... Халды-балды... У тебя телефонов моих номера...*

## 5

---

Как только сажусь писать о Мандельштаме, у меня выгорает компьютер. Что в Москве, что в Питере. Каждый раз удается лишь заголовок. В Москве был «Выпрямительный вздох», в Питере — «Проза Музы, или Муза прозы». На какую-то не ту клавишу нажимаю...

От руки теперь что напишешь?.. Не стихи же!

*Мандельштам, чеши собак!* Я уже в Берлине. Здесь компьютер работает.

Здесь у меня на бумажке для табака, как *на городском гербе Армавира*, написано: *Einer neuen Wahrheit ist nichts schädlicher als ein alter Irrtum. Johann Wolfgang von Goethe*, — не иначе как *собака лает, ветер носит*.

Перевод оказывается дословным: с языка Горнфельда на язык де Костера.

Мандельштам был смешлив и обидчив. Как ребенок. Палец покажи — уже хохочет, пальцем покажи — уже обидится. В «Четвертой прозе» он рассмеялся над своей обидой. Это и есть радость. Как свобода.

## 6

---

Мой отец до конца жизни брился бритвой жиллет. Берег и холил станок как личное оружие — продувал ствол, правил лезвие о ладонь. До сих пор в ушах этот шаркающий звук — ладонь суха и тепла, и *кто-то дует в бутыл-*

жу (не очень жалобно). Чехова и отца я люблю ровно и одинаково.

Мандельштама люблю отдельно.

*Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем... не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного чёрта с просверленной дырочкой в середине...* — Я перепечатывал этот текст с рассыпающейся рукописи, выданной мне на ночь под клятвенные заверения, и смеялся в голос. Радовался. Впервые радовался свободе.

(Было лето 1963 года, дача в Токсово, пишущая машинка Adler... Первая публикация «Четвертой прозы» произошла по-чешски с моей машинописи. Надеюсь, что в перевод вкрались мои опечатки.)

---

## 7

Почему, однако, *четвертая*? Гениальный писатель всегда себе что-нибудь да присвоит: Набоков — бабочку, Платонов — паровоз. Мандельштам присвоил себе числительное — заслуга несравненная! Каббалистическая.

Возможно, проще: в «Египетской марке» — три прозы. 1928 год: выход этой (последней) книги прозы О.М. и газетная дуэль с Горнфельдом, закончившаяся выстрелом в воздух «Четвертой прозой», предстали перед мысленным взором О.М. под одной обложкой, что могло и рассмешить его обиду: *Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух.*

Настоящий выстрел и настоящий воздух.

---

## 8

А вдруг не только поэтому? *Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то — четырех задыханий придет выпрямительный вздох.*

Опять — четыре. Впрочем, и строчек — четыре.

Поэту даруется дар, читателю — поэт. Как странно, как индивидуально поэт приходит к читателю! Вот мой частный (он же личный) пример.

1. Я краду книгу.

У моего дядьки — библиотека. Она не сожжена в блокаде. Он поощряет мою тягу к чтению. Сталин еще жив.

Запрещенных книг у него нет, но неразрешенных — три шкафа. Стройные собрания сочинений: Мопассана и Мережковского, Блока и Джека Лондона. Я предпочитаю Джека: Смок Беллью — мой герой. Но есть и несколько случайных книг: так, мусор, декадентщина... «Весенний салон поэтов» (1918). Футуристическая обложка. 100 поэтов по алфавиту, от Адалис до Эренбурга. Маяковский, Есенин, Блок—Брюсов да еще блудница Ахматова... остальных даже не слышал: кто это — Цветаева, Ходасевич, Пастернак, Гумилев... Ивановы — братья? Кто мне сразу понравился, так это Ропшин (Савинков). И вдруг..

*...«Господи!» — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди... Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.*

Евангелия в библиотеке у дядьки не было. Это была, пожалуй, запрещенная книга. И стихотворение Мандельштама стало моей первой молитвой.

Камень, отваленный от груди, — первый выпрямительный вздох.

#### 2. Я дарю книгу.

*...Одиссей возвратился, пространством и временем полный,* — мой второй выпрямительный вздох: после «Tristia» мне уже не удалось почувствовать поэзию глубже. Я благополучно сбежал из Заполярья, из стройбата. Я был так влюблен, что подарил именно эту книгу... До сих пор жалею.

#### 3. У меня крадут книгу.

В 1961 году я стал счастливым обладателем всех четырех номеров «Русского современника», лучшего толстого журнала всех времен.

Он открывался стихотворением О.М. «1 января 1924 года». *То ундервуда хряц; скорее вырви клавиш — и щучью косточку найдешь...* Не пойму, чем так возмущали эти строчки Георгия Иванова, — меня они привели в восторг, оголосовали. Слово *гласность* еще не существовало, но для меня произошло: третий выпрямительный... (Любопытно, что журнал этот пропал у меня в связи с гласностью: я предложил его как образчик для перестройки «Нового мира». Мне его не вернули.)

#### 4. Мне дарят книгу.

Лето 1963 года, Таруса. Меня представили Надежде Яковлевне. Из ее рук я получил рукопись многострадального сборника О.М. Болтая ногами в речке, листаю «Воронежские тетради». После этого я готов от руки пере-



писывать его тексты. «Четвертая проза» — четвертый выпрямительный.

Вот мои четыре вдоха — по числу задыханий.

---

9

---

Не один я такой.

Мандельштама — любят. Не всенародной любовью, а — каждый.

Георгий Иванов обожает «Камень», беспокоится за судьбу поэта в «Tristia», находит беспредметным «1 января 1924 года» и лубочной «Армению».

Цветаева: «откуда такая нежность» — и «рву в клочки подлую книгу М-ма “Шум времени”».

Племя мандельштамоведов без наганов любит поэта робея, наконец, страшась такого вида собственности, как поэт.

Из стихов, посвященных ему после смерти, есть замечательные, по крайней мере два: Арсения Тарковского и Беллы Ахмадулиной. Белла в раю кормит О.М. огромным пирожным и плачет (а в стихах это вообще удивительно!).

В 1997 году, во Владивостоке, во дворе скульптора Валерия Ненаживина, я столкнулся с самой невероятной историей такой любви.

Воспитанный на ненависти к монументальной пропаганде, я еще ни разу не любил памятника конкретному человеку, даже писателю, с трудом смиряясь лишь с андреевским Гоголем, да с Опекушиным (опека над Пушкиным), да с дедушкой Крыловым (по подсказке того же Мандельштама) в Летнем саду.

Здесь, в тесном дворе, в толпе пограничников и горнистов, я видел подлинного Мандельштама! Предсмертный, он вытянулся к квадратику неба, гордо, поптичьи задрав свою птичью голову, поднеся задыхающуюся руку к замолкающему горлу. То самое пальто, те самые чуни... Он успевает сказать нам свое «прости». Невыносимо!

Памятник был поставлен у себя и для себя.

Скульптор не совершил античной ошибки Пигмалиона: он любил человека, а не статую. Ненаживин! — бывают же фамилии.

Историю создания он излагает так.

Конечно, он знал, что в его родном городе погиб поэт, но не больше. Однажды, в тексте современного авто-

ра, набрел на цитату. Строчка потрясла его. Он достал книгу Мандельштама и погрузился в нее. Он прочитал всего Мандельштама и все о Мандельштаме. Он почувствовал и пластику, и массу всех его слов. Он вылепил Мандельштама из этого материала, а не из глины.

## 10

Общепринято полагать, что прозой писать легче, чем стихами.

Может быть, потому, что в прозе нет рифм? Ритм в прозе есть.

Может, потому, что в прозе можно употребить много больше слов, чем в стихах?

Попробуйте, однако, употребить много слов, чтобы все были одним текстом!

Однако Муза Поэзии есть, а Музы Прозы нет.

Поэтому проза за поэтами признается, а стихи за прозаиками — нет. Разве что Набоков предпочтет стихи Бунина его *парчовой прозе*, вряд ли надеясь, что кто-нибудь совершит то же самое в отношении его самого. Замечательная тема в *непогоду* для ленинградского литературного чаепития. Тут нам Блок протягивает руку...

Он, кстати, замечательно *прозой* писал, в «Двенадцати» совершив этот переход через Перекоп, там и погибнув. О Тайне Поэзии знают хотя бы, что она есть. О Тайне Прозы не хочется думать.

Переход прозаика из прозы в поэзию — вид слабоумия.

Переход поэта из поэзии в прозу — вид безумия.

За одним исключением: когда они *знают* разницу. *Разницу* извели в «золотой век» Пушкин с Лермонтовым. Вот кто не путал Музу с Музой!

Написали «Пиковую даму» и «Тамань»; устав от напряжения начатого стихотворения, дописывали его прозой. *Пора, мой друг, пора!*

Мандельштам жужжал, когда писал стихи, пропуская свои царственные эпитеты, чтобы на досуге подыскать их поточнее. Не знаю, как он писал прозу... думаю, что посмеиваясь. Он ведал разницу и наслаждался ею.

Запечатлеть переход из стихии в стихию... возможно, именно здесь — непревзойденность «Медного всадника», жертва «Двенадцати» и некоторая пропущенность исследователями «1 января 1924 года».

Однако именно это стихотворение осталось в грамзаписи, запомнило его жужжание.

«Двенадцать» — это «Медный всадник» Блока, «1 января 1924 года» — это «Двенадцать» Мандельштама.

Это — дерзость. Это не прощается. Это приговор.

---

## 11

Переход из поэзии в прозу — вид безумия. Не знаешь, как тут быть. Как поступить. Слияние слова с поступком. *Поведение.*

Поведение поэту свойственно: личность выдавливается режимом поэзии на поверхность кожи. *Дано мне тело — что мне делать с ним, таким единым и таким моим?*

Поэтическое Я сменяется поведенческим Я, прозаически панибратствующим со стихотворным.

*Смотрите, как на мне топорищится пиджак... Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!.. Прыжок — и я в уме...*

И столько мучительной злости  
Таит в себе каждый намек,  
Как будто вколачивал гвозди  
Некрасова здесь молоток, —

напишет бывший автор «Tristia», провожая прощальным взглядом свою поэтику.

---

## 12

У Мандельштама граница поэзии и прозы не наблюдается, как у русалки переход в хвост, как у кентавра переход в лошадь, как и у прочих монстров культуры... *Говорили, что в обличье У поэта нечто птичье И египетское есть... Гнутым словом забавлялся, Птичьим клювом улыбался...*

Однако «1 января 1924 года» ведет в прозу так же, как «Четвертая проза» — в «Воронежские тетради».

*Я должен жить, дыша и большевея...*

Подсознание вводит в строку *вошь*.

Цитируя современность: хотел как лучше, а получилось как всегда.

Не получится.



Поиски общей жизни не равны общему делу.  
 Искренность усилий не равна энергии заблуждения.  
 Современники — сокамерники. Гений помещен в одиночку.

## 13

---

На границе прозы и поэзии расположено *поведение*. Если человек не в силах ничего создать, он может подать пример. В лучшие времена — стрелялись на дуэли, в худшие — сами стрелялись и вешались.

«На безмолвие стен человек отвечает безмолвием».

Смелость человека — на месте поэтической смелости.

Рвать расстрельные списки у Блюмкина, бить Алексея Толстого палкой по голове. После этого можно и по начальству побегать.

## 14

---

Никогда я по начальству не бегал. Николая Ивановича у меня не было.

А тут побежал. Даже с азартом.

Владивосток отстоит от Москвы не только на много тысяч километров и часов разницы, но и в истории. Тут советская власть на пять лет позже и на столько же лет прочнее: где у нас уже разрушилась — там еще разрушается, где у нас уже с транспарантами не ходят — здесь еще собираются: одни за мэра, другие против губернатора.

Меня не за того приняли: то ли за ревизора, то ли за Хлестакова. То есть приняли — и тот, и другой.

Один подарил мне свою фотографию, другой почему-то — мою.

Главное, что оба согласились, что памятник надо установить в будущем году в связи с шестидесятилетием гибели поэта.

## 15

---

Год, однако, шли переговоры, и будто я все это время продолжал сидеть в приемной у губернатора в очереди из врачей и казаков. Они были передо мной. Наконец се-

кретарша (*совершенная белочка, маленький грызунок* — попробуй скажи лучше!) ввела меня под портрет Муравьева-Амурского, пред очи Самого, вручившего мне мой собственный портрет в рамочке.

— А кто такой Мандельштам?

— Величайший русский поэт нашего века.

— Русский?

— Поэты нерусскими не бывают.

— С сегодняшнего дня читаю только его.

Это документально. Через год мы со съёмочной группой\* приехали ставить памятник, застав обстановку еще более революционной: юбилей советской власти на Дальнем Востоке, выборы мэра, отмена выборов, пере-выборы... не до Мандельштама.

Ангелы! Именно поэтому памятник был установлен и открыт, шестидесятилетие гибели было отмечено. Берусь утверждать, что это первый подлинный памятник зэку на территории нашего Гулага.

---

## 16

---

Как не хотел Ненаживин расставаться с памятником: «Ему же здесь хорошо!»

Он был прав. Через год трусливая ночная стая отбила Мандельштаму и клюв, и руку. Теперь это называется ласково «актом вандализма».

Памятник вернулся *домой*. К папе.

И я снова в приемной. У нового мэра. Он меня завещает.

Теперь памятник отлит из металла и будет установлен в более подходящем месте: в самой *зоне*, где погиб поэт. Тогда это будет первый памятник не только зэку, но и зоне.

Удивительно послесмертие русского писателя! Тексты его дописываются, жизнь его доживается.

«Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы я крутил мельничьи жернова, все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками» («Четвертая проза»).

---

\* Телефильм «Конец пути» («Культура», 1999).

Чтение Мандельштама — тоже дело птичьё: по зернышку.

Мысль — живая. Она шевелится. Она принимает позу. Она ползает по строке до сих пор, следя за твоим взглядом.

*Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей...*

Как же он до сих пор не отдыхает!

*10 февраля 2001  
Берлин*

*Андрей Битов*

*литературные*

*мемуары*

ШУМ ВРЕМЕНИ

---



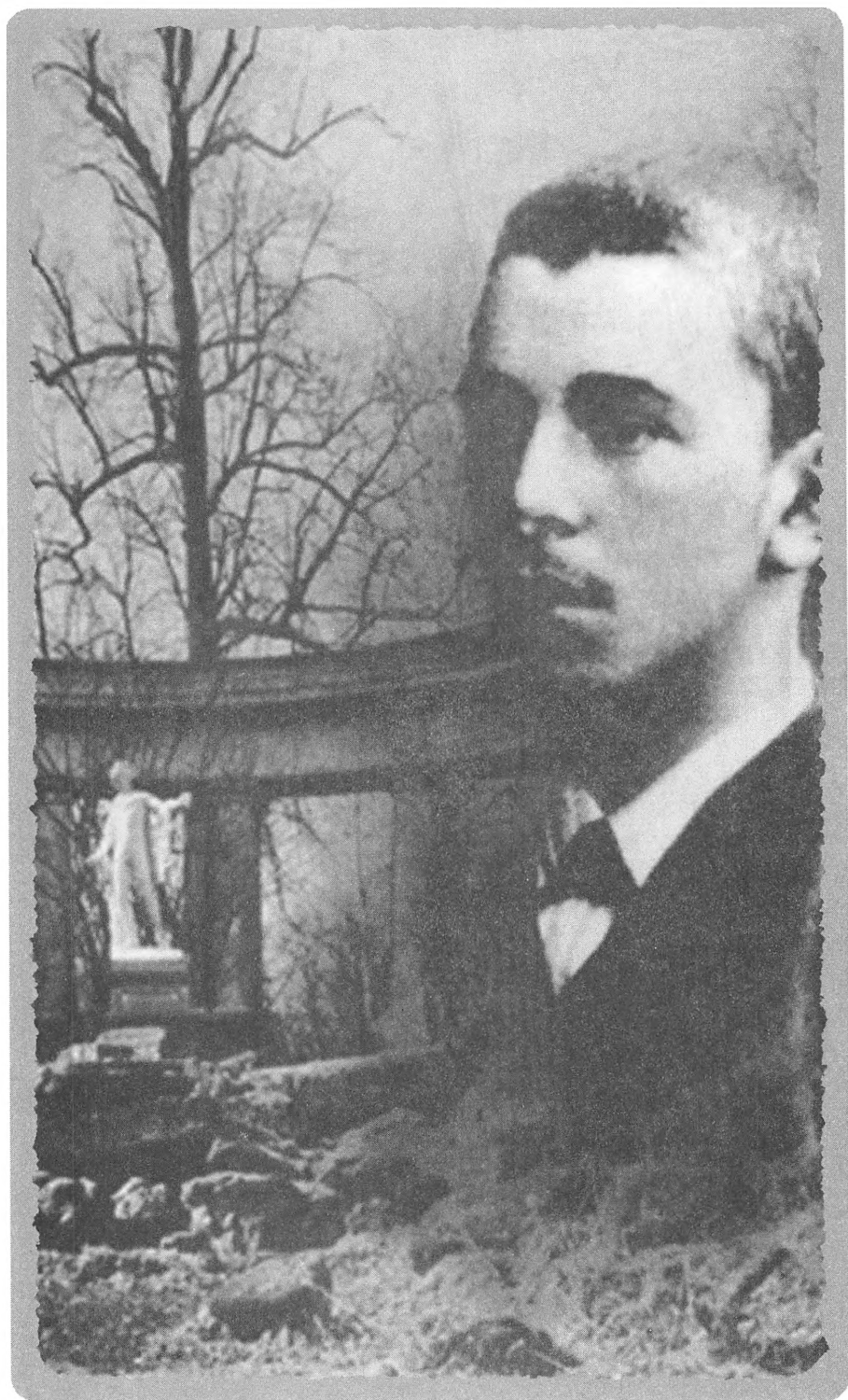
О. МАНДЕЛЬШТАМ

ШУШУ  
ВРЕМЕНИ



«ВРЕМЯ»  
1925





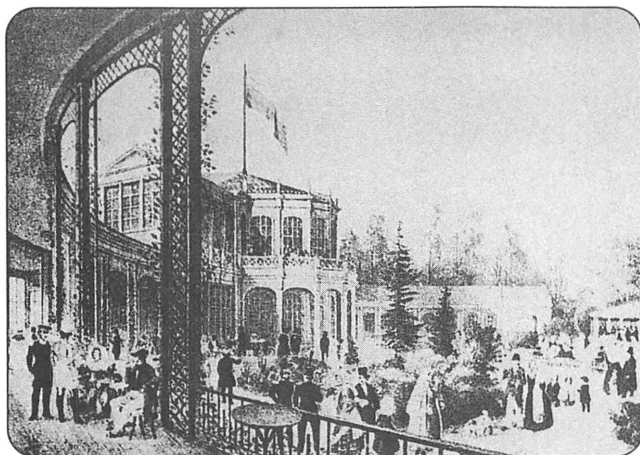
Я помню хорошо глухие годы России — девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм — тихую заводи: последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то «Крейцеровой сонате» и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, — девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни.

Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, эспаньолки, холеные бороды; мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и «à la кок».

В двух словах — в чем девяностые годы. — Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин в центре мира.

В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз





*Вокзал в Павловске.  
1890-е годы.*

и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы.

Вышло так, что мы сделали павловскими зимогорами, то есть круглый год на зимней даче жили в старушечьем городе, в российском полу-Версале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов — (жить в Павловске считалось здоровее) — и взяточников, скопивших на дачу-особняк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос и по рукам ходили двойные его карточки: на одной половине поет, а на другой затыкает уши, когда «Нива», «Всемирная новь» и «Вестники иностранной литературы», бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек!

Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти «Всемирные панорамы» и «Нови» были настоящим источником познания мира. Я любил «смесь» о страусовых яйцах, двуголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, и особенно картины, большие, во весь лист: малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам, таинственный опыт господина Фуко: металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложения, необъятную, расплывшуюся тогда литературу приложений к «Ниве» и проч. Интересы наши вообще были одинаковы, и я семи-восьми лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение *fin de*





## КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

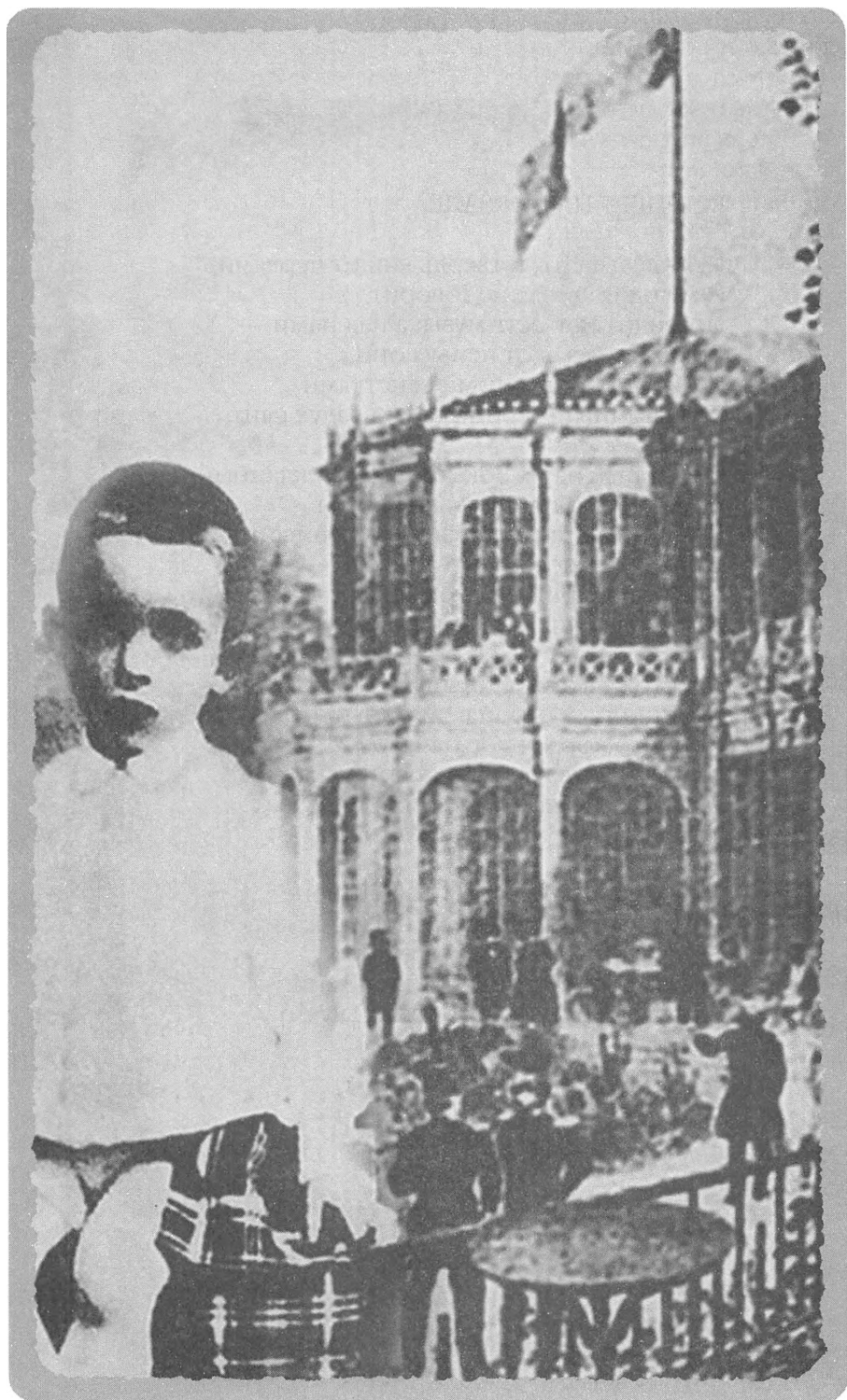
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,  
И ни одна звезда не говорит,  
Но, видит Бог, есть музыка над нами, —  
Дрожит вокзал от пенья аонид,  
И снова, паровозными свистками  
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.  
Железный мир опять заворожен.  
На звучный пир в элизиум туманный  
Торжественно уносится вагон.  
Павлиний крик и рокот фортепьянный.  
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,  
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.  
Ночного хора дикое начало  
И запах роз в гниющих парниках,  
Где под стеклянным небом ночевала  
Родная тень в кочующих толпах.

И мнится мне: весь в музыке и пене  
Железный мир так нищенски дрожит.  
В стеклянные я упираюсь сени.  
Куда же ты? На тризне милой тени  
В последний раз нам музыка звучит.

1921





siècle, конец века, повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто, оправдав Дрейфуса и расквитавшись с Чёртовым островом, этот странный век потерял свой смысл.

У меня впечатленье, что мужчины исключительно были поглощены делом Дрейфуса, днём и ночью, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговорам.

На Невском, в здании костела Екатерины, жил почтенный старичок — рёре Лагранж. На обязанности этого преподобия лежала рекомендация бедных молодых французских девушек боннами к детям в порядочные дома. К рёре Лагранжу дамы приходили за советом прямо с покупками из Гостиного двора. Он выходил старенький, в затрапезной ряске, ласково шутил с детьми елейными католическими шутками, приправленными французским остроумием. Рекомендация рёре Лангранжа ценилась очень высоко.

Знаменитая контора по найму кухарок, бонн и гувернанток на Владимирской улице, куда меня частенько прихватывали, походила на настоящий рынок невольников. Чаявших получить место выводили по очереди. Дамы их обнюхивали и требовали аттестаций. Аттестация совершенно незнакомой дамы, особенно генеральши, считалась достаточно веской, иногда же случалось, что выведенное на продажу существо, присмотревшись к покупательнице, фыркнуло ей в лицо и отворачивалось. Тогда выбегала посредница по торговле этими рабынями, извинялась и говорила об упадке нравов.

Еще раз оглядываюсь на Павловск и обхожу по утрам дорожки и паркеты вокзала, где за ночь намело на поларшина конфетти и серпантина, — следы бури, которая называлась *galà* или «бенефис». Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали конки и спотыкались дон-кихотовы коночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила «каретка» — самый древний вид петербургского общественного экипажа; только по Невскому, гремя звонками, носились новые, желтые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях.

Конный памятник Николаю I против Государственного совета неизменно, по кругу, обхаживал замшелый от старости гренадер, зиму и лето в нахлобученной мохнатой бараньей шапке. Головной убор, похожий на митру, величиной чуть ли не с целого барана.

Мы, дети, заговаривали с дряхлым часовым. Он нас разочаровывал, что он не двенадцатого года, как мы думали. Зато о дедушках сообщал, что они — караульные, последние из николаевской службы и во всей роте их не то шесть, не то пять человек.

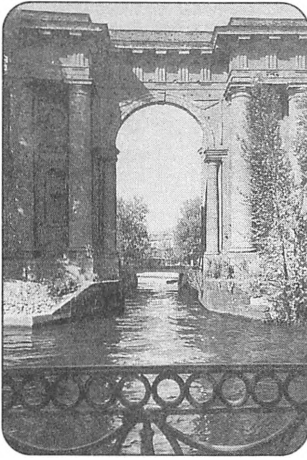
Вход в Летний сад со стороны набережной, где решетки и часовня, и против Инженерного замка охранялся вахмистрами в медалях. Они определяли, прилично ли одет человек, и гнали прочь в русских сапогах, не пускали в картузах и в мещанском платье. Нравы детей в Летнем саду были очень церемонные. Пошептавшись с гувернанткой или няней, какая-нибудь голоножка подходила к скамейке и, шаркнув или присев, пищала: «Девочка (или мальчик, — так было официальное обращение), не хотите ли поиграть в «золотые ворота» или «палочку-воровочку»?»

Можно себе представить, после такого начала, какая была веселая игра. Я никогда не играл, и самый способ знакомства казался мне натянутым.

Случилось так, что раннее мое петербургское детство прошло под знаком самого настоящего милитаризма, и, право, в этом не моя вина, а вина моей няни и тогдашней петербургской улицы.

Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной ее части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки.

Так незаметно подходили мы к Крюкову каналу, голландскому Петербургу элингов и нептуновых арок



*С.-Петербург.  
«Новая Голландия».*



*Дворцовая площадь. Арка Главного штаба.*

с морскими эмблемами, к казармам гвардейского экипажа.

Тут, на зеленой, никогда не езженной мостовой, муштровали морских гвардейцев, и медные литавры и барабаны потрясали тихую воду канала. Мне нравился физический отбор людей: все ростом были выше обыкновенного. Нянька вполне разделяла мои вкусы. Так мы облюбовали одного матроса — «черноусого» и приходили на него лично посмотреть и, уже отыскав его в строю, не сводили с него глаз до конца учения. Скажу и теперь, не обинуясь, что, семи или восьми лет, весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным.

Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то немислимым и идеальным всеобщим военным парадом.

Характерно, что в Казанский собор, несмотря на табачный сумрак его сводов и дырявый лес знамен, я не верил ни на грош.

Это место было тоже необычайное, но о нем после. Подкова каменной колоннады и широкий тротуар с щепочками предназначались для бунта, и, в воображении





*Дворцовый гренадер  
у конного памятника  
Николаю I в Петербурге.  
1900-е годы.*

моем, место это было не менее интересно и значительно, чем майский парад на Марсовом поле.

Какая будет погода? Не отменят ли? Да будет ли в этом году?.. Но уже раскидали доски и планки вдоль Летней канавки, уже стучат плотники по Марсову полю; уже горой пухнут трибуны, уже клубится пыль от примерных атак и машут флажками расставленные вешками пехотинцы. Трибуна эта строилась дня в три. Быстрота ее сооружения казалась мне чудесной, а размер подавлял меня, как Колизей. Каждый день я навещал постройку, любовался плавностью работы, бегал по лесенкам, чувствуя себя на подмостках участником завтрашнего великолепного зрелища, и завидовал даже доскам, которые наверное увидят атаку.

Если бы спрятаться в Летнем саду незаметно! А там — столпотворение сотни оркестров, поле, колосающееся штыками, чресполосица пешего и конного строя, словно не полки стоят, а растут гречиха, рожь, овес, ячмень. Скрытое движение между полков по внутренним просекам! И еще серебряные трубы, рожки, вавилон криков, литавр и барабанов... Увидеть кавалерийскую лаву!

Мне всегда казалось, что в Петербурге обязательно должно случиться что-нибудь очень пышное и торжественное.

*«Проезд»  
царской семьи  
по Дворцовой площади.  
1913.*



Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника. Военные разводы у Александровской колонны, генеральские похороны, «проезд» были моими ежедневными развлечениями.

«Проездами» тогда назывались уличные путешествия царя и его семьи. Я хорошо наострился распознавать эти штуки. Как-нибудь у Аничкова, как усатые рыжие тараканы, выползали дворцовые пристава: «Ничего особенного, господа. Проходите, пожалуйста. Честью просят...» Но уже дворники деревянными совками рассыпали желтый песок, но усы околоточных были нафабрены и, как горох, по Караванной или по Конюшенной была рассыпана полиция.

Меня забавляло удручать полицейских расспросами — кто и когда поедет, чего они никогда не смели сказать. Нужно признать, что промельк гербовой кареты с золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысаками в сетке всегда меня разочаровывал. Тем не менее игра в проезд представлялась мне довольно забавной.

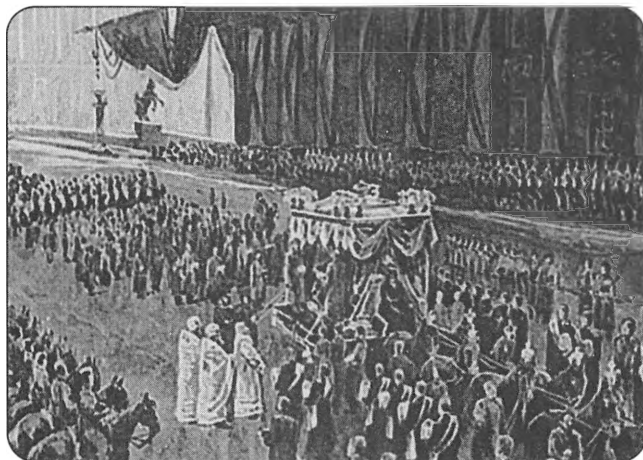
Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ, и самая архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм. Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был конногвардейский праздник на Благовещенье.

Помню также спуск броненосца «Ослябя», как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра эллинга.

Весь этот ворох военщины и даже какой-то полицейской эстетики пристал какому-нибудь сынку корпусного командира с соответствующими семейными традициями и очень плохо вязался с кухонным чадом среднемецанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами.

Дни студенческих бунтов у Казанского собора всегда заранее бывали известны. В каждом семействе был свой студент-осведомитель. Выходило так, что смотреть на эти бунты, правда на почтительном расстоянии, сходилась масса публики: дети с няньками, маменьки и тетеньки, не смогшие удержать дома своих бунтарей, старые чиновники и всякие праздношатающиеся. В день назначенного бунта тротуары Невского колыхались густой толпой зрителей от Садовой до Аничкова моста. Вся эта орава боялась подходить к Казанскому собору. Полицию прятали во дворах, например во дворе Екатерининского костела. На Казанской площади было относительно пусто, прохаживались маленькие кучки студентов и настоящих рабочих, причем на последних показывали пальцами. Вдруг со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего «у» или «ы», переходящий в грозное завывание, все ближе и ближе. Тогда зрители шарахались, и толпу мяли лошадьми. «Казаки, казаки», — пронеслось молнией, быстрее, чем летели сами казаки. Собственно «бунт» брали в оцепленье и уводили в Михайловский манеж, и Невский пустел, будто его метлой вымели.

Мрачные толпы народа на улицах были первым моим сознательным и ярким восприятием. Мне было ровно три года. Год был 94-й, меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра III. На Невском, где-то против Николаевской, сняли комнату в меблированном доме, в четвертом этаже. Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу: улица черна народом, спрашиваю: «Когда же они поедут?», говорят — «Завтра». Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть



*Похороны  
Александра III.  
1894.*

мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном, парадном виде. Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойки мимо шоколадного здания Итальянского посольства. Вдруг — там двери распахнуты и всех свободно впускают, а пахнет оттуда смолой, ладаном и чем-то сладким и приятным. Черный бархат глушил вход и стены, обставленные серебром и тропическими растениями, очень высоко лежал набальзамированный итальянский посланник. Какое мне было дело до всего этого? Не знаю, но это были сильные и яркие впечатления, и я ими дорожу по сегодняшний день.

Обычная жизнь города была бедна и разнообразна. Ежедневно к часам пяти происходило гулянье на Большой Морской — от Гороховой до арки Генерального штаба. Все, что было в городе праздного и вылощенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь и пересмеиваясь: звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка английского магазина и жокей-клуба. Сюда же бонны и гувернантки, молодежь французенки, приводили детей: вздохнуть и сравнить с Елисейскими полями.

Ко мне нанимали столько французенок, что все их черты перепутались и слились в одно общее портретное пятно. По разумению моему, все эти французенки и швейцарки от песенок, прописей, хрестоматий и спряжений сами впадали в детство. В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояла фигура великого императора Наполеона и война двенадцатого года, затем следовала Жанна д'Арк (одна швейцарка, впрочем, попалась кальвинистка), и сколько я ни пытался, будучи любознателен, выведать у них о Франции, ничего не уда-

валось, кроме того, что она прекрасна. У французенок ценилось искусство много и быстро говорить, у швейцарок знание песенок, из которых коронная — «песенка о Мальбруке». Эти бедные девушки были проникнуты культом великих людей: Гюго, Ламартина, Наполеона и Мольера. По воскресеньям их отпускали слушать мессу, никаких знакомств им не полагалось.

Где-нибудь в Иль-де-Франсе: виноградные бочки, белые дороги, тополя, винодел с дочками уехал к бабушке в Руан. Вернулся — все «scellé»\*, прессы и чаны опечатаны, на дверях и погребках — сургуч. Управляющий пытался утаить от акциза несколько ведер молодого вина. Его накрыли. Семья разорена. Огромный штраф, — и в результате суровые законы Франции подарили мне воспитательницу.

Да какое мне дело было до гвардейских праздников, однообразной красоты пехотных ратей и коней, до батальонов с каменными лицами, текущих гулким шагом по седой от гранита и мрамора Миллионной?

Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался — и бежал, всегда бежал.

Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушенья, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг «Бытия», брошенных в пыль на нижнюю полку шкафа, ниже Гёте и Шиллера, и клочками черно-желтого ритуала.

Крепкий румяный русский год катился по календарю, с крашеными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками, декабрем, вейками и дачей. А тут же путался призрак — новый год в сентябре и невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош-Гашана и Иом-Кипур.

---

\* «Опечатано» (фр.).

Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских. И это пахнет не только кухня, но люди, вещи и одежда. До сих пор помню, как меня обдало этим приторным еврейским запахом в деревянном доме на Ключевой улице, в немецкой Риге, у бабушки и дедушки. Уже отцовский домашний кабинет был непохож на гранитный рай моих стройных прогулок, уже он уводил в чужой мир, а смесь его обстановки, подбор предметов соединялись в моем сознании крепкой вязкой. Прежде всего — дубовое кустарное кресло с балалайкой и рукавицей и надписью на дужке «Тише едешь — дальше будешь» — дань ложнорусскому стилю Александра III; затем турецкий диван, набитый гроссбухами, чьи листы папиросной бумаги исписаны были мелким готическим почерком немецких коммерческих писем. Сначала я думал, что работа отца заключается в том, что он печатает свои папиросные письма, закручивая пресс копировальной машины. До сих пор мне кажется запахом ярма и труда проникающий всюду запах дубленой кожи, и лапчатые шкурки лайки, раскиданные на полу, и живые, как пальцы, отростки пухлой замши — все это, и мещанский письменный стол с мраморным календариком, плавает в табачном дыму и обкурено кожами. А в черствой обстановке торговой комнаты — стеклянный книжный шкафчик, задернутый зеленой тафтой. Вот об этом книгохранилище хочется мне поговорить. Книжный шкаф раннего детства — спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не

стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном шкапу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка.

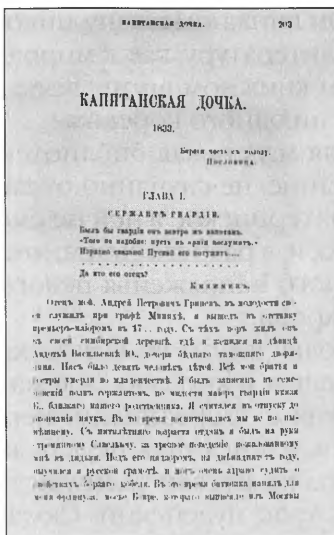
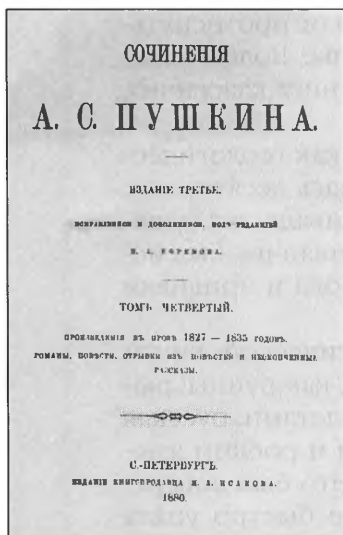
Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, не случайно отлагалась десятки лет. Отцовское и материнское в ней не смешивалось, а существовало розно, и, в разрезе своем, этот шкафчик был историей духовного напряженья целого рода и прививки к нему чужой крови.

Нижнюю полку я помню всегда хаотической: книги не стояли корешок к корешку, а лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос иудейский. Сюда же быстро упала древнееврейская моя азбука, которой я так и не обучился. В припадке национального раскаянья наняли было ко мне настоящего еврейского учителя. Он пришел со своей Торговой улицы и учил, не снимая шапки, отчего мне было неловко. Грамотная русская речь звучала фальшиво. Еврейская азбука с картинками изображала во всех видах — с кошкой, книжкой, ведром, лейкой — одного и того же мальчика в картузе с очень грустным и взрослым лицом. В этом мальчике я не узнавал себя и всем существом восставал на книгу и науку. Одно в этом учителе было поразительно, хотя и звучало неестественно, — чувство еврейской народной гордости. Он говорил об евреях, как французенка о Гюго и Наполеоне. Но я знал, что он прячет свою гордость, когда выходит на улицу, и поэтому ему не верил.

Над иудейскими развалинами начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гёте, Кёрнер — и Шекспир по-немецки — старые лейпцигско-тюрингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тисненых переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована как светильник, всадники с высокими лбами и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей.

Еще выше стояли материнские русские книги — Пушкин в издании Исакова семьдесят шестого года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического. В нем нет ничего лишне-



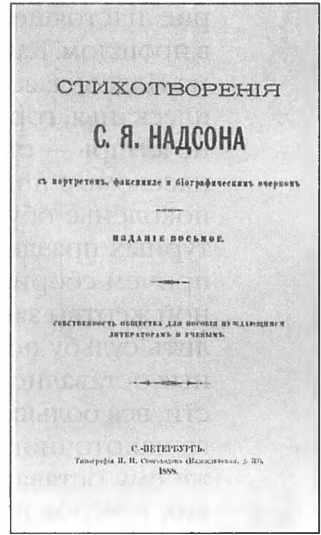


Сочинения А.С.Пушкина в издании Я.А.Исакова.

го: шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут свободно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные, четкие годы включительно по тридцать седьмой. Цвет Пушкина? Всякий цвет случаен — какой цвет подобрать к журчанию речи? У, идиотская цветовая азбука Рембо!

Мой исаковский Пушкин был в расцвете никакого цвета, в гимназическом коленкором переплете, в черно-бустрой, вылинявшей ряске, с землистым песочным оттенком, не боялся он ни пятен, ни чернил, ни огня, ни керосина. Черная песочная ряска за четверть века все любовно впитывала в себя, — духовная затрапезная красота, почти физическая прелесть моего материнского Пушкина так явственно мною ощущается. На нем надпись рыжими чернилами: «Ученице III-го класса за усердие». С исаковским Пушкиным вяжется рассказ об идеальных, с чахоточным румянцем и дырявыми башмаками, учителях и учительницах: 80-е годы в Вильне. Слово «интеллигент» мать и особенно бабушка выговаривали с гордостью. У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гёте и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и кровь и стихи журчали иначе.

А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к «Ниве». Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплеты картонные, обтянутые кожей. На Достоев-



*С.Я.Надсон и титульный лист его книги  
«Стихотворения» 1888 года издания.*

ском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нем говорили, что он «тяжелый»; Тургенев был весь разрешенный и открытый, с Баден-Баденом, «Вешними водами» и ленивыми разговорами. Но я знал, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает.

А не хотите ли ключ эпохи, книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая ни за что не хотела умирать и в узком гробу 90-х годов лежала как живая, книгу, листы которой преждевременно пожелтели, от чтенья ли, от солнца ли дачных скамеек, чья первая страница являет черты юноши с вдохновенным зачесом волос, черты, ставшие иконой? Вглядываясь в лицо вечного юноши — Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли вся книга? Не такова ли эпоха? Пошли его в Ниццу, покажи ему Средиземное море, он все будет петь свой идеал и страдающее поколение, — разве что прибавит чайку и гребень волны. Не смейтесь над надсоновщиной — это загадка русской культуры и в сущности непонятый ее звук, потому что мы-то не понимаем и не слышим, как понимали и слышали они. Кто он такой — этот деревянный монах с невыразительными чертами вечного юноши, этот вдохновенный истукан учащейся молодежи, именно учащейся молодежи, то есть избранного народа неких десятилетий, этот пророк гимназических вечеров? Сколько раз, уже зная, что Надсон плох, я все же перечитывал его книгу и старался услышать ее звук, как слышало поколение, отбросив поэтическое высокоме-

рие настоящего и обиду за невежество этого юноши в прошлом. Как много мне тут помогли дневники и письма Надсона: все время литературная страда, свечи, рукоплесканья, горящие лица; кольцо поколенья и в середине алтарь — столик чтеца со стаканом воды. Как летние насекомые под накаленным ламповым стеклом, так все поколенья обугливалось и обжигалось на огне литературных праздников с гирляндами иносказательных роз, причем сборища носили характер культа и искупительной жертвы за поколенья. Сюда шел тот, кто хотел разделить судьбу поколенья вплоть до гибели, — высокомерные оставались в стороне с Тютчевым и Фетом. В сущности, вся большая русская литература отвернулась от этого чахоточного поколенья с его идеалом и Ваалом. Что же ему оставалось? Бумажные розы, свечи гимназических вечеров и баркаролы Рубинштейна. Восьмидесятые годы в Вильне, как их передает мать. Вскуду было одно: шестнадцатилетние девочки пробовали читать Стюарта Милля, маячили светлые личности с невыразительными чертами, и с густою педалью, замирая на рiано, играли на публичных вечерах новые вещи львиного Антона. А в сущности происходило следующее: интеллигенция с Боклем и Рубинштейном, предводимая светлыми личностями, в священном юродстве не разбирающими пути, определенно поворотила к самосожжению. Как высокие просмоленные факелы, горели всенародно народовольцы с Софьей Перовской и Желябовым, а эти все, вся провинциальная Россия и «учащаяся молодежь», сочувственно тлели, — не должно было остаться ни одного зеленого листика.

Какая скудная жизнь, какие бедные письма, какие смешные шутки и пародии! Мне показывали в семейном альбоме дагерротипную карточку дяди Миши, меланхолика с пухлыми и болезненными чертами, и объясняли, что он не просто сошел с ума, а «сгорел»: так гласил язык поколенья. Так говорили о Гаршине, и многие гибели складывались в один ритуал.

Семен Афанасьич Венгеров, родственник мой по матери (семья виленская и гимназические воспоминанья), ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным, но «это» он понимал. У него «это» называлось: о героическом характере русской литературы. Хорош он был с этим своим героическим характером, когда плелся по Загородному из квартиры в картотеку, повиснув на локте стареющей жены, ухмыляясь в дремучую, муравьиную бороду!

Красенький шкаф с зеленой занавеской и кресло — «Тише едешь — дальше будешь» — часто переезжали с квартиры на квартиру. Стояли они в Максимилиановском переулке, где в конце стреловидного Вознесенского виднелся скачущий Николай, и на Офицерской, поблизости от «Жизни за царя», над цветочным магазином Эйлерса и на Загородном. Зимой, на Рождество, — Финляндия, Выборг, а дача — Териоки. В Териоках песок, можжевельник, дощатые мостки, собачьи будки купален, с вырезанными сердцами и зазубринами по числу купаний, и близкий сердцу петербуржца, домашний иностранец, холодный финн, любитель Ивановых огней и медвежьей польки на лужайке Народного дома, небритый и зеленоглазый, как его называл Блок. Финляндией дышал дореволюционный Петербург, от Владимира Соловьева до Блока, пересыпая в ладонях ее песок и растирая на гранитном лбу легкий финский снежок, в тяжелом бреду своем слушая бубенцы низкорослых финских лошадок. Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца и что сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив по самые брови низкое снежное небо и засыпая в маленьких гостиницах, где вода в кувшине ледяная. И я любил страну, где все женщины безукоризненные прачки, а извозчики похожи на сенаторов.

Летом в Териоках — детские праздники. До чего это было, как вспомнишь, нелепо! Маленькие гимназистки и кадеты в обтянутых курточках, расшаркиваясь с великовозрастными девицами, танцевали па-де-катр и па-де-патинер, салонные танцы 90-х годов, с сдержанными, бесцветными движениями. Потом игры: бег в мешках и с яйцом, то есть с ногами, увязанными в мешок, и с сы-



«Девушка Суоми».  
Открытка. 1899.

рым яйцом на деревянной ложке. В лотерею всегда разыгрывалась корова. То-то была радость француженкам! Только здесь они щебетали, как птицы небесные, и молодели душой, а дети сбивались и путались в странных забавах.

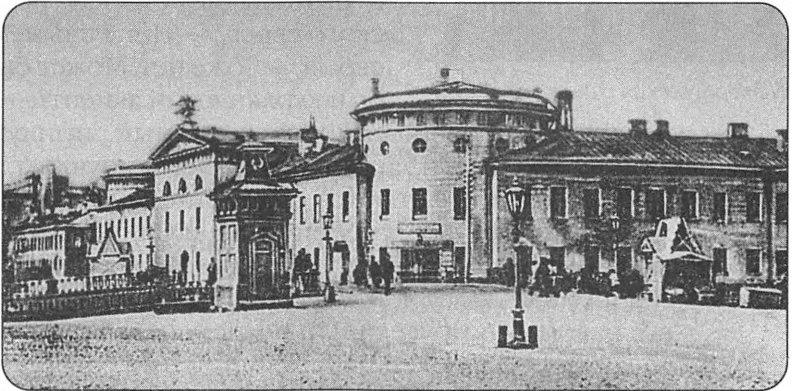
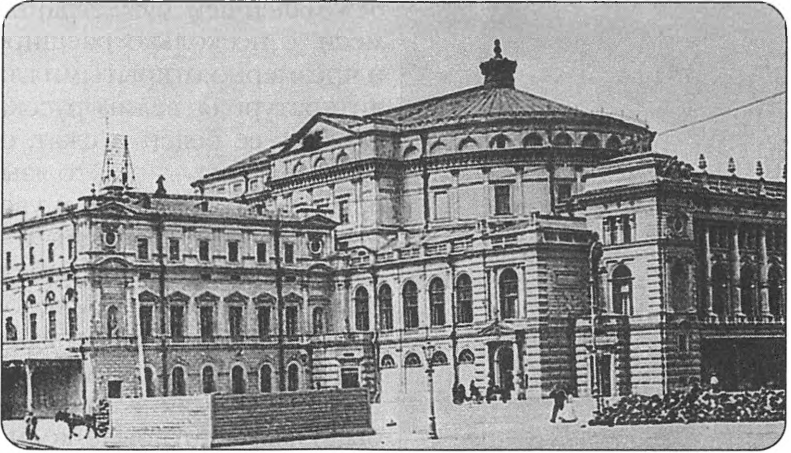
В Выборг ездили к тамошним старожилам, выборгским купцам — Шариковым, из николаевских солдат-евреев, откуда по финским законам повелась их оседлость в чистой от евреев Финляндии. Шариковы, по-фински «Шарики», держали большую лавку разных товаров: «*Seccatavaarankauppa*»\*, где пахло и смолой, и кожами, и хлебом, особым запахом финской лавки, и много было гвоздей и крупы. Жили Шариковы в массив-

ном деревянном доме с дубовой мебелью. Особенно гордился хозяин резным буфетом с историей Ивана Грозного. Ели они так, что от обеда встать было трудно. Отец Шариков оплыл жиром, как Будда, и говорил с финским акцентом. Дочка-дурнушка, чернявая, сидела за прилавком, а три другие, красавицы, по очереди бежали с офицерами местного гарнизона. В доме пахло сигарами и деньгами. Хозяйка, неграмотная и добрая, гости — армейские любители пунша и хороших саночек, все картежники до мозга костей. После жиденького Петербурга, меня радовала эта прочная и дубовая семья. Волей-неволей я попал в самую гущу морозного зимнего флирта высокогрудых выборгских красавиц. Где-то в кондитерской Фацера с ванильным печеньем и шоколадом, за синими окнами санный скрип и беготня бубенчиков... Вытряхнувшись прямо из резвых, узких санок в теплый пар сдобной финской кофейной, был я свидетелем нескромного спора отчаянной барышни с армейским поручиком — носит ли он корсет, и помню, как он божился и предлагал сквозь мундир прощупать свои ребра. Быстрые санки, пунш, карты, картонная шведская крепость, шведская речь, военная музыка — голубым пуншевым огоньком уплывал выборгский угар. Гостиница «Бельведер», где потом собиралась Первая Дума, славилась чистотой и прохладным, как снег, ослепительным бельем. Все тут было иностранщина — и шведский уют. Упрямый и хитрый городок, с кофейными мельни-

\* «Бакалейная лавка» (фин.).

цами, качалками, гарусными шерстяными ковриками и библейскими стихами в изголовьи каждой постели, как божий бич, нес ярмо русской военщины; но в каждом доме, в черной траурной рамке, висела картинка: простоволосая девушка Суоми, над которой топорщится сердитый орел с двойной головкой, яростно прижимает к груди книгу с надписью «Lex» — «Закон».

Однажды к нам приехала совершенно чужая особа, девушка лет сорока в красной шляпке, с острым подбородком и злыми черными глазами. Ссылаясь на происхождение из местечка Шавли, она требовала, чтобы ее выдали в Петербурге замуж. Пока ее удалось спровадить, она прожила в доме неделю. Изредка появлялись странствующие авторы: бородатые и длиннополые люди, талмудические философы, продавцы вразнос собственных печатных изречений и афоризмов. Они оставляли именные экземпляры и жаловались на преследования злых жен. Раз или два в жизни меня возили в синагогу, как в концерт, с долгими сборами, чуть ли не покупая билеты у барышников; и от того, что я видел и слышал, я возвращался в тяжелом чаду. В Петербурге есть еврейский квартал: он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут барышники, за тюремным ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка. Там, на Торговых, попадаются еврейские вывески с быком и коровой, женщины с выбивающимися из-под косынки накладными волосами и семенящие в сюртуках до земли многоопытные и чадолюбивые старики. Синагога с коническими своими шалками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений. Бархатные береты с помпонами, изнуренные служки и певчие, гроздь семисвечников, высокие бархатные камилавки. Еврейский корабль с звонкими альфовыми хорами, с потрясающими детскими голосами плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камилавки, и дивное равнове-

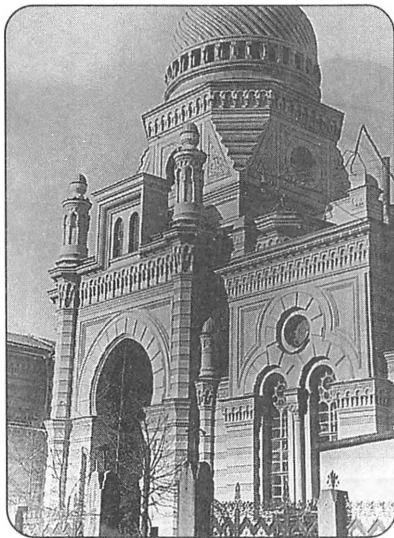


*Маринский театр. 1900-е годы.  
Литовский замок. 1900-е годы.*

сие гласных и согласных в четко произносимых словах сообщало несокрушимую силу песнопениям. Но какое оскорбление — скверная, хотя и грамотная, речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь-император», какая пошлость все, что он говорит! И вдруг два господина в цилиндрах, прекрасно одетые, лоснящиеся богатством, с изящными движениями светских людей прикасаются к тяжелой книге, выходят из круга и за всех, по доверенности, по поручению всех, совершают что-то почетное и самое главное. Кто это? Барон Гинзбург. А это — Варшавский.

В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах. Речь отца и речь матери — не сливанием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая,





*Петербургская синагога.*

без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, — но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку приbedненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков? У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких

не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно — по-русски или по-немецки.

По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводит в банках своих пауков. Предчувствуется — Руссо и его естественный человек. Все донельзя отвлеченно, замысловато и схематично. Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собрались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу; немного продержавшись, он падает из этого странного университета обратно в кипучий мир семидесятих годов, чтобы запомнить конспиративную молочную лавку на Караванной, откуда подводили мину под Александра, и в перчаточной мастерской и на ко-



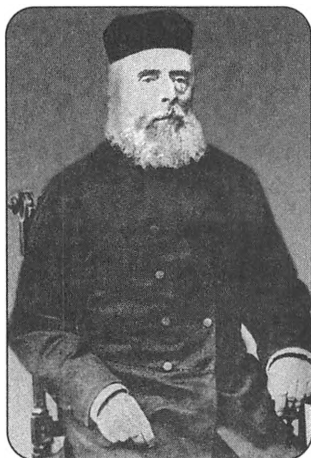
*Э.В.Мандельштам и Ф.О.Вербловская —  
отец и мать поэта.*

жевенном заводе проповедует обрюзгшим и удивленным клиентам философские идеалы восемнадцатого века.

Когда меня везли в город Ригу, к рижским дедушке и бабушке, я сопротивлялся и чуть не плакал. Мне казалось, что меня везут на родину непонятной отцовской философии. Двинулась в путь артиллерия картонок, корзинок с висячими замками, пухлый неудобный домашний багаж. Зимние вещи пересыпали крупной солью нафталина. Кресла стояли, как белые кони, в попоне чехлов. Невеселыми казались мне сборы на Рижское взморье. Я тогда собирал гвозди: нелепейшая коллекционерская причуда. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колючее богатство. Тут у меня отняли гвозди на укладку.

Дорога была тревожная. Тусклый вагон в Дерпте ночью, с громкими эстонскими песнями, приступом брали какие-то ферейны, возвращаясь с большого певческого праздника. Эстонцы топотали и ломились в дверь. Было очень страшно.

Дедушка — голубоглазый старик в ермолке, закрывавшей наполовину лоб, с чертами важными и немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев, — улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел — густые брови сдвигались. Он хотел взять меня на руки, я чуть не заплакал. Добрая бабушка в черноволосой накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми цветочками мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить.



*В.З.Мандельштам и С.Г.Вербловская — дед и бабушка поэта.*

Она спрашивала: «Покушали? покушали?» — единственное русское слово, которое она знала. Но не понравились мне пряные стариковские лакомства, их горький миндальный вкус. Родители ушли в город. Опечаленный дед и грустная суетливая бабушка попробуют заговорить — и нахохлятся, как старые обиженные птицы. Я порывался им объяснить, что хочу к маме, — они не понимали. Тогда я пальцем на столе изобразил наглядно желанье уйти, перебирая на манер походки средним и указательным.

Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подросла мать.

Отец часто говорил о честности деда как о высоком духовном качестве. Для еврея честность — это мудрость и почти святость. Чем дальше по поколениям этих суровых голубоглазых стариков, тем честнее и суровее. Прадед Вениамин однажды сказал: «Я прекращаю дело и торговлю — мне больше не нужно денег», ему хватило точь-в-точь по самый день смерти — он не оставил ни одной копейки.

Рижское взморье — это целая страна. Славится вязким, удивительно мелким и чистым желтым песком (разве в песочных часах такой песочек!) и дырявыми мостками в одну и две доски, перекинутыми через двадцативерстную дачную Сахару.

Дачный размах Рижского взморья не сравнится ни с какими курортами. Мостики, клумбы, палисадники, стеклянные шары тянутся нескончаемым городищем, все на желтом, каким играют ребята, измолотом в пшеницу канареечном песке.

Латыши на задворках сушат и вялят камбалу, одноглазую, костистую, плоскую, как широкая ладонь, рыбу. Детский плач, фортепианные гаммы, стоны пациентов бесчисленных зубных врачей, звон посуды маленьких дачных табльдотов, рулады певцов и крики разносчиков не молкнут в лабиринте кухонных садов, булочных и колючих проволок, и по рельсовой подкове, на песчаной насыпи, сколько хватает глаз, бегают игрушечные поезда, набитые «зайцами», прыгающими на ходу, от немецкого чопорного Бильдерлингсгофа до скученного и пахнущего пеленками еврейского Дуббельна. По редким сосновым перелескам блуждают бродячие оркестры: две трубы калачом, кларнет и тромбон — и, выдувая немилосердную медную фальшь, отовсюду гонимые, то здесь, то там раздражаются лошадиным маршем прекрасной Каролины.

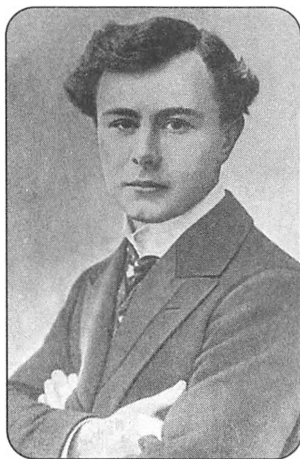
Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгородил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели бурши-корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы. В Майоренгофе, у немцев, играла музыка — симфонический оркестр в садовой раковине — «Смерть и просветление» Штрауса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свою отраду.

В Дуббельне, у евреев, оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского, и было слышно, как перекликались два струнных гнезда.

Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желанье Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра. Обрывки сильной скрипичной музыки я вылавливал в диком граммофоне дачной разноголосицы. Не помню, как воспиталось во мне это благоговенье к симфоническому оркестру, но думаю, что я верно понял Чайковского, угадав в нем особенное концертное чувство.

Как убедительно звучали эти размягченные итальянским безвольем, но все же русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке! Какая нить протянута от этих первых убогих концертов к шелковому пожару Дворянского собрания и тщедушному Скрябину, который вот-вот сейчас будет раздавлен обступившим его со всех сторон еще немым полукружием певцов и скрипичным лесом «Прометея», над которым высится, как щит, звукоприемник — странный стеклянный прибор.

В 1903—1904 году Петербург был свидетелем концертов большого стиля. Я говорю о диком, с тех пор не превзойденном безумьи великопостных концертов Гофмана и Кубелика в Дворянском собрании. Никакие позднейшие музыкальные торжества, приходящие мне на память, ни даже первины скрябинского «Прометея» не идут в сравнение с этими великопостными оргиями в белоколонном зале. Доходило до ярости, до исступления. Тут было не музыкальное любительство, а нечто грозное и даже опасное подымалось с большой глубины, словно жажда действия, глухое предысторическое беспокойство, точившее тогдашний Петербург — еще не пробил 1905 год, — выливалось своеобразным, почти хлыстовским радением трабантов Михайловской площади. В туманном свете газовых фонарей многоподъездное дворянское здание подвергалось настоящей осаде. Гарцующие конные жандармы, внося в атмосферу площади дух гражданского беспокойства, цокали, покрикивали, цепью охраняя главное крыльцо. Проскальзывали на блестящий круг и строились во внушительный черный табор рессорные кареты с тусклыми фонарями. Извозчики не смели подавать к самому дому — им платили на ходу, и они улепетывали, спасаясь от гнева околоточных. Сквозь тройные цепи шел петербуржец лихорадочной мелкой плотвой в мраморную прорубь вестибюля, исчезая в горящий ледяной дом, оснащенный шелком и бархатом. Кресла и места за креслами наполнялись обычным порядком, но обширные хоры с боковых подъездов — пачками, как корзины, человеческими гроздьями. Зал Дворянского собрания внутри широкий, коренастый и почти квадратный. Площадь эстрады отхватывает чуть не добрую половину. На хорах



*Иосиф Гофман  
и Ян Кубелик.*

июльская жара. В воздухе сплошной звон, как цикады над степью.

Кто такие были Гофман и Кубелик? — Прежде всего, в сознании тогдашнего петербуржца, они сливались в один образ. Как близнецы, они были одного роста и одной масти. Ростом ниже среднего, почти недомерки, волосы чернее вороньего крыла. У обоих был очень низкий лоб и очень маленькие руки. Оба сейчас мне представляются чем-то вроде премьеров труппы лилипутов. К Кубелику меня возили на поклон в Европейскую гостиницу, хотя я не играл на скрипке. Он жил настоящим принцем. Он тревожно взмахнул ручкой, испугавшись, что мальчик играет на скрипке, но сейчас же успокоился и подарил свой автограф, что от него и требовалось.

Вот, когда эти два маленьких музыкальных полубога, два первых любовника театра лилипутов, должны были пробиться через ломившуюся под тяжестью толпы эстраду, мне становилось за них страшно. Начиналось как вольтовой искрой и порывом набегающей грозы. Потом распорядители с трудом расчищали дорожку в толпе, и среди неопишемого рева со всех сторон навалившейся горячей человеческой массы, не кланяясь и не улыбаясь, почти трепеща, с каким-то злым выражением на лице, они пробивались к пюпитру и роялю. Это путешествие до сих пор кажется мне опасным: не могу отделаться от мысли, что толпа, не зная, что начать, готова растерзать своих любимцев. Далее — эти маленькие гении, властвуя над потрясенной музыкальной чернью, от фрейлины до курсистки, от тучного мецената до вихрастого репетитора, — всем способом своей игры, всей логикой и прелестью звука делали все, чтобы сковать

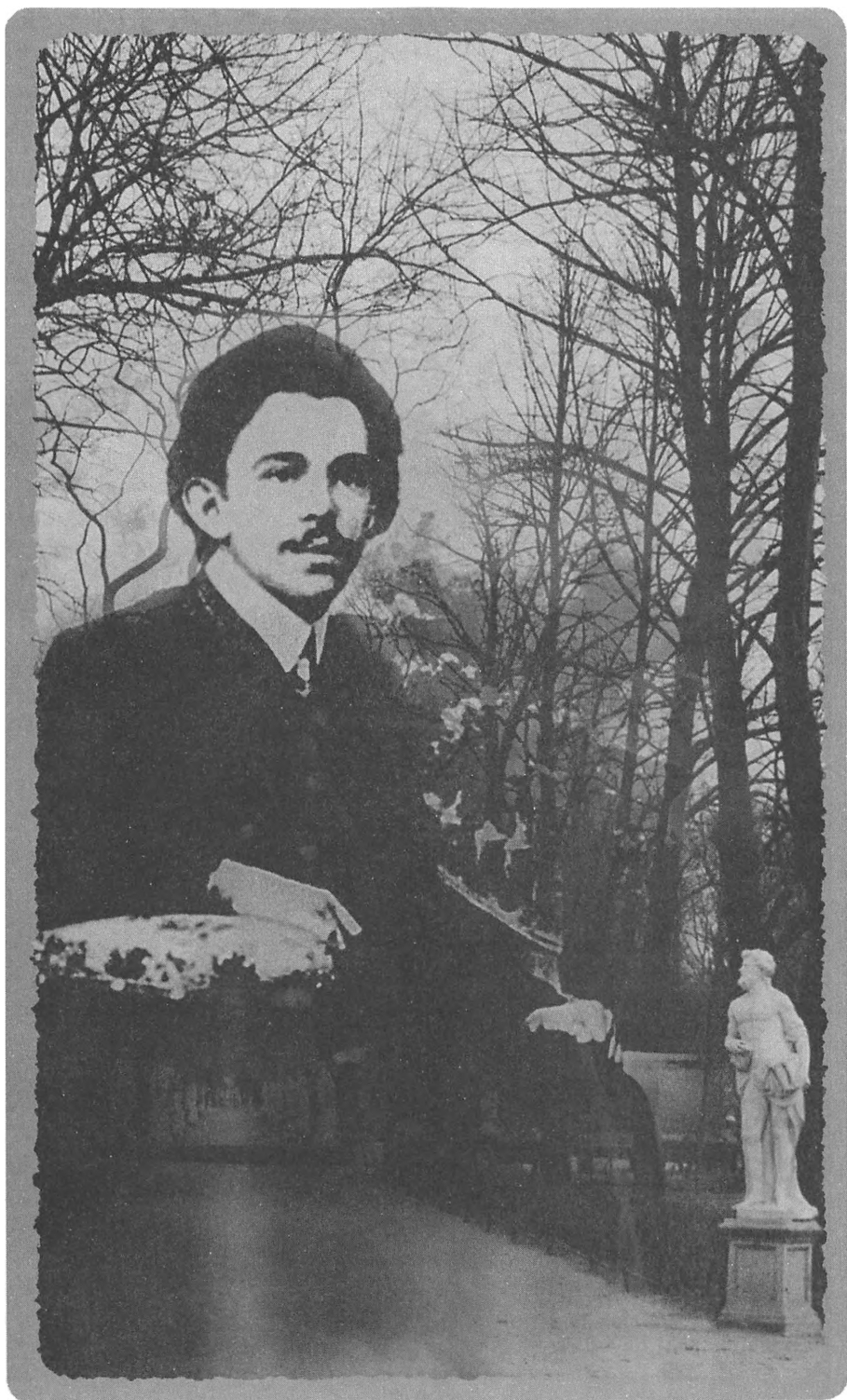
и остудить разнузданную, своеобразно дионисийскую стихию. Я никогда ни у кого не слышал такого чистого, первородно ясного и прозрачного звука, трезвого в рояли, как ключевая вода, и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса; я никогда не слышал больше такого виртуозного, альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля. Но то, что было в их исполнении ясного и трезвого, только больше бесило и подстрекало к новым неистовствам облепившую мраморные столпы, свисавшую гроздьями с хоров, усеявшую рядки кресел и жарко уплотненную на эстраде толпу. Такая сила была в рассудочной и чистой игре этих двух виртуозов.



На Загородном, во дворе огромного доходного дома, с глухой стеной, издали видной боком, и шустовской вывеской, десятка три мальчиков в коротких штанишках, шерстяных чулках и английских рубашечках со страшным криком играли в футбол. У всех был такой вид, будто их возили в Англию или Швейцарию и там приодели, совсем не по-русски, не по-гимназически, а на какой-то кембриджский лад.

Помню торжество: елейный батюшка в фиолетовой рясе, возбужденная публика школьного вернисажа, и вдруг все расступаются, шушукаются: приехал Витте. Про Витте все говорили, что у него золотой нос, и дети слепо этому верили и только на нос и смотрели. Однако нос был обыкновенный и с виду мясистый.

Что тогда говорилось, я не помню, но зато на Моховой, в собственном амфитеатре, с удобными депутатскими местами, на манер парламента, установился довольно разработанный ритуал, и в первых числах сентября происходили праздники в честь меда и счастья образцовой школы. Неизбежно на этих собраниях, похожих на палату лордов с детьми, выступал старик, доктор-гигиенист Вирениус. Это был старик румяный, как ребенок с банки Нестле. Он произносил ежегодно одну и ту же речь: о пользе плавания; так как дело происходило осенью и до следующего плавательного сезона оставалось месяцев десять, то его маневры и демонстрации представлялись неуместными; однако этот апостол плавания каждый год проповедовал свою религию на пороге зимы. Другой гигиенист, профессор князь Тарханов, восточный барин с ассирийской бородой, на уроках физиологии ходил от парты к парте, заставляя учеников слушать свое сердце через толстый бархатный жилет.





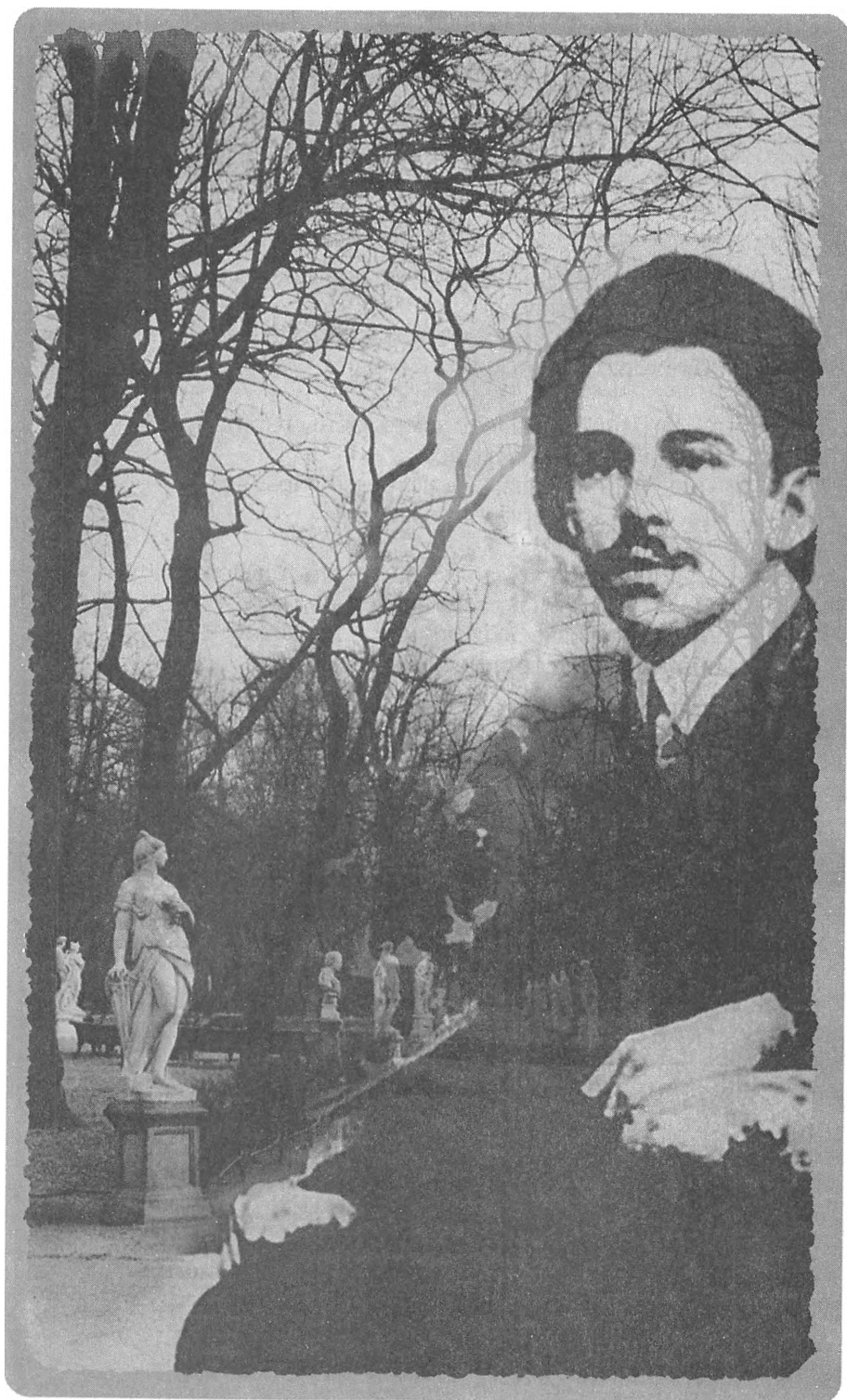
На страшной высоте блуждающий огонь,  
Но разве так звезда мерцает?  
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,  
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,  
Зеленая звезда мерцает.  
О, если ты звезда, — воде и небу брат,  
Твой брат, Петрополь, умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте  
Несется, крылья расправляет —  
Зеленая звезда, в прекрасной нищете  
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой  
Сломалась. Воск бессмертья тает.  
О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,  
Твой брат, Петрополь, умирает.

1918



Тикало не то сердце, не то золотые часы, но жилет был обязателен.

Амфитеатр с откидными партами, разбитый удобными дорожками на секторы, с сильным верхним светом, в большие дни брался с бою, и вся Моховая кипела, наводненная полицией и интеллигентской толпой.

Все это начало девятисотых годов.

Главным съемщиком тенишевской аудитории был Литературный фонд, цитадель радикализма, собственник сочинений Надсона. Литературный фонд по природе своей был поминальным учреждением: он читал. У него был точно разработанный годичный календарь, нечто вроде святцев, праздновались дни смерти и дни рождения, если не ошибаюсь: Некрасова, Надсона, Плещеева, Гаршина, Тургенева, Гоголя, Пушкина, Апухтина, Никитина и прочих. Все эти литературные панихиды были похожи, причем в выборе читаемых произведений мало считались с авторством покойника.

Начиналось обычно с того, что старик Исай Петрович Вейнберг, настоящий козел с пледом, читал неизменное: «Бесконечной пеленою развернулось предо мною, старый друг мой, море».

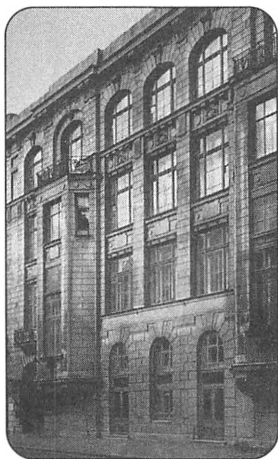
Затем выходил александринский актер Самойлов и, бия себя в грудь, истошным голосом, закатываясь от крика и переходя в злое шепот, читал стихотворение Никитина «Хозяин».

Дальше следовал разговор дам, приятных во всех отношениях, из «Мертвых душ»; потом «Дедушка Мазай и зайцы» Некрасова или «Размышление у парадного подъезда»; Ведринская щебетала: «Я пришел к тебе с приветом», в заключение играли похоронный марш Шопена.

Это литература. Теперь гражданские выступления. Прежде всего заседания Юридического общества, возглавляемого Максимом Ковалевским и Петрункевичем, где с тихим шипением разливался конституционный яд. Максим Ковалевский, подавляя внушительной фигурой, проповедовал оксфордскую законность. Когда кругом снимали головы, он произнес длиннейшую ученую речь о праве перлюстрации, то есть вскрытия почтовых писем, ссылаясь на Англию, допуская, ограничивая и урезуя это право. Гражданские служения совершались М.Ковалевским, Родичевым, Николаем Федоровичем Анненским, Батюшковым и Овсянниковым-Куликовским.

Вот в соседстве с таким домашним форумом воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторней-





Тенишевское училище.  
1899.

ших классах на 25 человек и отнюдь не в коридорах, а высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и пахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мученьи лягушек, в научном кипячении воды, с описанием этого процесса, и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках.

От тяжелого, приторного запаха газа в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд. К концу дня, отяжелев от уроков, насыщенных разговорами и демонстрациями, мы задыхались среди стружек и опилок, не умея перепилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска ударяла по пальцам; ничего не выходило. Инструктор возился с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали ручной труд.

На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлейн: «O Tannenbaum, o Tannenbaum!»\* Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков.

Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя: это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавших сюда по странному капризу родителей. Некий сын камергера Воеводский, красавец с античным профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и заставил присягать себе, целуя крест и Евангелие.

Вот краткая портретная галерея моего класса: Ванюша Корсаков, по прозвищу Котлета (рыхлый земец, прическа в скобку, русская рубашечка с шелковым поясом, семейная земская традиция: Петрункевич, Родичев); Барац, — семья дружит с Стасюлевичем («Вестник Европы»), страстный минералог, нем как рыба, говорит только о кварцах и слюде; Леонид Зарубин, — крупная углепромышленность Донского бассейна; сначала динамо-машины и аккумуляторы, потом — только Вагнер. Пржесецкий — из бедной шляхты, специалист по плевкам. Первый ученик Слободзинский — человек из сож-

\* Ёлочка, ёлочка! (нем.)

женной Гоголем второй части «Мертвых душ», положительный тип русского интеллигента, умеренный мистик, правдолюбец, хороший математик и начетчик по Достоевскому; потом заведовал радиостанцией. Надеждин — разночинец: кислый запах квартиры маленького чиновника, веселье и беспечность, потому что нечего терять. Близнецы — братья Крупенские, бессарабские помещики, знатоки вина и евреев. И, наконец, Борис Синани, человек того поколения, которое действует сейчас, созревавший для больших событий и исторической работы. Умер, едва окончив. А как бы он вынырнул в годы Революции!



*А.Я. Острогорский,  
директор  
Тенишевского училища.*

Вот и теперь еще разные старые дамы и хорошие провинциалы, желая похвалить кого-нибудь, говорят: «Светлая личность», — а я понимаю, что они хотят сказать. Это про нашего Острогорского иначе нельзя сказать, как на языке того времени, и старомодная напыщенность этого нелепого выражения уже не кажется смешной. Только первые годы столетия мелькали фалды Острогорского по коридорам Тенишевского училища. Он был близорук, щурился, излучая глазами насмешливый свет, — весь большая обезьяна во фраке, золотушный, с золотисто-рыжей бородой и волосами. Я уверен, что у него была именно чеховская невообразимая улыбка. Он не привился в двадцатом веке, хотя хотел в него попасть. Он любил Блока (а в какую рань!) и печатал его в своем «Образовании».

Он был никакой администратор, только щурился и улыбался и был очень рассеян; поговорить с ним удавалось редко. Всегда он отшучивался, даже там, где не нужно. «Какой у вас урок?» — «Геология». — «Сам ты геология». Все училище, со всеми своими гуманистическими турусами на колесах, держалось его улыбкой.

А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетраджах, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых.



Тысяча девятьсот пятый год — химера русской Революции, с жандармскими рысьими глазками и в голубом студенческом блине! Уже издавек петербуржцы тебя чужали, улавливали цоканье твоих коней и ежились от твоих сквозняков в проспиртованных аудиториях Военно-Медицинской или в длиннейшем «jeu de raume»\* меншиковского университета, когда рявкнет, бывало, как рассерженный лев, будущий оратор-армянин на тщедушного с.-р. или с.-д. и вытянут птичьи шеи те, кому слушать надлежит. Память любит ловить во тьме, и в самой гуще мрака ты родился, миг, когда — раз, два, три — моргнул Невский длинными электрическими ресницами, погрузился в крошечную ночь и в самом конце перспективы из густого косматого мрака показалась химера с рысьими жандармскими глазками, в приплюснутой студенческой фуражке.

Для меня девятьсот пятый год в Сергее Иваныче. Много их было, репетиторов революции! Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил: «Есть люди — книги и люди — газеты». Бедный Сергей Иваныч остался бы ни при чем при такой разбивке, для него пришлось бы создать третий раздел: есть люди — подстрочники. Подстрочники революции сыпались из него, шелестели папиросной бумагой в простуженной его голове, он вытряхивал эфирно-легкую нелегальщину из обшлагов кавалерийской своей, цвета морской воды, тужурки, и запрещенным дымком курилась его папироса, словно гильза ее была свернута из нелегальной бумаги.

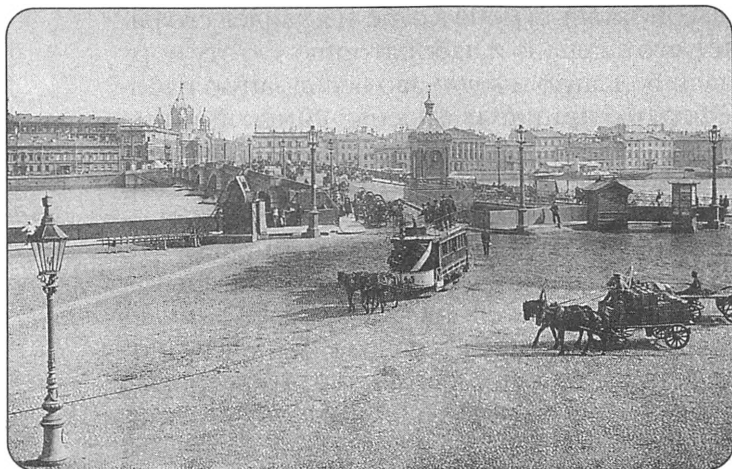
Я не знаю, где и как Сергей Иваныч усваивал. Эта сторона его жизни для меня, по молодости лет, была закры-

---

\* Зал для игры в мяч (*фр.*). Здесь: актовый зал.

та. Но однажды он затащил меня к себе, и я увидел его рабочий кабинет, его спальню и лабораторию. Об эту пору мы с ним делали большую и величаво бесплодную работу: писали реферат о причинах падения Римской империи. Сергей Иванович залпами в одну неделю надиктовал мне сто тридцать пять убористых страниц клеенчатой тетрадки. Он не задумывался, не справлялся с источниками, он выпрыдал, как паук, — из дымка папиросы, что ли, — липкую пряжу научной фразеологии, раскидывая периоды и завязывая узелки социальных и экономических моментов. Он был клиентом нашего дома, как и многих других. Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? В разгаре означенной работы Сергей Иванович привел меня к себе. Он проживал в сотых номерах Невского, за Николаевским вокзалом, где, откинув всякое щегольство, все дома, как кошки, серы. Я содрогнулся от густого и едкого запаха жилища Сергея Ивановича. Комната, надышанная и накуренная годами, вмещала в себе уже не воздух, а какое-то новое, неизвестное вещество, с другим удельным весом и химическими свойствами. И невольно пришла мне на память неаполитанская Собачья пещера из физики. За все время, что он здесь жил, хозяин, очевидно, ничего не поднял и не переставил, как истинный дервиш относясь к расположению вещей, сбрасывая на пол навеки то, что ему оказалось ненужным. Дома Сергей Иванович признавал лишь лежачее положение. Покуда Сергей Иванович диктовал, я косился на каменноугольное его белье; каково же я удивился, когда Сергей Иванович объявил перерыв и сварил два стакана великолепнейшего густого и ароматного шоколада. Оказалось, у него страсть к шоколаду. Варил он его мастерски и гораздо крепче, чем это принято. Какой отсюда вывод? Был ли Сергей Иванович сибарит или шоколадный бес завелся при нем, прилепившись к аскету и нигилисту? О, мрачный авторитет Сергея Ивановича, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна! Его походка напоминала походку человека, которого только что схватили и ведут за плечо перед лицом грозного сатрапа, а он старается делать равнодушный вид. Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и несколько их не боялся.

Я думаю, что сам он был похож на шпика — от постоянных ли размышлений об этом предмете, по закону ли мимикрии, коим птицы и бабочки получают от скалы

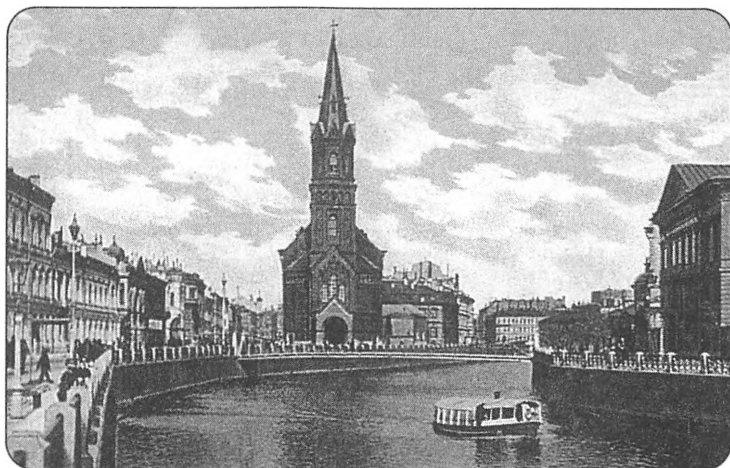


*Вид на Николаевский мост с Васильевского острова. 1903.*

свой цвет и оперенье. Да, в Сергее Иваныче было нечто жандармское. Он был брезглив, он был брюзга, рассказывал, хрипя, генеральские анекдоты, со вкусом и отвращением выговаривал гражданские и военные звания первых пяти степеней. Невыспавшееся и помятое, как студенческий блин, лицо Сергея Иваныча выражало чисто жандармскую брюзгливость. Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного статского советника было для него высшим счастьем, — полагаю счастье математическим, несколько отвлеченным пределом.

Так, анекдот звучал в его устах почти теоремой. Генерал бракует по карточке все кушанья и заключает: «Какая гадость!» Студент, подслушав генерала, выпрашивает у него все его чины и, получив ответ, заключает: «И только? — Какая гадость!»

Где-то в Седлеце или в Ровно Сергей Иваныч, должно быть еще нежным мальчиком, откололся от административно-полицейской скалы. Мелкие губернаторы Западного края были у него в родне, и сам он, уже революционный репетитор и одержимый шоколадным бесом, сватался к губернаторской дочке, очевидно тоже безвозвратно отколовшейся. Конечно, Сергей Иваныч не был революционер. Да останется за ним кличка: репетитор революции. Как химера, он рассыпался при свете исторического дня. По мере приближенья девятисотпятидесятого года и часа сгущалась его таинственность и нарастал мрачный авторитет. Он должен был выявиться, должен был во что-нибудь разрешиться — ну хоть показать револьвер из боевой дружины или дать другое вещественное доказательство своего посвящения в революцию.



*Большая морская и реформатская церковь.  
Открытка 1910-х годов.*

И вот, в самые тревожные девятьсот пятые дни, Сергей Иванович становится опекуном сладко и безопасно перепуганных обывателей и, зажмурившись, как кот, от удовольствия, приносит достоверные сведения о неминуемом в такой-то день погроме петербургской интеллигенции. Как член дружины, он обещает прийти с браунингом, гарантируя полную безопасность.

Мне довелось его встретить много позже девятьсот пятого года: он вылинял окончательно, на нем не было лица, до того стерлись и обесцветились его черты. Слабая тень прежней брюзгливости и авторитета. Оказалось, он устроился и служит ассистентом на Пулковской вышке в астрономической обсерватории.

Если бы Сергей Иванович превратился в чистый логарифм звездных скоростей или функцию пространства, я бы не удивился: он должен был уйти из жизни, до того он был химера.

Пока Юлий Матвеич поднимался на пятый этаж, можно было несколько раз сбежать к швейцару и обратно. Его вели под руку с расстановками на площадках; в прихожей он останавливался и ждал, чтоб с него сняли шубу. Маленький, коротконогий, в стариковской шубе до пят, в тяжелой шапке, он пыхтел, пока его не освобождали от жарких бобров, и тогда садился на диван, протянув ножки, как ребенок. Появление его в доме означало или семейный совет, или замирение какой-нибудь домашней бучи. В конце концов, всякая семья государство. Он любил семейные неурядицы, как настоящий государственный человек любит политические затруднения; своей семьи у него не было, и нашу он выбрал для своей деятельности как чрезвычайно трудную и запутанную.

Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминающая Бисмарка, нежно безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке.

На вопрос Юлий Матвеич издавал странный грудного тембра неопределенный звук, как бы извлеченный из трубы неумелым музыкантом, и лишь издав свой предварительный звук, начинал речь неизменным своим оборотом: «Я же вам говорил» — или: «Я вам всегда говорил».

Бездетный, беспомощно-ластоногий, Бисмарк чужой семьи, Юлий Матвеич внушал мне глубокое сострадание.

Он вырос среди южных помещиков-дельцов, между Бессарабией, Одессой и Ростовом.

Сколько подрядов исполнено, сколько виноградных имений и конских заводов продано с участием грека-нотариуса в паршивых номерах кишиневских и ростовских гостиниц!

Все они, и нотариус-грек, и помещик-жох, и губернский секретарь-молдаванин, накинув белые балахоны, тряслись в холерную жару в бричках, на линейках с балдахинном по трактам, по губернным мостовым. Там росла многоопытность и округлялся капитал, а с ним вместе и эпикурейство. Уже ручки и ножки отказывались служить и превращались в коротенькие ласты, и Юлий Матвейч, обедая с предводителем и подрядчиком в кишиневских и ростовских гостиницах, подзывал полового тем самым неопределенным трубным звуком, о котором упоминалось выше. Понемногу он превратился в настоящего еврейского генерала. Вылитый из чугуна, он мог бы служить памятником, но где и когда чугун передаст три бисмарковских волоска? Мироззрение Юлия Матвейча сложилось в нечто мудрое и убедительное. Излюбленным его чтением были Меньшиков и Ренан. Странное на первый взгляд сочетание, но, если вдуматься, даже для члена Государственного совета нельзя было придумать лучшего чтения. О Меньшикове он говорил «умная голова» и подымал сенаторскую ручку, а с Ренаном был согласен решительно во всем, что касалось христианства. Юлий Матвейч презирал смерть, ненавидел докторов и в назиданье любил рассказывать, как он вышел невредимым из холеры. В молодости он ездил в Париж, а лет через тридцать после первой поездки, очутившись в Париже, ни за что не хотел идти ни в какой ресторан, а все искал какой-то «Кок-д'Ор», где его некогда хорошо накормили. Но «Кок-д'Ора» уже не было, оказался «Кок», да не тот, и нашли его еле-еле. Кушанье на карточке Юлий Матвейч принимался выбирать с видом гурмана, лакей не дышал в ожидании сложного и тонкого заказа, и тогда Юлий Матвейч разрешался чашкой бульона. Получить у Юлия Матвейча десять-пятнадцать рублей было дело нелегкое: он более часа проповедовал мудрость, эпикурейство и — «Я же вам говорил». Потом долго семенил по комнате, отыскивая ключи, хрипел и тыкался в потайные ящички.

Смерть Юлия Матвейча была ужасна. Он умер, как бальзаковский старик, почти выгнанный на улицу хитрой и крепкой гостинодворской семьей, куда перенес под старость свою деятельность домашнего Бисмарка и позволил прибрать себя к рукам.

Умиравшего Юлия Матвейча выгнали из купеческого кабинета на Разъезжей и сняли ему комнатку в Лесном на маленькой дачке.

Небритый и страшный, он сидел с плевательницей и «Новым временем». Мертвые, синие щеки поросли грязной щетиной, в трясущейся руке он держал лупу и водил ею по строчкам газеты. Смертный страх отражался в пораженных катарактой темных зрачках. Прислуга поставила перед ним тарелку и сейчас же ушла, не спросив, чего ему нужно.

На похороны Юлия Матвевича съехалось чрезвычайно много почтенных и не знакомых друг с другом родственников, и племянник из Азовско-Донского банка семенил коротенькими ножками и покачивал тяжелой бисмарковской головой.

«Чего ты читаешь брошюры? Ну какой в них толк? — звучит у меня над ухом голос умнейшего В.В.Г. — Хочешь познакомиться с марксизмом? Возьми «Капитал» Маркса». Ну и взял, и обжегся, и бросил — вернулся опять к брошюрам. Ох, не слукавил ли мой прекрасный тенишевский наставник? «Капитал» Маркса — что «Физика» Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюрка кладет личинку — вот в этом ее назначенье. Из личинки же родится мысль.

Какая смесь, какая правдивая историческая разногласица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубкой «кэпстен», превращалась в анекдоты об американских трестах, как много истории билось и трепыхалось возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола!

Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самодеятельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в пушкинский Лицей.

Книжка «Весов» под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Обуховского завода, ни слова, ни звука, как по уговору, о Белинском, Добролюбове, Писареве, зато Бальмонт в почете и недурные у него подражатели, и социал-демократ перегрызает горло народнику и пьет его эсеровскую кровь, напрасно тот призывает на помощь своих святителей — Чернова, Михайловского и даже... «Исторические письма» Лаврова. Все, что было мироощущеньем, жадно впитывалось. Повторяю: Белинского мои товарищи терпеть не могли за расплывчатость мироощущенья, а Каутского уважали,



и наряду с ним протопопа Аввакума, чье житье в павленковском издании входило в нашу российскую словесность.

Конечно, тут не без В.В.Г., формовщика душ и учителя для замечательных людей (только таких под рукой не оказалось). Но об этом впереди, а пока здравствуй и прощай Каутский, красная полоска марксистской зари!

Эрфуртская программа, марксистские пропилеи, рано, слишком рано приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущение жизни в предысторических годах, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты! Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения («и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде»)? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной.

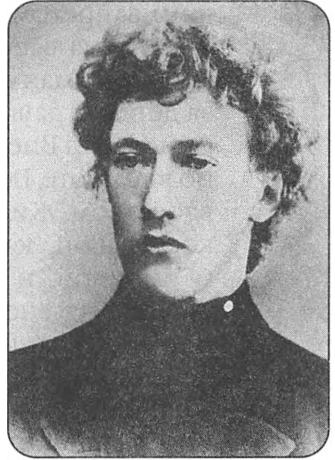
В тот год в Зегевольде, на курляндской реке Аа, стояла ясная осень, с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмиренья поднималась от спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян латыш. В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка, и бурги по самые уши увязли в зелени. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот в Зегевольде, с Эрфуртской программой в руках, я, по духу, был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.

Что может быть сильнее, что может быть органичнее: я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством, — и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе! Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!

Когда я пришел в класс совершенно готовым и законченным марксистом, меня ожидал очень серьезный противник. Прислушавшись к самоуверенным моим речам, подошел ко мне мальчик, опоясанный тонким ремешком, почти рыжеволосый и весь какой-то узкий, узкий в плечах, с узким мужественным и нежным лицом, кистями рук и маленькой ступней. Выше губы, как огненная метка, у него был красный лишай. Костюм его мало походил на англосаксонский тенишевский стиль, а словно взяли старые-старые брючки и рубашонку, крепко-крепко с мылом постирали их в холодной речке, высушили на солнце и, не поутюжив, дали надеть. Посмотрев на него, всякий сказал бы: какая легкая кость! Но взглянув на лоб, скромно-высокий, подивился бы чуть раскосым, с зеленоватой усмешкой глазам и задержался бы на выраженьи маленького, горько-самолюбивого рта. Движенья его, когда нужно, были крупны и размашисты, как у мальчика, играющего в бабки в скульптуре Федора Толстого, но он избегал резких движений, сохраняя меткость и легкость для игры; походка его, удивительно легкая, была босой походкой. Ему подошла бы овчарка у ног и длинная жердь: на щеках и на подбородке золотистый звериный пушок. Не то русский мальчик, играющий в свайку, не то итальянский Иоанн Креститель с чуть заметной горбинкой на тонком носу.

Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, куда он был жив, и ходил вслед за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа. Он умер накануне прихода исторических дней, к которым он себя готовил, к которым готовила его природа, как раз тогда, когда овчарка готова была улечься у его ног и тонкая жердь Предтечи должна была смениться жез-

лом пастуха. Звали его Борис Синани. Произношу это имя с нежностью и уважением. Он был сыном известного петербургского врача, лечившего внушеньем, — Бориса Наумовича Синани. Мать была русской, а Синани — караимы-крымчаки. Не отсюда ли двойственность его облика: и новгородский русский мальчик, и нерусская горбинка, и золотистый пушок кожи крымского чабана с Яйлы. Борис Синани, с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи, считал себя избранным сосудом русского народничества. Мне кажется, в народничестве его прельщала



*Борис Синани. 1900-е годы.*

не теория, а скорее душевный строй. В нем чувствовался реалист, готовый в нужную минуту отбросить все рассужденья ради действия, но пока что его юношеский реализм, не заключавший в себе ничего плоского и мертвящего, был пленителен и дышал врожденной духовностью и благородством. Борис Синани умелой рукой снял с моих глаз катаракту, скрывавшую, по его мнению, от меня аграрный вопрос. Синани жили на Пушкинской улице, против гостиницы «Пале-Рояль». Это была могучая по силе интеллектуального характера, переходящего в выразительную примитивность, семья. На Пушкинской доктор Борис Наумович Синани жил, очевидно, уже давно. Седой швейцар питал безграничное уважение ко всему семейству, начиная от свирепого психиатра Бориса Наумовича, кончая маленькой горбуньей Леночкой. Никто без трепета не переступал порог этого жилища, так как Борис Наумович сохранял за собой право выгнать человека, который ему не понравится, будь то пациент или просто гость, который скажет глупость. Борис Наумович Синани был врач и душеприказчик Глеба Успенского, друг Николая Константиновича Михайловского, впрочем, далеко не всегда ослепленный его личностью, и советник и наперсник тогдашних эсеровских цекистов.

С виду он был коренастый караим, сохраняя даже караимскую шапочку, с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всякий мог выдержать его зверский, умный взгляд сквозь очки, зато, когда он улыбался в курчавую редкую бороду, улыбка его была совсем детская и очаровательная. Кабинет Бориса Наумовича был под строжай-

шим запретом. Там, между прочим, висела его эмблема и эмблема всего дома, портрет Щедрина, глядящий исподлобья, нахмутив густые губернаторские брови и грозя детям страшной лопатой косматой бороды. Этот Щедрин глядел Вием и губернатором и был страшен, особенно в темноте. Борис Наумович был вдов упрямым волчьим вдовством. Жил он с сыном и двумя дочерьми, старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, и маленькой горбатой Леной. Пациентов у него было немного, но он держал их в рабьем страхе, особенно пациенток. Несмотря на грубость его обхождения, они дарили ему вышитые лодочки и туфли. Он жил, как лесник в сторожке, в кожаном кабинете под щедринской бородой, и со всех сторон его окружали враги: мистика, глупость, истерия и хамство; с волками жить — по-волчьи выть.

Авторитет Михайловского, в кругу даже значительных людей того времени, был очевидно громаден, и Борис Наумович вряд ли с этим легко мирился. Как ярый рационалист, в силу рокового противоречия, он сам нуждался в авторитете и невольно чтит авторитеты и мучился этим. Когда случались неожиданные крутые повороты политической или общественной жизни, в доме всегда подымался вопрос, что скажет Николай Константинович; через некоторое время у Михайловского действительно собирался сенат «Русского богатства» и Николай Константинович изрекал. Старик Синани в Михайловском ценил именно эти изречения. Вот как располагалась скала его уваженья к деятелям тогдашнего народничества. Михайловский хорош как оракул, но публицистика его — вода, и человек он непочтенный. Михайловского он, в конце концов, не любил. За Черновым признавал сметку и мужицкий аграрный ум. Пешехонова считал тряпкой. К Мякотину питал нежность, как к Вениамину. Ни с кем из этих он не считался серьезно. По-настоящему он уважал эсеровского цекиста старика Натансона. Два-три раза седой и лысый Натансон, похожий на старого доктора, открыто для нас, детей, приходил беседовать к Борису Наумовичу. Восторженный трепет и гордая радость не имели границ: в доме был цекист.

Порядок домоводства, несмотря на отсутствие хозяйки, был строг и прост, как в купеческой семье. Чуть-чуть хозяйничала горбатенькая девочка Лена; но такова была стройная воля в доме, что дом сам собой держался.

Я знал, что делал у себя в кабинете Борис Наумович: он сплошь читал вредные ерундовые книги, исполнен-

ные мистики, истерии и всяческой патологии; он боролся с ними, разделялся, но не мог от них оторваться и возвращался к ним опять. Посади его на чистый позитивистский корм — и старик Синани сразу бы осунулся. Позитивизм хорош для рантѣе, он приносит свои пять процентов прогресса ежегодно. Борису Наумовичу нужны были жертвы во славу позитивизма. Он был Авраамом позитивизма и, не задумываясь, пожертвовал бы ему собственным сыном.

Однажды за чайным столом кто-то упомянул о состоянии после смерти, и Борис Наумович удивленно поднял брови: «Что такое? Помню я, что было до рожденья? Ничего не помню, ничего не было. Ну и после смерти ничего не будет».

Его базаровщина переходила в древнегреческую простоту. И даже одноглазая кухарка заражена была общим строем.

Главной особенностью дома Синани было то, что я назвал бы эстетикой ума. Обычно позитивизму чуждо эстетическое любованье, бескорыстная гордость и радость умственных движений. Для этих же людей ум был одновременно радостью, здоровьем, спортом и почти религией. Между тем круг умственных интересов был весьма ограничен, поле зрения сужено, и, в сущности, жадный ум глодал скудную пищу: вечные споры с.-д. и с.-р., роль личности в истории, пресловутая гармоническая личность Михайловского, аграрная травля с.-д., — вот и весь небогатый круг. Скучая этой домашней мыслью, Борис зачитывался судебными речами Лассалья, чудесно построенными, прелестными и живыми, — это была уже чистая эстетика ума и настоящий спорт. И вот, в подражание Лассалю, мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией *ad hoc*\*. Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эсдековской мишени. Некоторые из них, произнесенные в пустоту, были прямо блестящи. Я сейчас помню, как Борис, мальчиком, на одной сходке забил и вогнал в пот старого опытного меньшевика Клейнборта, сотрудника толстых журналов. Клейнборт только отдувался и вопросительно оглядывался: умственное изящество спорщика, видимо, казалось ему неожиданным и новым орудием спора. Разумеется, все это лишь было демосфеновым камушком, но не дай Бог никакой молодежи таких учителей, как Н.К.Михайловский! Что это за водолей! Что это

---

\* На случай (*лат.*).

за маниловщина! Пустопорожня, раздутая трюизмами и арифметическими выкладками болтовня о гармонической личности, как сорная трава, лезла отовсюду и занимала место живых и плодотворных мыслей.

По конституции дома тяжелый старик Синани не смел заглядывать в комнату молодежи, называвшуюся розовой комнатой. Розовая комната соответствовала диванной из «Войны и мира». Из посетителей розовой комнаты — их было очень немного — мне запомнилась некая Наташа, нелепое и милое создание. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди эсдечкой, эсеркой, православной, католичкой, эллинисткой, теософкой с разными перебоями. От частой перемены убеждений она преждевременно поседела. Будучи эллинисткой, она напечатала роман из жизни Юлия Цезаря на римском курорте Байи, причем Байи поразительно смахивали на Сестрорецк. (Наташа была здорово богата.)

В розовой комнате, как во всякой диванной, происходил сумбур. Из чего составлялся сумбур означенной диванной начала текущего века? Скверные открытки — аллегории Штука и Жукова, «открытка-сказка», словно выскочившая из Надсона, простоволосая, с закрученными руками, увеличенная углом на большом картоне. Ужасные «Чтецы-декламаторы», всякие «Русские музы» с П.Я., Михайловым и Тарасовым, где мы добросовестно искали поэзии и все-таки иногда смущались. Очень много внимания Марку Твену и Джерому (самое лучшее и здоровое из всего нашего чтения). Дребедень разных «Анатэм», «Шиповников» и «Сборников Знания». Все вечера загроунованы смутной памятью об усадьбе в Луге, где гости опять на полукруглых диванчиках в гостиной и орудуют сразу шесть бедных теток. Затем еще дневники, автобиографические романы: не достаточно ли сумбура?

Родным человеком в доме Синани был покойный Семен Акимыч Анский, то пропадавший по еврейским делам в Могилеве, то заезжавший в Петербург, ночуя под Щедриным, без права жительства. Семен Акимыч Анский совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым. В нем одном помещалась тысяча местечковых раввинов — по числу преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притч, анекдотов и т.д. В жизни Семену Акимычу нужен был только ночлег и крепкий чай. Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимыча в неторопливых, чудесных рассказах лился густой медовой струей. Семен

Акимыч, еще не старик, дедовски состарился и сутулился от избытка еврейства и народничества: губернаторы, торы, погромы, человеческие несчастья, встречи, лукавейшие узоры общественной деятельности в невероятной обстановке минских и моголевских сатрапий, начертанные как бы искусной гравировальной иглой. Все сохранил, все запомнил Семен Акимыч — Глеб Успенский из талмуд-торы. За скромным чайным столом, с мягкими библейскими движениями, склонив голову набок, он сидел, как еврейский апостол Петр на вечери. В доме, где все тыкались в истукана Михайловского и щелкали аграрный орех-крепкотук, Семен Акимыч казался нежной геморроидальной психеей.

В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой надсоновщиной и стихами из «Русского богатства». Блок уже был прочтен, включая «Балаганчик», и отлично уживался с гражданскими мотивами и всей этой тарабарской поэзией. Он не был ей враждебен, ведь он сам из нее вышел. Толстые журналы разводили такую поэзию, что от нее уши вяли, а для чудаков, неудачников, молодых самоубийц, для поэтических подпольщиков, очень мало разнившихся от домашних лириков «Русского богатства» и «Вестника Европы», сохранялись преинтереснейшие лазейки.

На Пушкинской, в очень приличной квартире, жил бывший немецкий банкир, по фамилии Гольдберг, редактор-издатель журнальчика «Поэт».

Гольдберг, обрюзглый буржуа, считал себя немецким поэтом и вступал со своими клиентами в следующее соглашение: он печатал их стихи безвозмездно в журнале «Поэт», а за это они должны были выслушивать его, Гольдберга, сочинения немецкую философскую поэму под названием «Парламент насекомых» — по-немецки, а в случае незнания языка — в русском переводе.

Всем своим клиентам Гольдберг говорил: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Особенно он дорожил одним мрачным поэтом, которого считал самоубийцей. Составлять номера Гольдбергу помогал наемный юноша, небесно-поэтической наружности. Этот старый банкир-неудачник с шиллерообразным своим помощником (он же переводчик «Парламента насекомых» на русский язык) бескорыстно трудился над милым уродливым журналом. Толстым пальцем Гольдберга водила странная банкирская муза. Состоявший при нем Шиллер видимо его морочил. Впрочем, в Германии в хорошие времена Гольдберг отпечатал полное со-





Храм «Спас на Крови». 1910-е годы.

брание своих сочинений и сам мне его показывал.

Как глубоко понимал Борис Синани сущность эсерства и до чего он его, внутренне, еще мальчиком перерос, доказывает одна пущенная им кличка: особый вид людей эсеровской масти мы называли «христосиками» — согласитесь, очень злая ирония. «Христосики» были русачки с нежными лицами, носители «идеи личности в истории», — и в самом деле многие из них походили на нестеровских Иисусов. Женщины их очень любили, и сами они легко воспламенялись. На по-

литехнических балах в Лесном такой «христосик» отдувался и за Чайльд-Гарольда, и за Онегина, и за Печорина. Вообще революционная накипь времен моей молодости, невинная «периферия», вся кишела романами. Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем и другим казалось невозможным жить не согретыми славой своего века, и те и другие считали невозможным дышать без доблести. «Война и мир» продолжалась, — только слава переехала. Ведь не с семеновским же полковником Мином и не с свитскими же генералами в лакированных сапогах бутылками была слава! Слава была в ц.к., слава была в б.о., и подвиг начинался с пропагандистского искуса.

Поздняя осень в Финляндии, глухая дача в Райволе. Все заколочено, калитки забиты, псы-волкодавы ворчат возле пустых дач. Осенние пальто и старенькие пледы. Жар керосиновой лампы на холодном балконе. Лисья мордочка молодого Т., живущего отраженной славой отца-цекиста. Не хозяйка, а робкое чахоточное существо, которому даже не позволено глядеть в лицо гостям. По одному из дачной темени подходят в английских пальто и котелках. Смирно сидеть, наверх не ходить. Проходя через кухню, заметил большую стриженую голову Гершуни.

«Война и мир» продолжается. Намокшие крылья славы бьются в стекло: и честолубие, и та же жажда чести! Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица! Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и какими-то

веревками для упаковки кладки. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея.

Мне было смутно и беспокойно. Все волнение века передавалось мне. Кругом перебегали странные токи — от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца. Только что мрачным зловонным походом прошла литература проблем и невежественных мировых вопросов, и грязные, волосатые руки торговцев жизнью и смертью делали противным самое имя жизни и смерти. То была воистину невежественная ночь! Литераторы в косоворотках и черных блузах торговали, как лабазники, и Богом, и дьяволом, и не было дома, где бы не брэнчали одним пальцем тупую польку из «Жизни Человека», сделавшуюся символом мерзкого, уличного символизма. Слишком долго интеллигенция кормилась студенческими песнями. Теперь ее тошнило мировыми вопросами: та же самая философия от пивной бутылки!

Все это была мразь по сравнению с миром Эрфуртской программы, коммунистических манифестов и аграрных споров. Здесь были свой протопоп Аввакум, свое двоеперстие (например, о безлошадных крестьянах). Здесь, в глубокой страстной расправе с.-р. и с.-д., чувствовалось продолжение старинного раздора славянофилов и западников.

Эту жизнь, эту борьбу издали благословляли столь разделенные между собой Хомяков и Киреевский и патетический в своем западничестве Герцен, чья бурная политическая мысль всегда будет звучать как бетховенская соната.

Те не торговали смыслом жизни, но духовность была с ними, и в скудных партийных полемиках было больше жизни и больше музыки, чем во всех писаниях Леонида Андреева.

Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаньями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, — и биография готова. Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива. Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения, — а между тем у ней было что сказать. Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычье рождения. Мы учились не говорить, а лепетать — и лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.

Революция — сама и жизнь, и смерть, и терпеть не может, когда при ней судачат о жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она не примет ни одной капли влаги из чужих рук. Природа революции — вечная жажда, воспаленность (быть может, она завидует векам, которые по-домашнему смиренно утоляли свою жажду, отправляясь на овечий водопой. Для революции характерна эта боязнь, этот страх получить что-нибудь из чужих рук, она не смеет, она боится подойти к источникам бытия).

Но что сделали для нее эти «источники бытия»? Куда как равнодушно текли их круглые волны! Для себя они

текли, для себя соединялись в потоки, для себя закипали в ключ! («Для меня, для меня, для меня», — говорит революция. «Сам по себе, сам по себе, сам по себе», — отвечает мир.)

У Комиссаржевской была плоская спина курсистки, маленькая голова и созданный для церковного пения голосок. Бравич был ассессор Брак, Комиссаржевская была Геддой. Ходить и сидеть она скучала. Получалось, что она всегда стоит; бывало, подойдет к синему фонарю окна профессорской гостиной Ибсена и долго-долго стоит, показывая зрителям чуть сутулую, плоскую спину. В чем секрет обаянья Комиссаржевской? Почему она была вождем, какой-то Жанной д'Арк? Почему Савина рядом с ней казалась умирающей барыней, разомлевшей после Гостиного двора?

В сущности, в Комиссаржевской нашел свое выражение протестантский дух русской интеллигенции, своеобразный протестантизм от искусства и от театра. Недаром она тянулась к Ибсену и дошла до высокой виртуозности в этой протестантски-пристойной профессорской драме. Интеллигенция никогда не любила театра и стремилась справиться театральным кулыг как можно скромнее и пристойнее. Комиссаржевская шла навстречу этому протестантизму в театре, но зашла слишком далеко и вышла из пределов русского почти в европейский. Для начала она выкинула всю театральную мишуру: и жар свечей, и красные глядки кресел, и атласные гнезда лож. Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна — чисто, как на яхте, и голо, как в лютеранской кирке. Между тем у Комиссаржевской были все данные большой трагической актрисы, но в зародыше. В отличие от всех тогдашних русских актеров, да, пожалуй, и теперешних, Комиссаржевская была внутренне музыкальна, она подымала и опускала голос так, как это требовалось дыханьем словесного строя; ее игра была на три четверти словесной, сопровождаемой самыми необходимыми скупыми движениями, и те были все наперечет, вроде заламыванья рук над головой. Создавая театр Ибсена и Метерлинка, она нащупывала европейскую драму, искренне убежденная, что лучшего и большего Европа дать не может.

Румяные пироги Александринского театра так мало походили на этот бестелесный, прозрачный мирок, где



*В. Ф. Комиссаржевская.  
1901.*



*Театр Комиссаржевской. Открытка 1900-х годов.*

всегда был великий пост. Сам театрик Комиссаржевской был окружен атмосферой исключительно сектантской приверженности. Не думаю, чтобы отсюда открывалась какая-нибудь театральная дорога. Из маленькой Норвегии пришла к нам эта комнатная драма. Фотографы. Приват-доценты. Ассессоры. Смешная трагедия потерянной рукописи. Аптекарю из Христиании удалось смазать грозу в профессорский курятник и поднять до высот трагедии зловеще-вежливые препирательства Гедды и Брака. Ибсен для Комиссаржевской был иностранной гостиницей, не больше. Комиссаржевская вырвалась из российского театрального быта, как из сумасшедшего дома, — она была свободна, но сердце театра останавливалось.

Когда Блок склонился над смертным ложем русского театра, он вспомнил и назвал Кармен, то есть то, от чего бесконечно далека была Комиссаржевская. Дни и часы ее маленького театра всегда были сочтены. Здесь дышали ложным и невозможным кислородом театрального чуда. Над театральным чудом зло посмеялся Блок в «Балаганчике», и Комиссаржевская, сыграв «Балаганчик», посмеялась над собой. Среди хрюканья и рева, нытья и декламации мужал и креп ее голос, родственный голосу Блока. Театр жил и будет жить человеческим голосом. Петрушка прижимает к небу медную створку, чтоб изменить голос. Лучше Петрушка, лучше Кармен и Аида, чем свиное рыло декламации.

К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные коробки номеров пылали на углах и подворотнях. Булочные, не стесненные часом торговли, сдобным паром дышали на улицу, но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотаньем и звоном цикад.

Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот.

Так было четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек.

Спутник мой, выйдя из литераторской квартиры-берлоги, из квартиры-пещеры с зеленой близорукой лампой и тахтой-колодой, с кабинетом, где скупко накопленные книги угрожают оползнем, как сыпучие стенки оврага, выйдя из квартирки, где табачный дым кажется запахом уязвленного самолюбия, — спутник мой развеселился не на шутку и, запахнувшись в не по чину барственную шубу, повернул ко мне румяное, колючее русско-монгольское лицо.

Он не подозвал, а рывкнул извозчика таким властным морозным зыком, словно целая зимняя псарня с тройками, а не ватная лошаденка дожидалась его окрика.

Ночь. Злитесь литератор-разночинец в не по чину барственной шубе. Ба! Да это старый знакомец! Под пленкой воцеленной бумаги к сочиненьям Леонтьева приложенный портрет: в меховой шапке-митре — колючий зверь, первосвященник мороза и государства. Власть и мороз. Тысячелетний возраст государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозчичьих санок. Холодно тебе, Византия? Зябнет и злится писатель-разночинец в не по чину барственной шубе.

Новгородцы и псковичи — вот так же сердились на своих иконах: ярусами, друг у друга на головах, стояли

миряне, справа и слева, спорщики и ругатели, удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы на коротких шеях. Мясистые лица и жесткие бороды спорщиков, обращенные к событию с злобным удивлением. В них чудится мне прообраз литературной злости.

Как новгородцы злобно голосуют бороденками на Страшном суде, так литература злится столетие и косится на событие — пламенным косоглазием разночинца и неудачника, злостью мирянина, разбуженного не вовремя, призванного, нет, лучше за волосы притянутого в свидетели-понятые на византийский суд истории.

Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль?

Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознание неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! Вот почему мне так любо гасить жар литературы морозом и колючими звездами. Захрустит ли снегом? Развеселится ли на морозной некарасовской улице? Если настоящая — то да.

Вместо живых лиц вспоминать слепки голосов. Ослепнуть. Осязать и узнавать слухом. Печальный удел! Так входишь в настоящее, в современность, как в русло высохшей реки.

А ведь то были не друзья, не близкие, а чужие, далекие люди! И все же лишь масками чужих голосов украшены пустые стены моего жилища. Вспоминать — идти одному обратно по руслу высохшей реки!

Первая литературная встреча непоправима. То был человек с пересохшим горлом. Давно выкипели фетовские соловьи: чужая барская затея. Предмет зависти. Лиррика. «Конный или пеший», — «Рояль был весь раскрыт», — «И горящею солью нетленных речей».

Больные, воспаленные веки Фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах. Пять-шесть последних символических слов, как пять евангельских рыб, оттягивали корзину; среди них большая рыба: «Бытие».

Ими нельзя было накормить голодное время, и пришлось выбросить из корзины весь пяток, и с ними большую дохлую рыбу: «Бытие».

Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой. Лучше злобное и веселое шипенье хороших русских стихов.

Рывкнувший извозчика был В.В.Гиппиус, учитель словесности, преподававший детям вместо литературы го-

раздо более интересную науку — литературную злость. Чего он топорщился перед детьми? Детям ли нужен шип самолюбия, змеиный свист литературного анекдота?

Я и тогда знал, что около литературы бывают свидетели, как бы домочадцы ее: ну хотя бы разные пушкинианцы и проч. Потом узнал некоторых. До чего они пресны в сравнении с В.В.!

От прочих свидетелей литературы, ее понятых, он отличался именно этим злым удивленьем. У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других ее любить.

Прийти к В.В. домой почти всегда значило его разбудить. Он спал на жесткой кабинетной тахте, сжимая старую книжку «Весов» или «Северные цветы» «Скорпиона», отравленный Сологубом, уязвленный Брюсовым и во сне помнящий дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве», товарищ Коневского и Добролюбова — воинственных молодых монахов раннего символизма.

Спячка В.В. была литературным протестом, как бы продолженьем программы старых «Весов» и «Скорпиона». Разбуженный, он топорщился, с недоброй усмешечкой спрашивал о том, о другом. Но настоящий его разговор был простым перебиранием литературных имен и книг, с звериной жадностью, с бешеной, но благородной завистью.

Он был мнителен и больше всех болезней боялся ангины, болезни, которая мешает говорить.

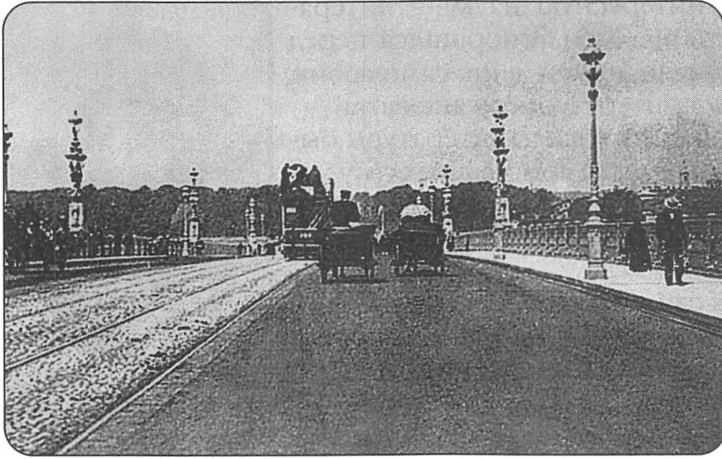
Между тем вся сила его личности заключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам и «т» в окончаньи слов. Выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным и нёбным.

С легкой руки В.В. и поныне я мыслю ранний символизм как густые заросли этих «ш». «Надо мной орлы, орлы говорящие». Итак, мой учитель отдавал предпочтенье патриархальным и воинственным согласным звукам боли и нападения, обиды и самозащиты. Впервые я почувствовал радость внешнего неблагозвучья русской речи, когда В.В. вздумалось прочесть детям «Жар-птицу» Фета —



В.В.Пунтув. 1903.





С.-Петербург. Троицкий мост. 1910-е годы.

«На суку извилистом и чудном»: словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящих змей\*. Спячка В.В. меня пугала и притягивала.

Неужели литература — медведь, сосущий свою лапу, — тяжелый сон после службы на кабинетной тахте?

Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается: приходил на дом к учителю «русского языка». Вся соль заключалась именно в хождении «на дом», и сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литература не была уже домом, квартирой, семьей, где рядом спят рыжие мальчики в сетчатых кроватках.

Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуваженьем, кровной несправедливостью, как водится в семье.

---

\* Здесь уместно будет вспомнить о другом домочадце литературы и чтеце стихов, чья личность с необычайной силой сказывалась в особенностях произношения, — о Н.В.Недоброво. Язвительно-вежливый петербуржец, говорун поздних символических салонов, непроницаемый, как молодой чиновник, хранящий государственную тайну, Недоброво появлялся всюду читать Тютчева, как бы предстательствовать за него. Речь его, и без того чрезмерно ясная, с широко открытыми гласными, как бы записанная на серебряных пластинках, проявлялась на удивленье, когда доходило до Тютчева, особенно до альпийских стихов: «А который год белеет» и — «А заря и ныне сеет». Тогда начинался настоящий разлив открытых «а»: казалось, чтец только что прополоскал горло холодной альпийской водой (*примеч. О.Мандельштама*).

Интеллигент строит храм литературы с неподвижными истуканами. Короленко, например, так много писавший о зырянах, сдается мне, сам превратился в зырянского божка. В.В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной (В.В.Г.) злости!

Власть оценок В.В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от «Новикова с Радищевым» до Коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только *почитывал*.

Болтается шнурочек вместо галстука. В цветном некрахмальном воротничке беспокойны движенья короткой шеи, подверженной ангине. Из гортани рвутся шипящие, клокочущие звуки: воинственные «щ» и «т».

Казалось, этот человек находился постоянно в состоянии воинственной и пламенной агонии. Предсмертие было в самой его природе и мучило его и будоражило, питая усыхающие корни его духовного существа.

Кстати, в обиходе символистов приняты были примерно такие разговорчики: «Как поживаете, Иван Иванович?» — «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу».

В.В. любил стихи, в которых энергично и счастливо рифмовались пламень-камень, любовь-кровь, плоть-Господь.

Словарем его бессознательно управляли два слова: «бытие» и «пламень». Если бы дать ему пестовать всю российскую речь, думаю не шутя, неосторожно обращаясь, он сжег бы, загубил весь русский словарь во славу «бытия» и «пламени».

Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали проходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала производимая всегда, казалось, в последний раз просьба: «Спой, Мери», мучительная просьба позднего пира.

Но не менее красавицы, поющей пронзительную шотландскую песнь, мне мил и тот, кто хриплым, натруженным беседой голосом попросил ее о песне.

Если мне померещился Константин Леонтьев, орущий извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он бо-

лее других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них.

Ему бы крикнуть: «Эх, хорошо, славный у нас век!» — вроде как: «Сухой выдался денек!» Да не тут-то было! Язык липнет к гортани. Стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути.

Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры — разбившийся, конченный, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство «непомерной стужи», спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность — как печь, пышущая льдом.

И, в этот зимний период русской истории, литература в целом и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее меня: с трепетом приподымаю пленку воцеленной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен, и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература — зверь. Скорняк — ночь и зима.

1923

*литературные*

*мемуары*

ФЕОДОСИЯ

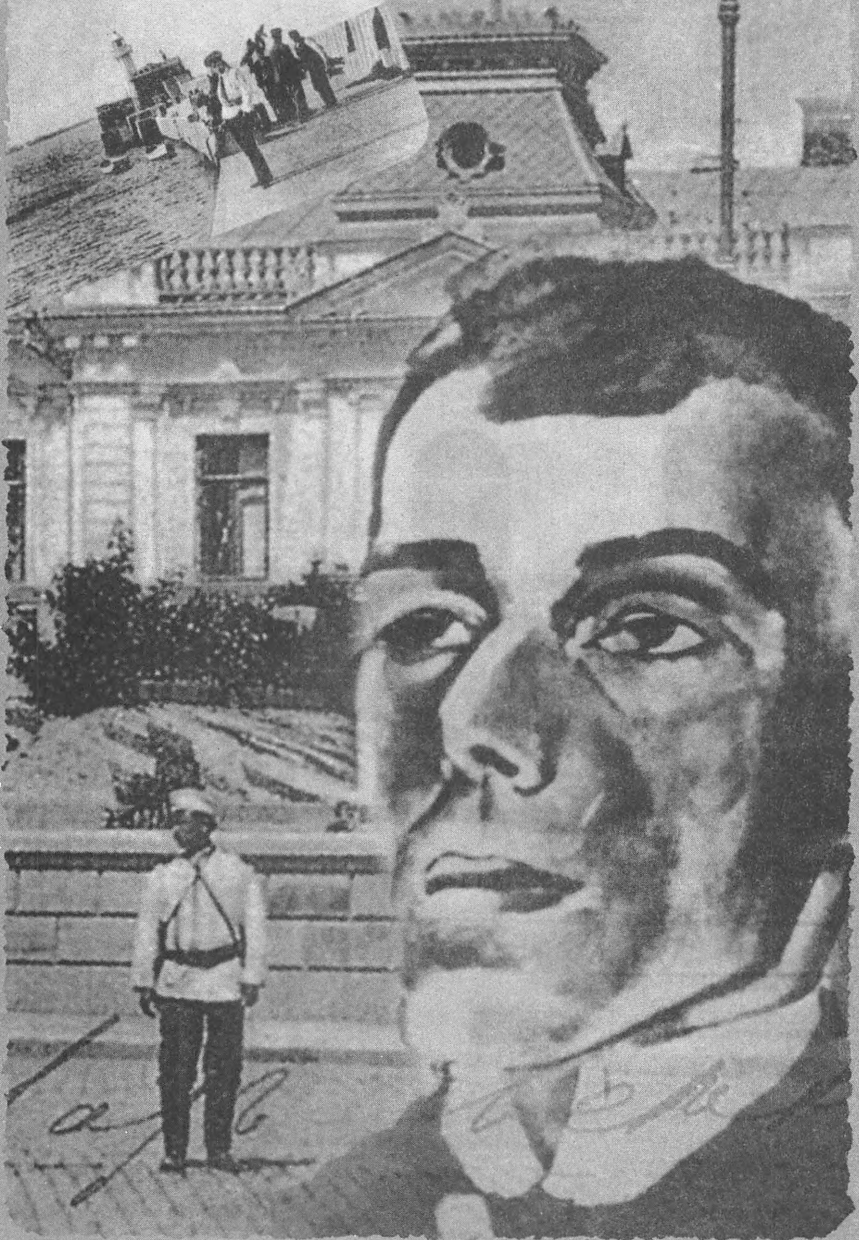
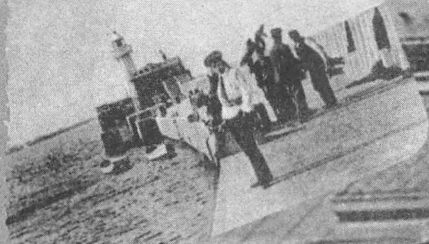
---





Θεοδοσία  
Primosiosie

2



αβ

αβ

Белый крахмаленный китель — наследье старого режима — чудесно молодил его и мирил с самим собой: свежесть гимназиста и бодрость начальника: сочетание, которое он ценил в себе и боялся потерять. Весь Крым представлялся ему ослепительным, туго крахмаленым географическим китем. За Перекопом начиналась ночь. Там, за солончаками, уже не было ни крахмала, ни прачек, ни радостной субординации, и там невозможна была эта походка, упругая, как после купанья, — это постоянное возбуждение: смешанное чувство хорошо купленной валюты, ясной государственной службы и, в сорок лет, ощущение удачно выдержанного экзамена.

Обстоятельства складывались чересчур хорошо. Деловой портфель располагался с легким домашним изяществом дорожного несессера с ямочками для бритвы, мыльницы и разных щеток: помимо него, то есть без начальника порта, ни одной тонны ячменникам и пшеничникам, ни одной тонны отправителям зерна — ни самому Рошу, вчерашнему комиссионеру, сегодня — выскочке, легендарному Каниферштану, ленивому и томному на итальянский манер, отправляющему ячмень на Марсель, ни пшеничному Лившицу, сухопарому индюку, министру сквера Айвазовского, ни Центросоюзу, ни Рейзнерам, у которых дела так хороши, что вместо серебряной отпраздновали золотую свадьбу и отец от счастья подружился с сыном.

Каждый из грязных пароходов, с запахом кухни и сои, с мулатской прислугой и жарко натопленной, как международное купе, но более похожей на каморку богатого швейцара капитанской каютой, увозил и его тонны, незаметно смешанные с прочими.





Феодосия. Итальянская улица. Открытка 1910-х годов.

Люди отлично знали, что вместе с зерном продают землю, по которой они ходят, но продолжали продавать эту землю, наблюдая за тем, как она осыпается в море, рассчитывая уехать, когда зашевелится под ногами последний оползень этой сыпучей земли.

Когда начальник порта шел по тенистой в кроне, любезной старожилам Итальянской улице, его по минутно останавливали, брали под руку, отводили в сторону, что, впрочем, входило в привычки города, где все дела решались на улице и никто, выйдя из дому, не знал, когда он дойдет и дойдет ли вообще к намеченной цели. Он же выработал в себе привычку с каждым мужчиной говорить приблизительно так, как говорил бы с женой начальника, склонив набок яйцевидную голову, придерживаясь левой стороны, так что собеседник был заранее благодарен и сконфужен.

Некоторых избранных он приветствовал как друзей, вернувшихся из дальнего плавания, награждая их сочными поцелуями. Эти поцелуи он носил при себе, как коробочку свежих мятных лепешек.

Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега. Норд-ост свирепствовал на игрушечных улицах. Гинзбурги, Ландсберги и проч. пили чай с белой еврейской булкой «халой». Ночные сторожа-татары похаживали под окнами меняльных лавок и комиссионных магазинов, где чубуки и гитары драпировались в шелковый полковничий халат. Разве что, гремя подковами английских ботинок, пройдет запоздалая юнкерская рота, потрясая воздух известным пэаном, с некоторыми не-

цензурными выраженьями, которые опускались днем по настоянию местного раввина.

Тогда, в лихорадке, знакомой каждому бродяге, я метался в поисках ночлега. И Александр Александрович открывал мне, в качестве ночного убежища, управление порта.

Я думаю, никогда не бывало более странной ночной гостиницы. На электрический звонок открывал заспанный, тайно-враждебный парусиновый служитель. Сахарно-белые сильные лампочки, вспыхнув, освещали огромные карты Крыма, таблицы морских глубин и течений, диаграммы и хронометрические часы. Бережно снимал я бронзовую чернильницу с крытого зеленым сукном стола морских заседаний. Здесь было тепло и чисто, как в хирургической палате. Все английские и итальянские пароходы, когда-либо будившие Александра Александровича, зарегистрированные в толстых журналах, библиями спали на полках.

Чтоб понять, чем была Феодосия при Деникине-Врангеле, нужно знать, чем была она раньше. У города был заскок — делать вид, что ничего не переменилось, а осталось совсем, совсем по-старому. В старину же город подходил не на Геную, гнездо военно-торговых хищников, а скорей на нежную Флоренцию. В обсерватории, у начальника Сарандинаки, не только записывали погоду и чертили изотермы, но собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицмейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка — Мабо был более известен как поэт. А когда Волошин появлялся на шербатовых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, — город охватывало как бы античное умиление и купцы выбегали из лавок.

Спору нет — мы должны быть благодарны Врангелю за то, что он дал нам подышать чистейшим воздухом разбойничьей средиземной республики шестнадцатого века. Но аттической Феодосии нелегко было приспособиться к суровому закону крымских пиратов.

Вот почему она сберегла доброго мецената Александра Александровича, морского котенка в пробковом тропическом шлеме, человека, который, сладко зажмурившись, глядел в лицо истории, отвечая на дерзкие ее выходы нежным мурлыканьем. Однако он был морским божеством города и по-своему Нептуном. Чем могущественнее человек, тем значительнее его пробуждение. Ко-

роли французские даже не вставали, а восходили, как солнце, и притом дважды: «малым» и «большим восходом». Александр Александрович просыпался вместе с морем. Но как общался он с морем? Общался он с морем по телефону. В полумраке его кабинета сверкали английские бритвы, пахло свежим полотняным бельем и крепким одеколоном, да еще сладковатым привозным табаком. Эта отличная мужская спальня, которой позавидовал бы любой американец, все же была средоточием морских узлов и капитанской рубкой.

Александр Александрович просыпался с первым парходом. Два служителя, вестовые в белой парусине, вышколенные, как больничные санитары, кидались к первому телефонному звонку и нашептывали начальнику, который в эту минуту походил на разбуженного котенка, что пришел-де и стоит на рейде такой-то английский, турецкий или даже сербский парход. Александр Александрович открывал крошечные глазки и, хотя он ничего не мог изменить в прибытии пархода, говорил: «А, хорошо, очень хорошо!» Тогда парход становился гражданином рейда, начинался гражданский день моря, и начальник моря из спящего котенка превращался в покровителя купцов, вдохновителя таможни и биржевого фонтана, в коньячного, ниточного, валютного, одним словом, гражданского морского бога. Было в нем что-то от ласточки, домовито мусолящей гнездо — до поры до времени. И не заметишь, как она тренируется с детенышами на атлантический полет. Эвакуация была для него не катастрофой, не случайностью, а радостным атлантическим перелетом, по инстинкту отца и семьянина; как бы торжеством его жизненной упругости. Он никогда ничего о ней не говорил, но готовился к ней, может быть бессознательно, с первой минуты.

Если пройти всю Итальянскую, за последним комиссионным магазином, минуя заглохшую галерею Гостиного двора, где раньше был ковровый торг, позади французского домика в плюще и с жалюзи, где в мягкой гостиной с голоду умерла теософка Анна Михайловна, дорога забирает вверх к Карантинной слободке.

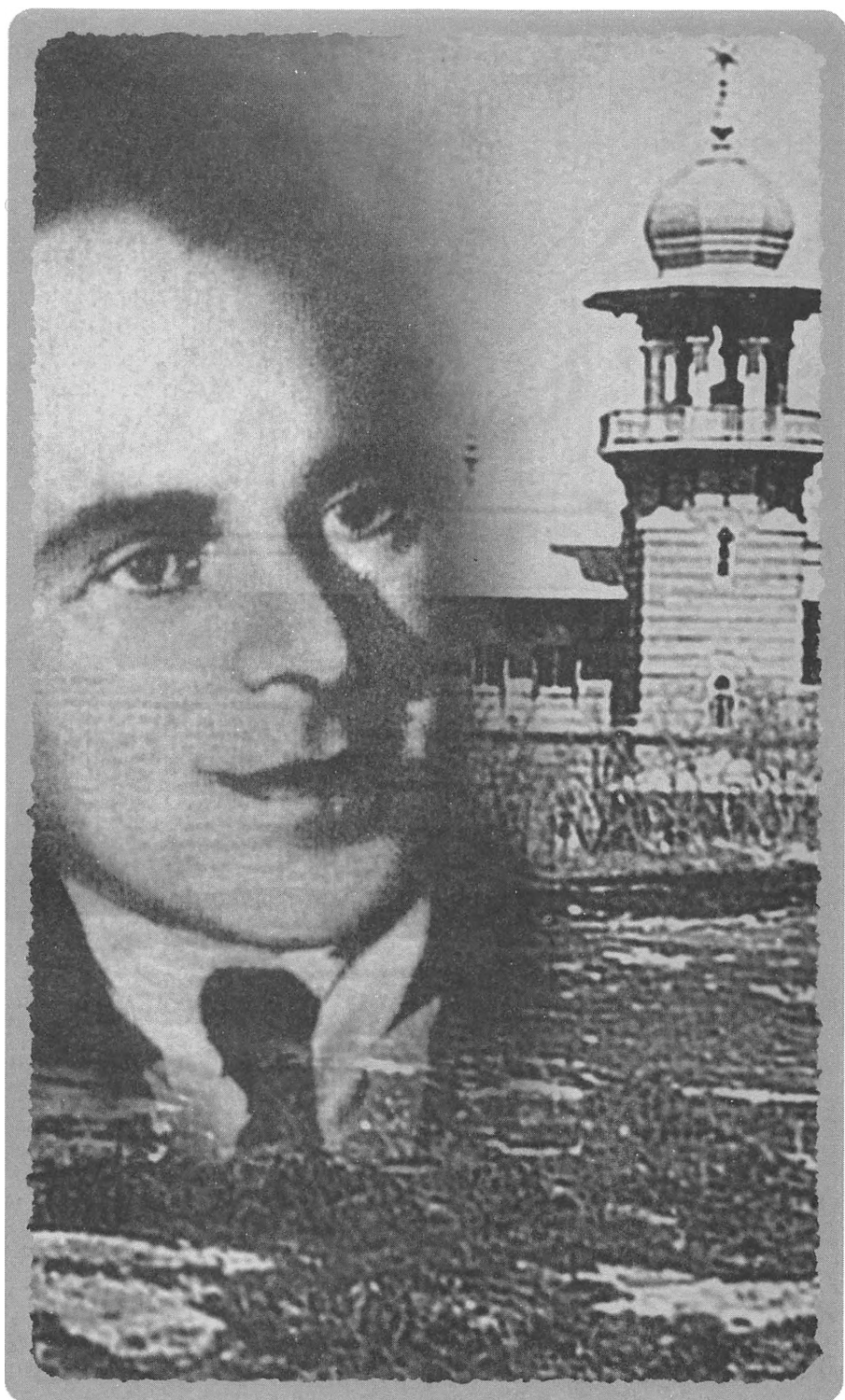
С января пошла неслыханно жестокая зима. По льду замерзшего Перекопа возили тяжелую артиллерию. В кофейне, рядом с «Асторией», английские солдаты — «бобби» — устроили грельню. Кружком сидели у жаровни, грели большие красные руки, пели шотландские песни и мешали в тесноте деликатным хозяевам жарить яичницу и варить кофе. Теплый и кроткий овечий город превратился в ад. Почетный городской сумасшедший, веселый чернородый караим, уже не бегал больше по улицам со свитой мальчишек.

Карантинная слободка, лабиринт низеньких мазаных домиков с крошечными окнами, зигзаги переулочков с глиняными заборами в человеческий рост, где натыкаешься то на обмерзшую веревку, то на жесткий кизиловый куст. Жалкий глиняный Геркуланум, только что вырытый из земли, охраняемый злобными псами. Городок, где днем идешь как по мертвому римскому плану, а ночью, в непроломном мраке, готов постучать к любой мешанке, лишь бы укрыла от злых собак и пустила к самовару. Карантинная слободка жила заботой о воде. Как зеницу ока она берегла свою обледеневшую водокачку. Крикливое женское вече не умолкало на крутом пригорке, где ручьи туго нагнетаемой воды не успевали замерзнуть, а чтобы ведра, налитые всклянь, не расплескались на подъеме, бабы поплавками щепок припечатывали студеному грузу.

Идиллия Карантина длилась несколько дней. В одной из мазанок у старушки я снял комнату в цену куриного яйца. Как и все карантинные хозяйки, старушка жила в предсмертной, праздничной чистоте. Домишко свой она не просто прибрала, а обрядила. В сенях стоял крошечный рукомойник, но до того скупой, что не было ни малейшей возможности выдоить его до конца. Пахло хлебом, керосиновым перегаром матовой детской лампы и чистым старческим дыханьем. Крупно тикали часы. Крупной солью сыпались на двор зимние звезды. И я был рад, что в комнате надышано, что кто-то возится за стенкой, приготавливая обед из картошки, луковицы и горсточки риса. Старушка жильца держала как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать зерна. В то время лучше было быть птицей, чем человеком, и соблазн стать старухиной птицей был велик.

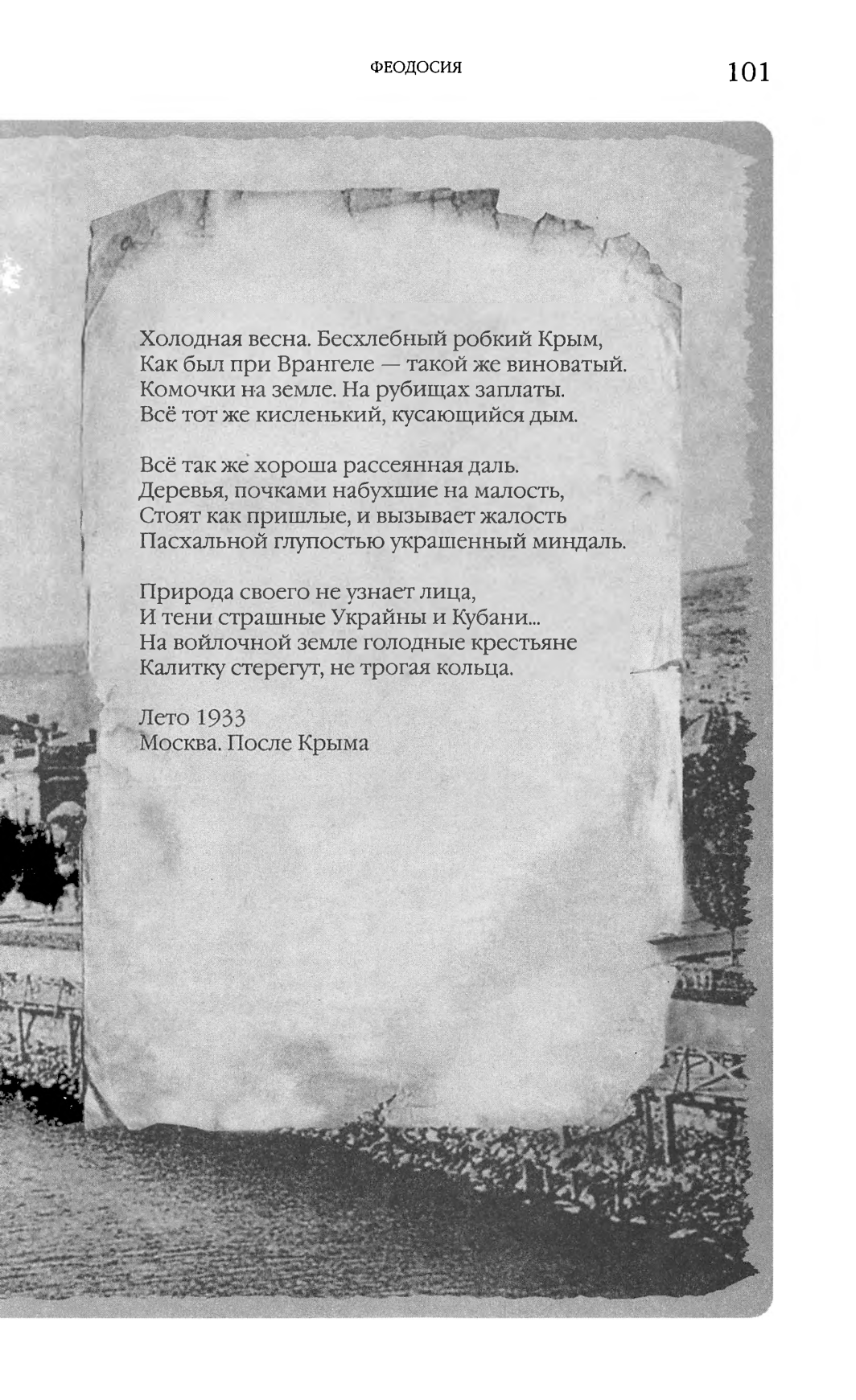
Когда Деникин отступал от Курска, командование согнало железнодорожников, их посадили с семьями в теплушки, и не успели они опомниться, как покатались к Черному морю. Теперь железнодорожные курыне, снятые с теплого нашеста, расселились на Карантине, обжились, кирпичом начистили кастроли, но удивленье их все еще продолжалось. Старуха без суеверного ужаса не могла говорить о том, как их «сняли с Курска», но разговору о том, что их повезут обратно, не было, так как бесповоротно считалось, что сюда их привезли умирать.

Если выйти на двор в одну из тех ледяных крымских ночей и прислушаться к звуку шагов на бесснежной глинистой земле, подмерзшей, как наша северная колея в октябре, если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, замешанной на густом собачьем лае и посоленной звездами, — физически ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы — тридцатилетней войны, с моровой язвой, притушенными огнями, собачьим лаем и страшной тишиной в домах маленьких людей.









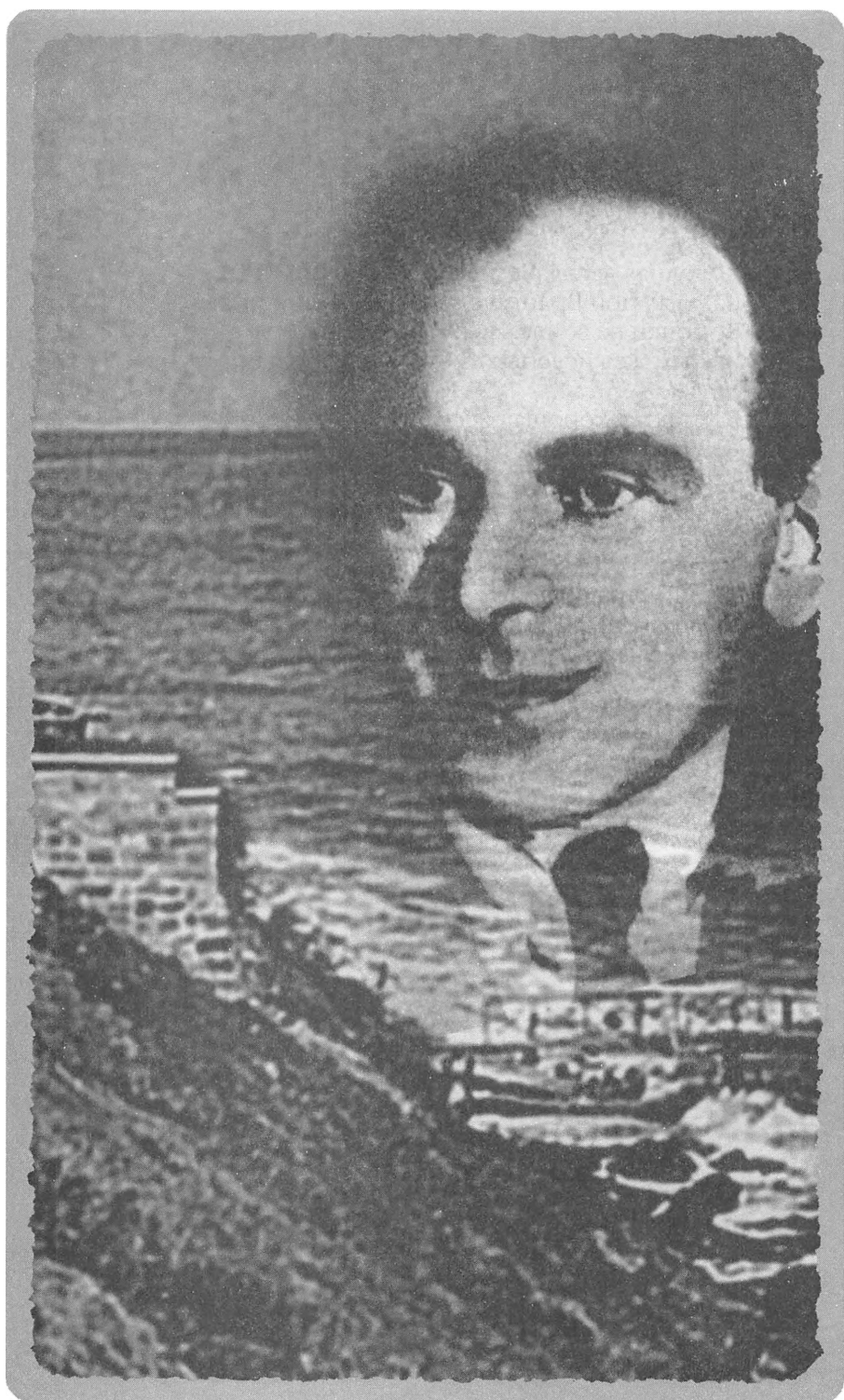
Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,  
Как был при Врангеле — такой же виноватый.  
Комочки на земле. На рубищах заплаты.  
Всё тот же кисленький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль.  
Деревья, почками набухшие на малость,  
Стоят как пришлые, и вызывает жалость  
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,  
И тени страшные Украины и Кубани..  
На войлочной земле голодные крестьяне  
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Лето 1933  
Москва. После Крыма





Уплотнившееся дыханье капельками опускалось на желтые банные стены. Крошечные черные чашечки, охраняемые запотевшими стаканами железистой крымской воды, были расставлены приманками для красных хоботов караимских и греческих губ. Там, где садилось двое, сейчас же подсаживался третий, а за плечами у третьего, подозрительно и как будто ни при чем, становилось еще двое. Центрики расплылись и рассывались, управляемые своеобразным законом мушиного тяготенья: люди облепляли невидимый центр, с жужжаньем повиснув над кусочком незримого сахара, и с злобной песнью шарались от несостоявшейся сделки.

Грязная, на серой древесной бумаге, всегда похожая на корректуру, газетка Освага будила впечатленья русской осени в лавке мелочного торговца.

Между тем город над мушиными свадьбами и жаровнями жил большими и чистыми линиями. От Митридата, то есть древнеперсидского кремля на горе театрально-картонного камня, до линейной стрелы мола и к сурово-подлинной декорации шоссе, тюрьмы и базара, — он натягивал воздушные фланги журавлиного треугольника, предлагая мирное посредничество и земле, и небу, и морю. Подобно большинству южнобережных городов-амфитеатров, он бежал с горы овечьей разверсткой, голубыми и серыми отарами радостно-бестолковых домов.

Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь. В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии, с фуражки до подошв заряженные лисьим

электричеством здоровья и молодости. На иных людей возможность безнаказанного убийства действует как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей, с детскими наглыми и опасно пустыми карими глазами, был лишь курортом, где они проходили курс леченья, соблюдая бодрящий, благотворный их природе режим.

Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, — орла Добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипенье примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку. Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-скороходами, а скорее на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрчках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки, напоминая клиента Кубу или Дома ученых.

Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии. Такой человек, кажется, способен в решительную минуту обнять полководца и сказать ему: «Голубчик, бросьте, пойдемте лучше ко мне — поговорим!» Цыгальский ходил к юнкерам читать артиллерийскую науку, как студент на урок.

Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи. Там было неловкое выраженье: «Мне все равно, с царем или без трону», и еще пожеланья о том, какой нужна ему Россия: «Увенчанная бармами закона», и прочее, напомнившие мне почерневшую от дождя Фемиду на петербургском Сенате. «Чьи это стихи?» — «Мои».

Тогда он открыл мне сомнамбулический ландшафт, в котором он жил. Самое главное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы; густые, как деготь, волны его лизали плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени Сената. По дикому этому пространству, где-то между Курском и Севастополем, словно спаса-

тельные буйки, плавали бармы закона, и не добровольцы, а какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался сам полковник до революции.

Полковник — нянька с бармами закона!

Когда фаэтон с плюшевыми медальонами пустых сидений или одноконная линейка с свадебно-розовым балдахинном пробивались в раскаленную глушь верхнего города — града копыт хватало на четыре квартала. Лошадь, подметая ногами искры, с такой силой обивала горячие камни, что, казалось, в них должна была образоваться лестница.

Здесь было так сухо, что ящерица умерла бы от жажды. Человек в сандалиях и зеленых носках, ошеломленный явлением гремучего экипажа, долго глядел ему вслед. На лице его было написано изумление, словно взяли в гору еще не бывший в употреблении рычаг Архимеда. Затем он подошел к торговке, которая сидела в своей квартире и торговала прямо из окна, превратив его в прилавок. Постучав по арбузу цыганским серебряным перстнем, он попросил отрезать ему половину. Но, дойдя до угла, вернулся, обменял арбуз на две самодельные папиросы и быстро удалился.

В верхнем городе дома, несколько казарменного и даже бастионного характера, дают приятное впечатление прочности, а также естественного, равного человеческой жизни, возраста. Оставляя в стороне археологию и не очень отдаленную старину, все они впервые сделали городской эту шершавую землю.

Дом родителей художника Мазеса да Винчи стыдливо повернулся к каменоломне хозяйственным и оживленным тылом. Засаленные библейские перины валялись на солнце. Кролики таяли стерилизованным пухом, то перебегали, то расплывались, как пролитое молоко. И, не слишком далеко, не слишком близко, там, где ей нужно, стояла гостеприимная будка с распахнутой дверью. На кривых шпагатových ряях пузырилась большая стир-

ка. Добродетельная армада шла под воинственными материнскими парусами, но крыло, принадлежащее Мазесе, поражало яркостью и богатством оснастки: черные и малиновые косоворотки, шелковая ночная рубашка до пят, какие носят новобранцы и ангелы, одна зефирная, одна бетховенская — разумеется, я говорю только о рубашках — и одна фракная, с длинными, обезьяньими рукавами, получившая в домашней переделке цветные манжеты.

Белье на юге сохнет недолго; Мазеса прошел прямо на двор, приказал все это снять и немедленно выгладить.

Имя свое он избрал сам и на вопросы любопытствующих лишь неохотно объяснял, что ему нравится фамилия да Винчи. В первой же половине своего прозвища — Мазеса — он сохранил кровную связь с родом: отец его, маленький, очень приличный человек, возил мануфактуру в Керчь на моторном паруснике, не страшась морской болезни, и звали его просто господином Мазес. Таким образом, Мазеса, прибавив женское окончание, превратил родовое прозвище в личное имя.

Кому неведом корабельный хаос мастерской славного Леонардо? Предметы кружились вихрем в трех измерениях гениальной рабочей комнаты, голуби, проникая в слуховое окошко, пачкали пометом драгоценную парчу, и в вещей слепоте мастер наткнулся на скромные предметы быта времен Возрождения. Мазеса унаследовал от невольного своего восприемника плодотворное буйство трех измерений, и спальня его уподоблялась плывущему ренессансному кораблю.

С потолка свешивалась большая люлька — корзина, в которой Мазеса любил отдыхать днем. Легкие хлопья перинного пуха нежились в густой, благородной черноте. Лестница, занесенная в комнату упрямой прихотью Мазесы, приставлена была к антресолям, где среди прочего инвентаря выделялась арматура тяжелых бронзовых ламп, во времена деда Мазесы висевшая в караимской молельне. Из кратера фарфоровой чернильницы с грустными синагогальными львами торчали бородатые, расщепленные, много лет не знавшие чернил перья. На полке, под бархатной занавеской, библиотека: испанская Библия, словарь Макарова, «Соборяне» Лескова, энтомология Фабра и путеводитель Бедекера по Парижу. На ночном столике, рядом с конвертом старого письма из Аргентины, микроскоп создавал ложное впечатление, что Мазеса глядится в него по утрам, просыпаясь.

В крошечном городе, захваченном кондотьерами Врангеля, Мазеса был совершенно незаметен и счастлив. Он гулял, ел фрукты и купался в бесплатной купальне, мечтал купить белые туфли на резиновой подошве, полученные в Центросоюзе. Отношения его с людьми и со всем миром строились на неопределенности и сладкой недоговоренности.

Он спускался с горы, выбирал в городе жертву, прилеплялся к ней на два, на три, а то и на шесть часов и, рано или поздно, зигзагами раскаленных улиц приводил ее к себе домой. Таким образом действуя, как тарантул, он исполнял какой-то темный, лично ему свойственный инстинктивный акт. Всем он говорил одно и то же: «Идемте ко мне, у нас каменный дом!» Но в каменном доме было то же, что и в других: перины, сердоликовые камушки, фотографии и вязаные салфетки.

Мазеса рисовал только автопортреты, да еще специально писал этюды с адамова яблока.

Когда вещи были выглажены, Мазеса стал собираться к вечернему выходу. Он не умывался, но горячо окунулся в серебряное девичье зеркало. Зрачки его потемнели. Круглые женские плечи вздрагивали.

Белые брюки-теннис, бетховенская рубашка и спортивный пояс не удовлетворили его. Он вынул из шкапа визитку и в полном вечернем туалете — безупречном от сандалий до тюбетейки — с черными шевиотовыми ластами на белых ляжках вышел на улицу, уже омытую козьим молоком феодосийской луны.

1923—1924

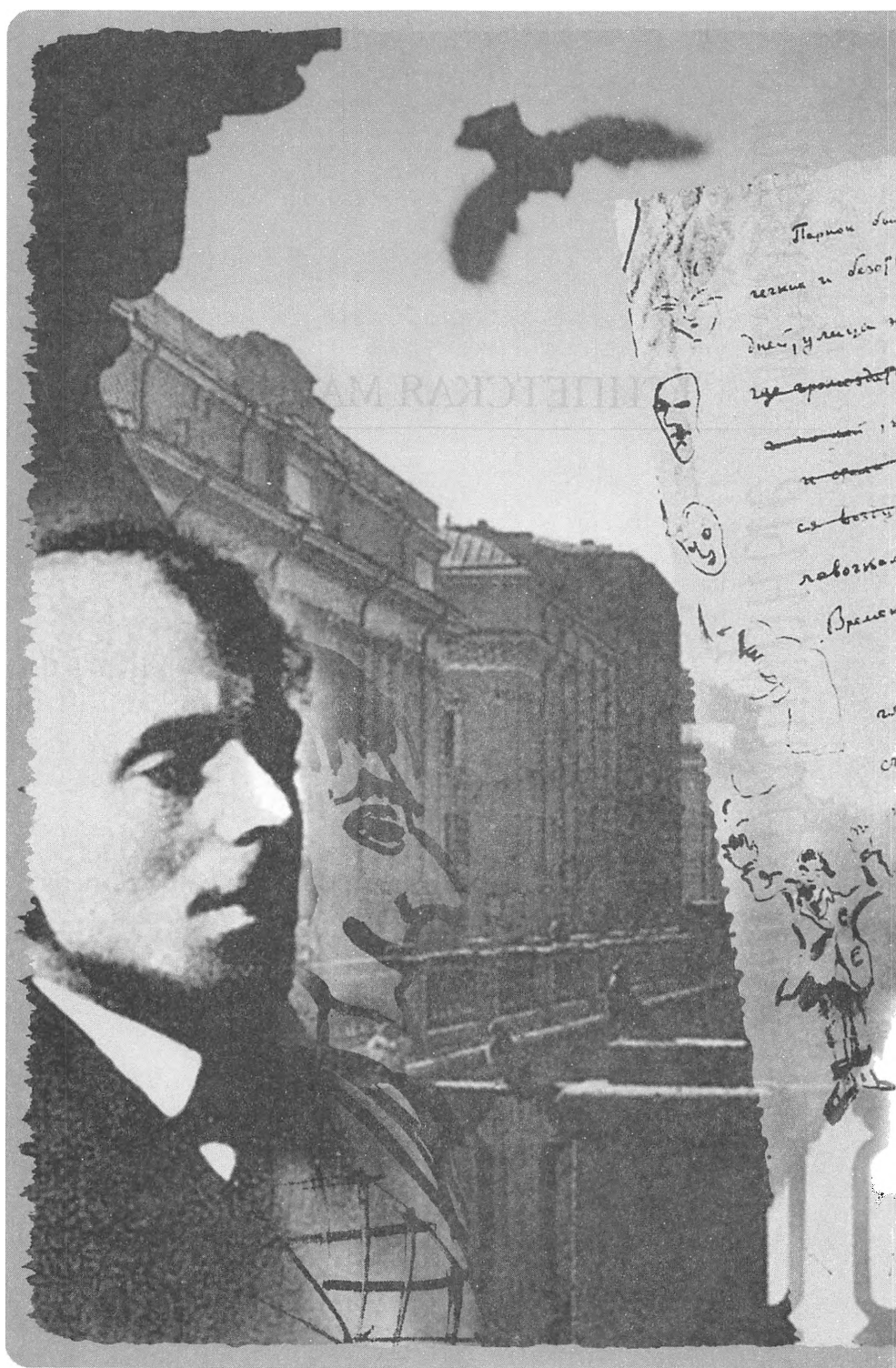
*литературные*

*мемуары*

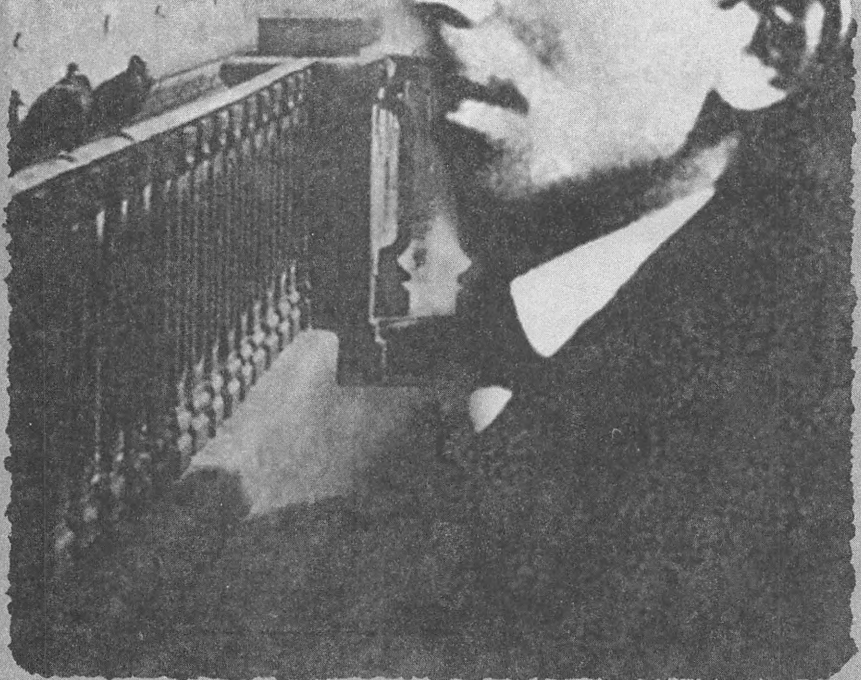
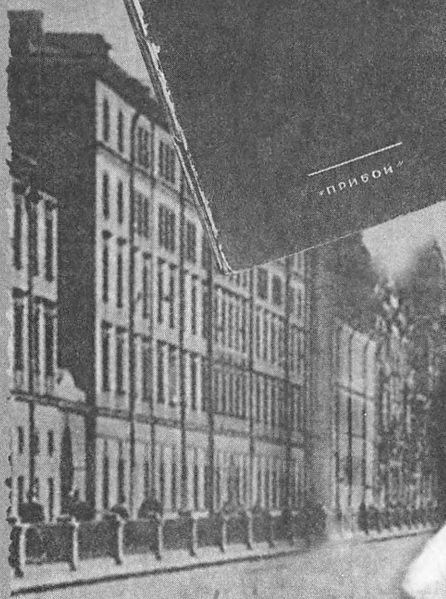
ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА

---









## I

---

Прислуга-полька ушла в костел Гваренги — посплетничать и помолиться Матке Божьей.

Ночью снился китаец, обвешанный дамскими сумочками, как ожерельем из рябчиков, и американская дуэль-кукушка, состоящая в том, что противники бьют из пистолетов в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты.

Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие. Центробежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками. Ничего не осталось. Тридцать лет прошли как медленный пожар. Тридцать лет лизало холодное белое пламя спинки зеркала с ярлычками судебного пристава.

Но как оторваться от тебя, милый Египет вещей? Наглядная вечность столовой, спальни, кабинета. Чем загладить свою вину? Хочешь Валгаллу: Кокоревские склады. Туда на хранение! Уже артельщики, приплясывая в ужасе, поднимают кабинетный рояль Миньон, как черный лакированный метеор, упавший с неба. Рогожи стелются как ризы. Трюмо плывет боком по лестнице, маневрируя на площадках во весь свой пальмовый рост.

С вечера Парнок повесил визитку на спинку венского стула: за ночь она должна была отдохнуть в плечах и в проймах, выспаться бодрым шевиотовым сном. Кто знает, быть может, визитка на венской дуге кувыркается, омолаживается, одним словом, играет?.. Беспозвоночная подруга молодых людей скучает по зеркальному

триптиху у бельэтажного портного... Простой мешок на примерке — не то рыцарские латы, не то сомнительную безрукавку — портной-художник исчертил пифагоровым мелком и вдохнул в нее жизнь и плавность:

— Иди, красавица, и живи! Щеголяй в концертах, читай доклады, люби и ошибайся!

— Ах, Мервис, Мервис, что ты наделал! Зачем лишил Парнока земной оболочки, зачем разлучил его с милой сестрой?

— Спит?

— Спит!.. Шаромыжник, на него электрической лампочки жалко!

Последние зернышки кофе исчезли в кратере мельницы-шарманки.

Умыкание состоялось.

Мервис похитил ее, как сабинянку.

Мы считаем на годы; на самом же деле в любой квартире на Каменноостровском время раскалывается на династии и столетия.

Домоправительство всегда грандиозно. Сроки жизни необъятны: от постижения готической немецкой азбуки до золотого сала университетских пирожков.

Самолюбивый и обидчивый бензиновый дух и жирный запах добряка-керосина стерегут квартиру, уязвимую с кухни, куда врываются дворники с катапультами дров. Пыльные тряпки и щетки разогревают ее белую кровь.

Вначале был верстак и карта полушарий Ильина.

Парнок черпал в ней утешение. Его успокаивала нервущаяся холщовая бумага. Тыча в океаны и материки ручкой пера, он составлял маршруты грандиозных путешествий, сравнивая воздушные очертания арийской Европы с тупым сапогом Африки и с невыразительной Австралией. В Южной Америке, начиная с Патагонии, он также находил некоторую остроту.

Уважение к ильинской карте осталось в крови Парнока еще с баснословных лет, когда он полагал, что аквамариновые и охряные полушария, как два большие мяча, затянутые в сетку широт, уполномочены на свою наглядную миссию раскаленной канцелярией самих недр земного шара и что они, как питательные пилюли, заключают в себе сгущенное пространство и расстояние.

Не с таким ли чувством певица итальянской школы, готовясь к гастрольному перелету в еще молодую Америку, окидывает голосом географическую карту, меряет океан его металлическим тембром, проверяет неопытный пульс машин пироскафа руладами и тремоло...

На сетчатке ее зрачков опрокидываются те же две Америки, как два зеленых ягдташа с Вашингтоном и Амазонкой. Она обновляет географическую карту соленым морским первопутком, гадая на долларах и русских сотенных с их зимним хрустом.

Пятидесятые годы ее обманули. Никакое *bel canto* их не скрасит. То же, повсюду низкое, суконно-потолочное небо, те же задымленные кабинеты для чтения, те же приспущенные в сердцевине века дровки «Таймсов» и «Ведомостей». И наконец, Россия...

Защекочут ей маленькие уши: «Крещатик», «щастие» и «щавель». Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный звук «ы».

А потом кавалергарды слетятся на отпеванье в костел Гваренги. Золотые птички-стервятники расклюют восковую римско-католическую певунью.

Как высоко ее положили! Разве это смерть? Смерть и пикнуть не смеет в присутствии дипломатического корпуса.

— Мы ее плюмажами, жандармами, Моцартом!

Тут промелькнули в мозгу его горячечные образы романов Бальзака и Стендаля: молодые люди, завоевывающие Париж и носовым платком обмахивающие туфли у входа в особняки, — и он отправился отбивать визитку.

Портной Мервис жил на Монетной, возле самого Лицея, но шил ли он на лицеистов, был большой вопрос; это скорей подразумевалось, как то, что рыбак на Рейне ловит форелей, а не какую-нибудь дрянь. По всему было видно, что в голове у Мервиса совсем не портняжное дело, а нечто более важное. Недаром издалека к нему слетались родственники, а заказчик пятился, ошеломленный и раскаявшийся.

— Кто же даст моим детям булочку с маслом? — сказал Мервис и сделал рукой движение, как бы выковыривающее масло, и в птичьем воздухе портновской квартиры Парноку привиделось не только сливочное масло «звездочка», гофрированное слезящимися лепестками, но даже пучки редиски. Затем Мервис искусно перевел разговор на адвоката Грузенберга, который заказал ему в январе сенаторский мундир, приплел зачем-то сына

Арона, ученика консерватории, запутался, затрепыхался и юркнул за перегородку.

«Что же, — подумал Парнок, — может, так и нужно, может, той визитки уже нет, может, он в самом деле ее продал, как говорит, чтоб заплатить за шевиот».

К тому же, если вспомнить, Мервис не чувствует края визитки — он сбивается на сюртук, очевидно более ему знакомый.

У Люсьена де Рюбампре было грубое холщовое белье и неуклюжая пара, пошитая деревенским портным; он ел каштаны на улице и боялся консьержек. Однажды он брился в счастливый для себя день, и будущее родилось из мыльной пены.

Парнок стоял один, забытый портным Мервисом и его семейством. Взгляд его упал на перегородку, за которой гудело тягучим еврейским медом женское контральто. Эта перегородка, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный иконостас.

Тут был Пушкин, с кривым лицом, в меховой шубе, которого какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой, как караульная будка, кареты и, не обращая внимания на удивленного кучера в митрополичьей шапке, собирались швырнуть в подъезд. Рядом старомодный пилот девятнадцатого века — Сантос Дюмон, в двубортном пиджаке с брелоками, — выброшенный игрой стихий из корзины воздушного шара, висел на веревке, озираясь на парящего кондора. Дальше изображены были голландцы на ходулях, журавлиным маршем пробегающие свою маленькую страну.

## II

---

Места, в которых петербуржцы назначают друг другу свидания, не столь разнообразны. Они освящены давностью, морской зеленью неба и Невой. Их бы можно отметить на плане города крестиками посреди тяжелорунных садов и картонажных улиц. Может быть, они и меняются на протяжении истории, но перед концом, когда температура эпохи вскопчила на тридцать семь и три и жизнь пронеслась по обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по белому Невскому, они были наперечет:

Во-первых, ампирный павильон в Инженерном саду, куда даже совестно было заглянуть постороннему чело-

веку, чтобы не влипнуть в чужие дела и не быть вынужденным пропеть ни с того ни с сего итальянскую арию; во-вторых, фиванские сфинксы напротив здания Университета; в третьих — невзрачная арка в устье Галерной улицы, даже не способная дать приют от дождя; в четвертых — одна боковая дорожка в Летнем саду, положение которой я запомнил, но которую без труда укажет всякий знающий человек. Вот и всё. Только сумасшедшие набивались на randevу у Медного всадника или у Александровской колонны.

Жил в Петербурге человек в лакированных туфлях, презираемый швейцарами и женщинами. Звали его Парнок. Ранней весной он выбегал на улицу и топтал по непросохшим тротуарам овечьими копытцами.

Ему хотелось поступить драгоманом в министерство иностранных дел, уговорить Грецию на какой-нибудь рискованный шаг и написать меморандум.

В феврале он запомнил такое событие:

По городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу. Черный сахар снега проваливался под ногами, но деревья стояли в теплых луночках оттаившей земли.

Дикая парабола соединяла Парнока с парадными анфиладами истории и музыки.

— Выведут тебя когда-нибудь, Парнок, — со страшным скандалом, позорно выведут — возьмут под ручки и фьюить — из симфонического зала, из общества ревнителей и любителей последнего слова, из камерного кружка стрекозиной музыки, из салона мадам Переплетник — неизвестно откуда — но выведут, ославят, осрамят...

У него были ложные воспоминания: например, он был уверен, что когда-то, мальчиком, прокрался в пышную конференц-залу и включил свет. Все гроздь лампочек и пачки свеч с хрустальными сосульками вспыхнули сразу мертвым пчельником. Электричество хлынуло таким страшным белым потоком, что стало больно глазам, и он заплакал.

Милый, слепой, эгоистический свет.

Он любил дровяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым. А береза —



с лимонно-желтой древесиной. На вес — не тяжелее мерзлой рыбы. Он ощущал полено как живое в руке.

С детства он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли, и в отместку он говорил с ними на диком и выпретенном птичьим языке исключительно о высоких материях.

Шапиро звали «Николай Давыдыч». Откуда взялся «Николай», неизвестно, но сочетание его с «Давыдом» нас пленило. Мне представлялось, что Давыдович, то есть сам Шапиро, кланяется, вобрав голову в плечи, какому-то Николаю и просит у него займы.

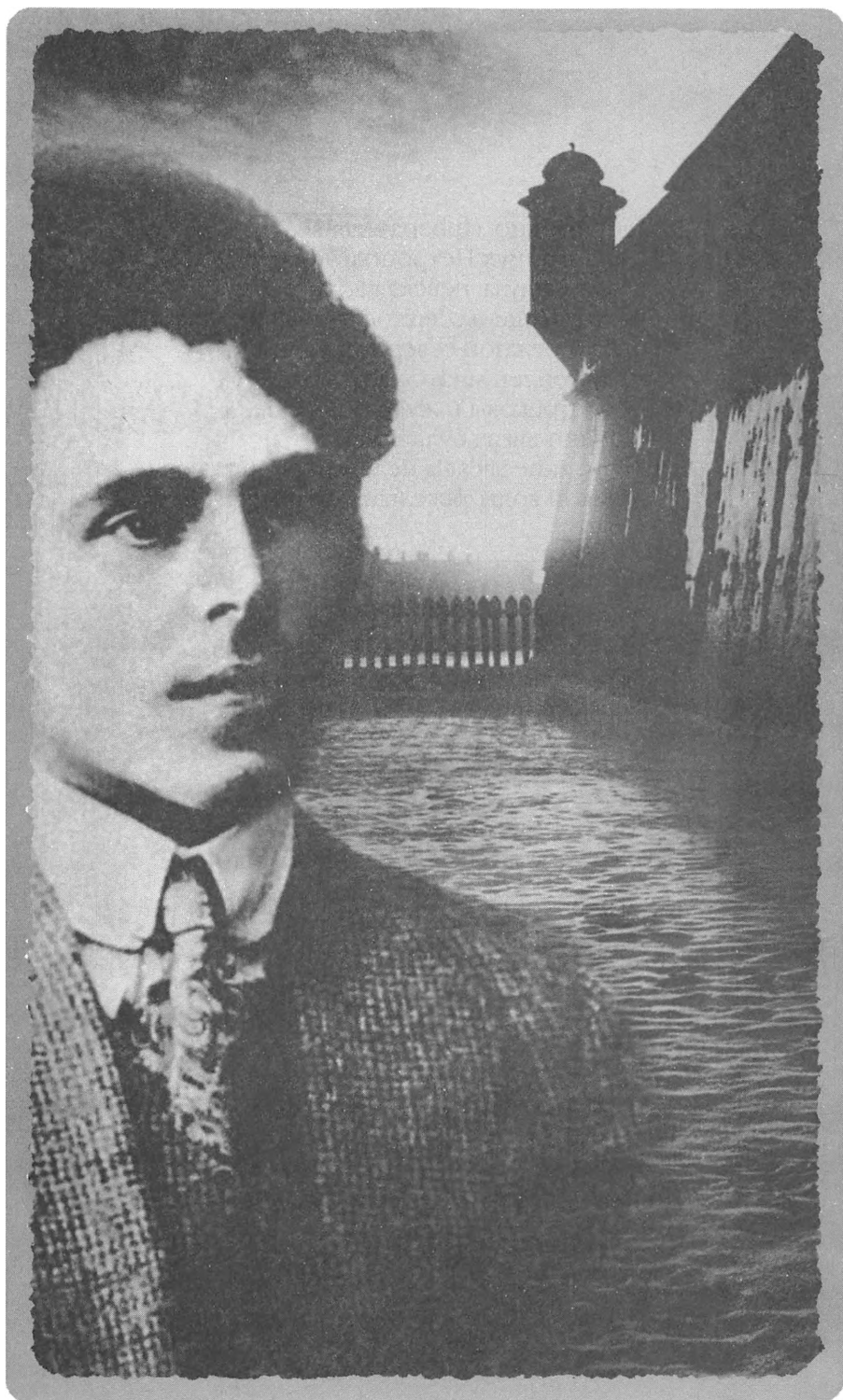
Шапиро зависел от моего отца. Он подолгу сживал в нелепом кабинете с копировальной машиной и креслом «стиль рюсс». О Шапиро говорилось, что он честен и «маленький человек». Я почему-то был уверен, что «маленькие люди» никогда не тратят больше трех рублей и живут обязательно на Песках. Большеголовый Николай Давыдыч был шершавым и добрым гостем, беспрестанно потирающим руки, виновато улыбающимся, как посыльный, допущенный в комнаты. От него пахло портным и уютгом.

Я твердо знал, что Шапиро честен, и, радуясь этому, втайне желал, чтобы никто не смел быть честным, кроме него. Ниже Шапиро на социальной лестнице стояли одни «артельщики» — эти таинственные скороходы, которых посылают в банк и к Каплану. От Шапиро через артельщиков шли нити «в банк» и «к Каплану».

Я любил Шапиро за то, что ему был нужен мой отец. Пески, где он жил, были Сахарой, окружающей белошвейную мастерскую его жены. У меня кружилась голова при мысли, что есть люди, зависимые от Шапиро. Я боялся, что на Песках поднимется смерч и подхватит его жену-белошвейку с единственной мастерицей и детей с нарывами в горле, как перышко, как три рубля...

Ночью, засыпая в кровати с ослабнувшей сеткой, при свете голубой финолинки, я не знал, что делать с Шапиро: подарить ли ему верблюда и коробку фиников, чтобы он не погиб на Песках, или же повести его вместе с мученицей — мадам Шапиро — в Казанский собор, где продырявленный воздух черен и сладок.

Есть темная, с детства идущая, геральдика нравственных понятий: шварк раздираемого полотна может означать честность и холод мадеполама — святость.



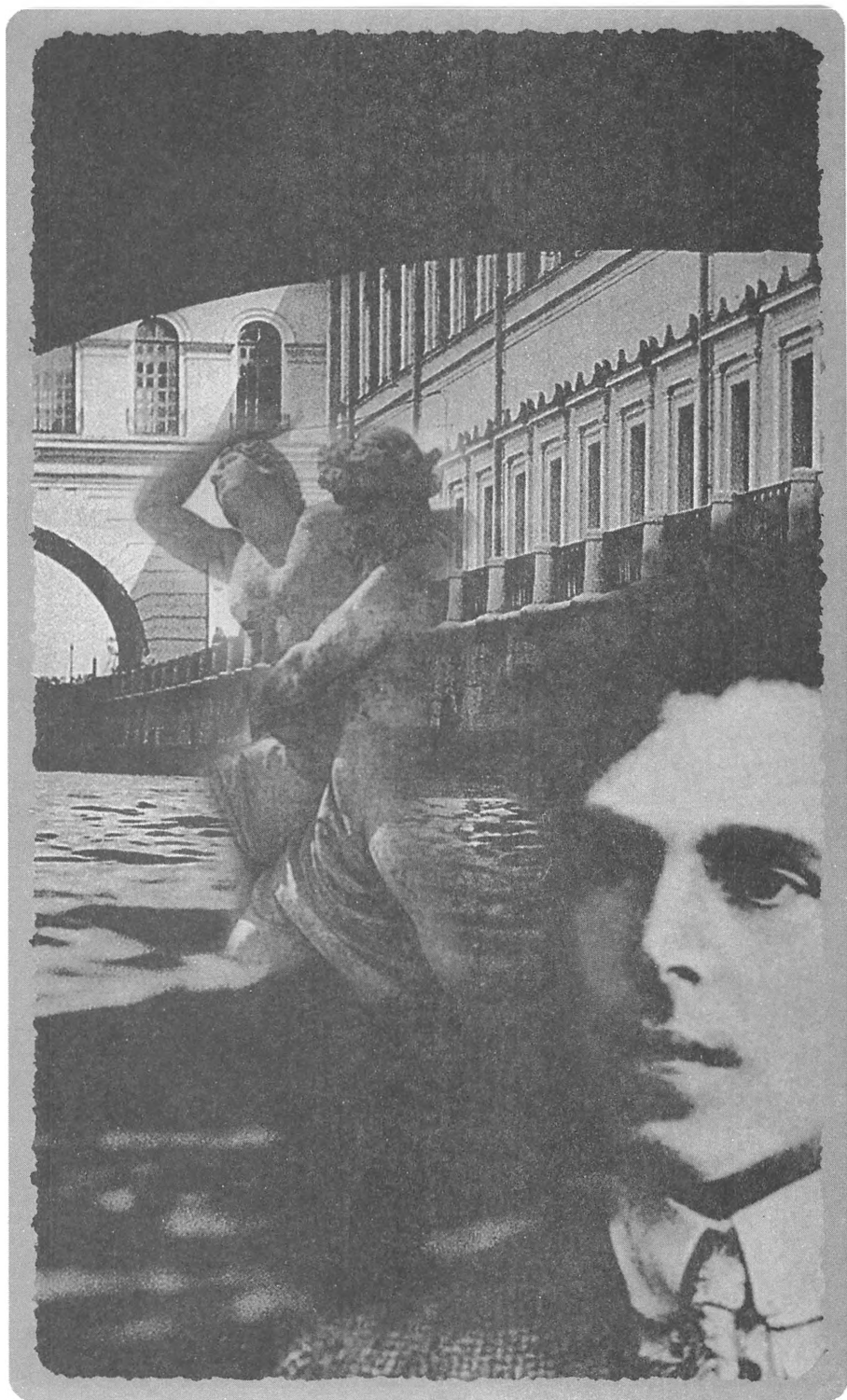
Мне холодно. Прозрачная весна  
 В зеленый пух Петрополь одевает,  
 Но, как медуза, невская волна  
 Мне отвращенье легкое внушает.  
 По набережной северной реки  
 Автомобилей мчатся светляки,  
 Летят стрекозы и жуки стальные,  
 Мерцают звезд булавки золотые,  
 Но никакие звезды не убьют  
 Морской воды тяжелый изумруд.

В Петрополе прозрачном мы умрем,  
 Где властвует над нами Прозерпина.  
 Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,  
 И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,  
 Сними могучий каменный шлем.  
 В Петрополе прозрачном мы умрем, —  
 Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916







А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксафоном, лил ему прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную корицевую жижу, ляпал прямо на темя ледяным миром, и, почуяв на своем темени ледяную нашлепку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробежал по его сухой коже и — матушка, пожалей своего сына — забирался под воротник.

— Не горячо? — спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед за тем на голову лейку с кипятком, но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника.

И кроличья кровь под мохнатым полотенцем согрелась мгновенно.

Парнок был жертвой заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман.

На бумаге верже, государи мои, на английской бумаге верже, с водяными отеками и рваными краями, извещал он ничего не подозревающую даму о том, что пространство между Миллионной, Адмиралтейством и Летним садом им заново отшлифовано и приведено в полную боевую готовность, как бриллиантовый карат.

На такой бумаге, читатель, могли бы переписываться кариатиды Эрмитажа, выражая друг другу соболезнование или уважение.

Ведь есть же на свете люди, которые никогда не хворали опаснее инфлуэнцы и к современности пристегнуты как-то сбоку, вроде котильонного значка. Такие люди никогда себя не почувствуют взрослыми и в тридцать лет еще на кого-то обижаются, с кого-то взыскивают. Никто их никогда особенно не баловал, но они развращены, будто весь век получали академический паек с сардинками и шоколадом. Это путаники, знающие одни шахматные ходы, но все-таки лезущие в игру, чтоб посмотреть, как оно выйдет. Им бы всю жизнь прожить где-нибудь на даче у хороших знакомых, слушая звон чашек на балконе, вокруг самовара, поставленного шишками, разговаривая с продавцами раков и почтальоном. Я бы их всех собрал и поселил в Сестрорецке, потому что больше теперь негде.

Парнок был человеком Каменноостровского проспекта — одной из самых легких и безответственных улиц Петербурга. В семнадцатом же году, после фев-

ральских дней, улица эта еще более полегчала, с ее паровыми прачечными, грузинскими лавочками, продающими исчезающее какао, и шалыми автомобилями Временного правительства.

Ни вправо, ни влево не подавайся: там чепуха, бес-трамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский — это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки.

### III

---

— Николай Александрович, отец Бруни! — окликнул Парнок безбородого священника-костромича, видимо, еще не привыкшего к рясе и державшего в руке пахучий пакетик с размолотым жареным кофе. — Отец Николай Александрович, проводите меня!

Он потянул священника за широкий люстриновый рукав и повел его, как кораблик. Говорить с отцом Бруни было трудно. Парнок считал его в некотором роде дамой.

Стояло лето Керенского, и заседало лимонадное правительство.

Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда как коты с бантами.

Но уже волновались айсоры — чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы.

Люблю зубных врачей за их любовь к искусству, за широкий горизонт, за идейную терпимость. Люблю, грешный человек, жужжание бормашины — этой бедной земной сестры аэроплана, — тоже сверлящего борчиком лазурь.

Девушки застыдились отца Бруни; молодой отец Бруни застыдился батистовых мелочей, а Парнок, прикрываясь авторитетом отделенной от государства церкви, препирался с хозяйкой.

То было страшное время: портные отбирали визитки, а прачки глумились над молодыми людьми, потерявшими записку.

Жареный мокко в мешочке отца Бруни щекотал ноздри разъяренной матроны.

Они углубились в горячее облако прачечной, где шесть щебечущих девушек плоили, катали и гладили. Набрав в рот воды, эти лукавые серафимы прыскали ею на зефировый и батистовый вздор. Они куролесили зверски тяжелыми утюгами, ни на минуту не переставая болтать. Водевильные мелочи разбросанной пеной по длинным столам ждали очереди. Утюги в красных девичьих пальцах шипели, совершая рейсы. Броненосцы гуляли по сбитым сливкам, а девушки прыскали.

Парнок узнал свою рубашку: она лежала на полке, сверкая пикейной грудкой, разутюженная, наглотавшаяся булавок, вся в тонкую полоску цвета спелой черешни.

— Девушки, — чья это?

— Ротмистра Кржижановского, — ответили девушки лживым, бессовестным хором.

— Батюшка, — обратилась хозяйка к священнику, который стоял, как власть имущий, в сытом тумане прачечной, и пар осаждался на его рясу, как на домашнюю вешалку. — Батюшка, если вы знаете этого молодого человека, то повлияйте на них! Я даже в Варшаве такого не видела. Они мне всегда приносят спешку, но чтобы они провалились со своей спешкой... Лезут ночью с заднего хода, словно я ксендз или акушерка... Я не варьятка, чтобы отдавать им белье ротмистра Кржижановского. То не жандарм, а настоящий поручик. Тот господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет и на руках теперь носят!

На это ничего нельзя было возразить, и отец Бруни умоляюще посмотрел на Парнока.

А я бы роздал девушкам вместо утюгов скрипки Страдивария, легкие, как скворешни, и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Все это вместе просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдет за сутану дирижирующего аббата. Шесть круглых ртов раскроются не дырками бубликов с Петербургской стороны, а удивленными кружочками «Концерта» в Palazzo Pitti.

#### IV

---

Зубной врач повесил хобот бормашины и подошел к окну.

— Ого-го... Поглядите-ка!



По Гороховой улице с молитвенным шорохом двигалась толпа. Посередине ее сохранилось свободное место в виде каре. Но в этой отдушине, сквозь которую просвечивались шахматы торцов, был свой порядок, своя система: там выступали пять-шесть человек, как бы распорядители всего шествия. Они шли походкой адъютантов. Между ними — чьи-то ватные плечи и перхотный воротник. Маткой этого странного улья был тот, кого бережно подталкивали, осторожно направляли, охраняли, как жемчужину, адъютанты.

Сказать, что на нем не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши.

Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши.

«Все эти люди — продавцы щеток», — успел подумать Парнок.

Где-то между Сенной и Мучным переулком, в москательном и кожевенном мраке, в диком питомнике перхоти, клопов и оттопыренных ушей, зародилась эта странная кутерьма, распространявшая тошноту и сразу.

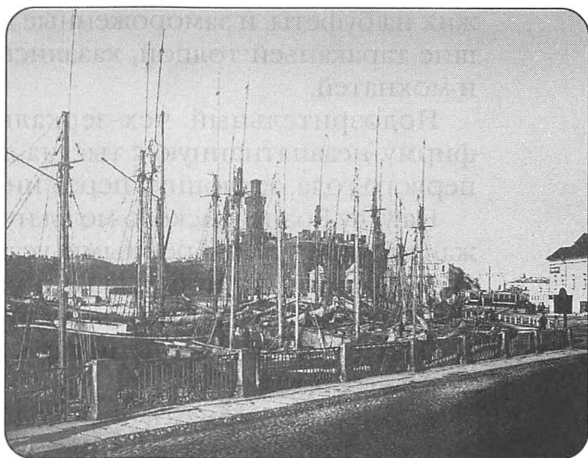
«Они воняют кишечными пузырями», — подумал Парнок, и почему-то вспомнилось страшное слово «требуха». И его слегка затошнило как бы от воспоминания о том, что на днях старушка в лавке спрашивала при нем «легкие», — на самом же деле от страшного порядка, сковавшего толпу.

Тут была законом круговая порука: за целость и благополучную доставку перхотной вешалки на берег Фонтанки к живорыбному садку отвечали решительно все. Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь обладателю злополучного воротника, который ценился дороже соболя и куницы, как его самого взяли бы в переделку, под подозрение, объявили бы вне закона и втянули бы в пустое карэ. Тут работал бондарь — страх.

Затылочные граждане, сохраняя церемониальный порядок, как шииты в день Шахсе-Вахсе, неумолимо продвигались к Фонтанке.

И Парнок кубарем скатился по щербатой бесшвейцарной лестнице, оставив недоуменного дантиста перед повисшей, как усыпленная кобра, бормашиной, вместо всяких мыслей повторяя:

— Пуговицы делаются из крови животных!



*Река Фонтанка. Лайбы  
у причала Калинкина  
моста. 1913.*

Время, робкая хризалида, обсыпанная мукой капустница, молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика, — лучше бы ты не глядела!

Не Анатоля Франса хороним в страусовом катафалке, высоком, как тополь, как разъезжающая ночью пирамида для починки трамвайных столбов, а ведем топить на Фонтанку, с живорыбного садка, одного человечка, за американские часы, за часы белого кондукторского серебра, за лотерейные часы.

Погулял ты, человечек, по Щербакову переулку, поплевал на нехорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях, поездил в Гатчину к другу Сережке, походил в баньку и в цирк Чинизелли; пожил ты, человечек, — и довольно!

Сначала Парнок забежал к часовщику. Тот сидел горбатым Спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинных козьяков.

— Есть у вас телефон? Нужно предупредить милицию!

Но какой может быть телефон у бедного еврея-часовщика с Гороховой? Вот дочки у него есть — грустные, как марципаные куклы, и геморрой есть, и чай с лимоном, и долги есть, а телефона нет.

Наскоро приготовив коктейль из Рембрандта, козливой испанской живописи и лепета цикад и даже не пригубив этого напитка, Парнок помчался дальше.

Бочком по тротуару, опережая солидную процессию самосуда, он забежал в одну из зеркальных лавок, которые, как известно, все сосредоточены на Гороховой. Зеркала перебрасывались отражениями домов, похо-

жих на буфеты, и замороженные кусочки улицы, кишевшие тараканьей толпой, казались в них еще страшной и мохнатой.

Подозрительный чех-зеркальщик, сберегая свою фирму, незапятнанную с тысяча восемьсот восемьдесят первого года, захлопнул перед ним дверь.

На углу Вознесенского мелькнул сам ротмистр Кржижановский с нафабранными усами. Он был в солдатской шинели, но при шашке и развязно шептал своей даме конногвардейские нежности.

Парнок бросился к нему, как к лучшему другу, умоляя обнажить оружие.

— Я уважаю момент, — холодно произнес колченогий ротмистр, — но, извините, я с дамой, — и, ловко подхватив свою спутницу, брякнул шпорами и скрылся в кафе.

Парнок бежал, пристукивая по торцам овечьими копытцами лакированных туфель. Больше всего на свете он боялся навлечь на себя немилость толпы.

Есть люди, почему-то неугодные толпе; она отмечает их сразу, язвит и щелкает по носу. Их недолгобливают дети, они не нравятся женщинам.

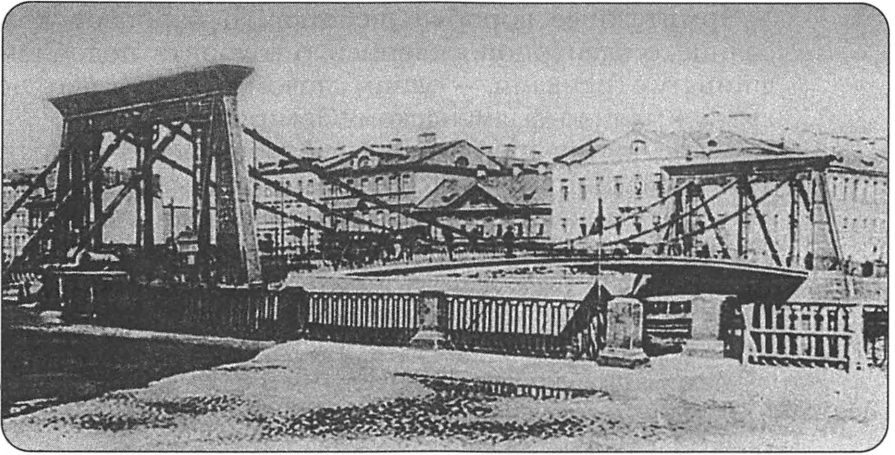
Парнок был из их числа.

Товарищи в школе дразнили его «овцой», «лакированным копытом», «египетской маркой» и другими обидными именами. Мальчишки ни с того ни с сего распустили о нем слух, что он «пятновыводчик», то есть знает особый состав от масляных, чернильных и прочих пятен, и, нарочно выкрадывая у матерей безобразную ветошь, несли ее в класс, с невинным видом предлагая Парноку «вывести пятнышко».

Вот и Фонтанка — Ундина барахольщиков и голодных студентов с длинными сальными патлами, Лорелея вареных раков, играющая на гребенке с недостающими зубьями. Река — покровительница плюгавого Малого театра с его облезлой, лысой, похожей на ведьму, надушенную пачулями, Мельпоменой.

Что же! Египетский мост и не нюхал Египта, и ни один порядочный человек в глаза не видал Калинкина!

Несметная, невесть откуда налетевшая человечья саранча вычернила берега Фонтанки, облепила рыбный садок, баржи с дровами, пристаньки, гранитные сходни и даже лодки ладожских гончаров. Тысячи глаз глядели в нефтяную радужную воду, блестящую всеми оттенка-



*Египетский мост. Открытка 1900-х годов.*

ми керосина, перламутровых помоев и павлиньего хвоста.

Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух.

Однако он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству — исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству.

С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен.

Аптечные телефоны делаются из самого лучшего скарлатинового дерева. Скарлатиновое дерево растет в клистирной роще и пахнет чернилом.

Не говорите по телефону из петербургских аптек: трубка шелушится и голос обесцвечивается. Помните, что к Прозерпине и к Персефоне телефон еще не проведен.

Перо рисует усатую греческую красавицу и чей-то лисий подбородок.

Так на полях черновиков возникают арабески и живут своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью.

Скрипичные человечки пьют молоко бумаги.

Вот Бабель: лисий подбородок и лапки очков.

Парнок — египетская марка.

Артур Яковлевич Гофман — чиновник министерства иностранных дел по греческой части.

Валторны Мариинского театра.

Еще раз усатая гречанка.

И пустое место для остальных.

Эрмитажные воробьи щебетали о барбизонском солнце, о пленэрной живописи, о колорите, подобном шпинату с гренками, — одним словом, обо всем, чего не хватает мрачно-фламандскому Эрмитажу.

А я не получу приглашения на барбизонский завтрак, хоть и разламывал в детстве шестигранные коронационные фонарики с зубринкой и наводил на песчаный сосняк и можжевельник то раздражительно-красную трахому, то синюю жвачку полдня какой-то чужой планеты, то лиловую кардинальскую ночь.

Мать заправляла салат желтками и сахаром.

Рваные мятые уши салата с хрящиками умирали от уксуса и сахара.

Воздух, уксус и солнце уминались с зелеными тряпками в сплошной, горящий солью, трельяжами, бисером, серыми листьями, жаворонками и стрекозами, в гремещий тарелками барбизонский день.

Барбизонское воскресенье шло, обмахиваясь газетами и салфетками, к зенитному завтраку, устилая траву фельетонами и заметками о булавочно-маленьких актрисах.

К барбизонским зонтам стекались гости в широких панталонах и львиных бархатных жилетах. А женщины стравивали мурашей с круглых плеч.

Открытые вагонетки железной дороги плохо повиновались пару и, растрепав занавески, играли с ромашковым полем в лото.

Паровоз в цилиндре, с цыплячьими поршнями, негодовал на тяжесть шапокляков и муслина.

Бочка опрыскивала улицу шпагатом тонких и ломких струн.

Уже весь воздух казался огромным вокзалом для жирных нетерпеливых роз.

А черные блестящие муравьи, как плотоядные актеры китайского театра в старинной пьесе с палачом, чванились скипидарными лапками и влачили боевые дольки еще не разрубленного тела, вихляя сильным агатовым задом, словно военные лошади, в фижмах пыли скачущие на холм.

Парнок встряхнулся.

Ломтик лимона — это билет в Сицилию к жирным розам, и полотеры пляшут с египетскими телодвижениями.

Лифт не работает.

По домам ходят меньшевики-оборонцы, организуя ночное дежурство в подворотнях.

И страшно жить, и хорошо!

Он — лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным турецким кофеом налетающая ночь.

## V

---

В мае месяце Петербург чем-то напоминает адресный стол, не выдающий справок, — особенно в районе Дворцовой площади. Здесь все до ужаса приготовлено к началу исторического заседания с белыми листами бумаги, с отточенными карандашами и с графином кипяченой воды.

Еще раз повторяю: величие этого места в том, что справки никогда и никому не выдаются.

В это время проходили через площадь глухонемые: они сучили руками быструю пряжу. Они разговаривали. Старший управлял челноком. Ему помогали. То и дело подбегал со стороны мальчик, так растопырив пальцы, словно просил снять с них заплетенную диагоналями нитку, чтобы сплетение не повредилось. На них на всех — их было четверо — полагалось, очевидно, пять мотков. Один моток был лишним. Они говорили на языке ласточек и попрошаек и непрерывно заметывая крупными стежками воздух, шили из него рубашку.

Староста в гневе перепутал всю пряжу.

Глухонемые исчезли в арке Главного штаба, продолжая сучить свою пряжу, но уже гораздо спокойнее, словно засылали в разные стороны почтовых голубей.

Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарики, лезут вверх и вниз. Каждый такт — это лодочка, груженная изюмом и черным виноградом.

Нотная страница — это, во-первых, диспозиция боя парусных флотилий; во-вторых — это план, по которому тонет ночь, организованная в косточки слив.

Громадные концертные спуски шопеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов, висячие парки с куртинами Моцарта, дрожащие на пяти проволоках, — ничего не имеют общего с низкорослым кустарником бетховенских сонат.



*Костел св. Екатерины на Невском проспекте.  
Начало 1900-х годов.*

Миражные города нотных знаков стоят, как скворешники, в кипящей смоле.

Нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей.

Когда сотни фонариков с лесенками мечутся по улицам, подвешивая бемоли к ржавым крюкам, укрепляя флюгера дизелов, снимая целые вывески поджарых тактов, — это, конечно, Бетховен; но когда кавалерия восьмых и шестнадцатых в бумажных султанах с конскими значками и штандартиками рвется в атаку — это тоже Бетховен.

Нотная страница — это революция в старинном немецком городе.

Большеголовые дети. Скворцы. Распрягают карету князя. Шахматисты выбегают из кофеен, размахивая ферзями и пешками.

Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге — это Гендель.

Но до чего воинственны страницы Баха — эти потрясающие связки сушеных грибов.

А на Садовой у Покрова стоит каланча. В январские морозы она выбрасывает виноградины сигнальных шаров — к сбору частей. Там неподалеку я учился музыке. Мне ставили руку по системе Лещетицкого.

Пусть ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы; пусть труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу.

Рояль — это умный и добрый комнатный зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и все-

гда воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими, как спаржа, сонатинами...

Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него.

Ведь и я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы, — сначала на морозе, потом под низкими банными потолками вестибюлей Александринки. Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершалось зверское убийство ради полушубка и валяных сапог. Ведь и держусь я одним Петербургом — концертным, желтым, зловещим, нахохленным, зимним.

Не повинуется мне перо: оно расщепилось и разбрызгало свою черную кровь, как бы привязанное к конторке телеграфа — публичное, испакощенное ерниками в шубах, разменявшее свой ласточкин росчерк — первоначальный нажим — на «приезжай ради Бога», на «скупаю» и «целую» небритых похабников, шепчущих телеграммку в надышанный меховой воротник.

Керосинка была раньше примуса. Слюдяное окошечко и откидной маяк. Пизанская башня керосинки кивала Парноку, обнажая патриархальные фитили, добродушно рассказывая об отроках в огненной печи.

Я не боюсь бессвязности и разрывов.

Стригу бумагу длинными ножницами.

Подклеиваю ленточки бахромкой.

Рукопись — всегда буря, истрепанная, исклеванная.

Она — черновик сонаты.

Марать — лучше, чем писать.

Не боюсь швов и желтизны клея.

Портняжу, бездельничаю.

Рисую Марата в чулке.

Стрижей.

Больше всего у нас в доме боялись «сажи» — то есть копоты от керосиновых ламп. Крик «сажа, сажа» звучал как «пожар, горим» — вбегали в комнату, где расшалилась лампа. Всплескивая руками, останавливались, нюхали воздух, весь кишевший усатыми, живыми порхающими чайниками.

Казнили провинившуюся лампу приспусканием фитиля. Тогда немедленно распахивались маленькие фор-



точки, и в них стрелял шампанским мороз, торопливо прохватывая всю комнату с усатыми бабочками «сажи», оседающими на пикейных одеялах и наволочках эфиром простуды, сулемой воспаления легких.

— Туда нельзя — там форточка, — шептали мать и бабушка. Но и в замочную скважину врывается он — запрещенный холод, — чудный гость дифтеритных пространств.

Юдифь Джорджоне улизнула от евнухов Эрмитажа.

Рысак выбрасывает бабки.

Серебряные стаканчики наполняют Миллионную.

Проклятый сон! Проклятые стогны бесстыжого города!

Он сделал слабое умоляющее движение рукой, выронил листочек цедровой пудреной бумаги и присел на тумбу.

Он вспомнил свои бесславные победы, свои позорные рандеву, стояния на улицах, телефонные трубки в пивных, страшные, как рачья клешня... Номера ненужных, отгоревших телефонов...

Роскошное дребезжанье пролетки растаяло в тишине, подозрительной, как кирасирская молитва.

Что делать? Кому жаловаться? Каким серафимам вручить робкую концертную душонку, принадлежащую малиновому раю контрабасов и трутней?

Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он — исчадь ее, любимое детище. Пропала крупиночка: гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества... В те отдаленные времена, когда применялась дуэль-кукушка, состоявшая в том, что противники в темной комнате бьют из пистолетов в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты, — эта дробиночка именовалась честью.

Однажды бородатые литераторы, в широких, как пневматические колокола, панталонах, поднялись на скворешню к фотографу и снялись на отличном дагерротипе. Пятеро сидели, четверо стояли за спинками ореховых стульев. Перед ними снимался мальчик в черкеске и девочка с локончиками, и под ногами у компа-

нии шмыгал котенок. Его убрали. Все лица передавали один тревожно-глубокомысленный вопрос: почему теперь фунт слоновьего мяса?

Вечером на даче в Павловске эти господа литераторы отчехвостили бедного юнца — Ипполита. Так и не довелось ему прочесть свою клеенчатую тетрадку. Тоже выискался Руссо!

Они не видели и не понимали прелестного города с его чистыми корабельными линиями.

А бесенок скандала вселился в квартиру на Разъезжей, привинтив медную дощечку на имя присяжного поверенного, — эта квартира неприкосновенна и сейчас — как музей, как пушкинский дом, — дрыхнул на оттоманках, топтался в прихожих — люди, живущие под звездой скандала, никогда не умеют вовремя уходить, — канючил, нудно прощался, тычась в чужие галоши.

Господа литераторы! Как балеринам — туфельки-балетки, так вам принадлежат галоши. Примеряйте их, обменивайте: это ваш танец. Он исполняется в темных прихожих при одном обязательном условии — неуважения к хозяину дома. Двадцать лет такого танца составляют эпоху; сорок — историю... Это — ваше право.

Сморозинные улыбки балерин,

лопотание туфелек, натертых тальком,

воинственная сложность и дерзкая численность скрипичного оркестра, запятанного в светящийся ров, где музыканты перепутались, как дриады, ветвями, корнями и смычками,

растительное послушание кордебалета,

великолепное пренебрежение к материнству женщины...

— Этим нетанцующим королем и королевой только что играли в шестьдесят шесть.

— Моложавая бабушка Жизели разливает молоко — должно быть, миндальное.

— Всякий балет до известной степени — крепостной. Нет, нет, — тут уж вы со мной не спорьте!

Январский календарь с балетными козочками, образцовым молочным хозяйством мириадов миров и треском распечатываемой карточной колоды...

Подъезжая с тылу к неприлично ватерпруфному зданию Мариинской оперы:

— Сыщики-барышники, барышники-сыщики,  
Что вы на морозе, миленькие, рыщете?  
Кому билет в ложу,  
А кому в рожу.

— Нет, что ни говорите, а в основе классического танца лежит острастка — кусочек «государственного льда».

— Как вы думаете, где сидела Анна Каренина?

— Обратите внимание: у античности был амфитеатр, а у нас — у новой Европы — ярусы. И на фресках Страшного суда, и в опере. Единое мироощущение.

Придымленные улицы с кострами вертелись каруселью.

— Извозчик, на «Жизель» — то есть к Мариинскому!

Петербургский извозчик — это миф, козерог. Его нужно пустить по зодиаку. Там он не пропадет со своим бабьим кошельком, узкими, как правда, полозьями и овсяным голосом.

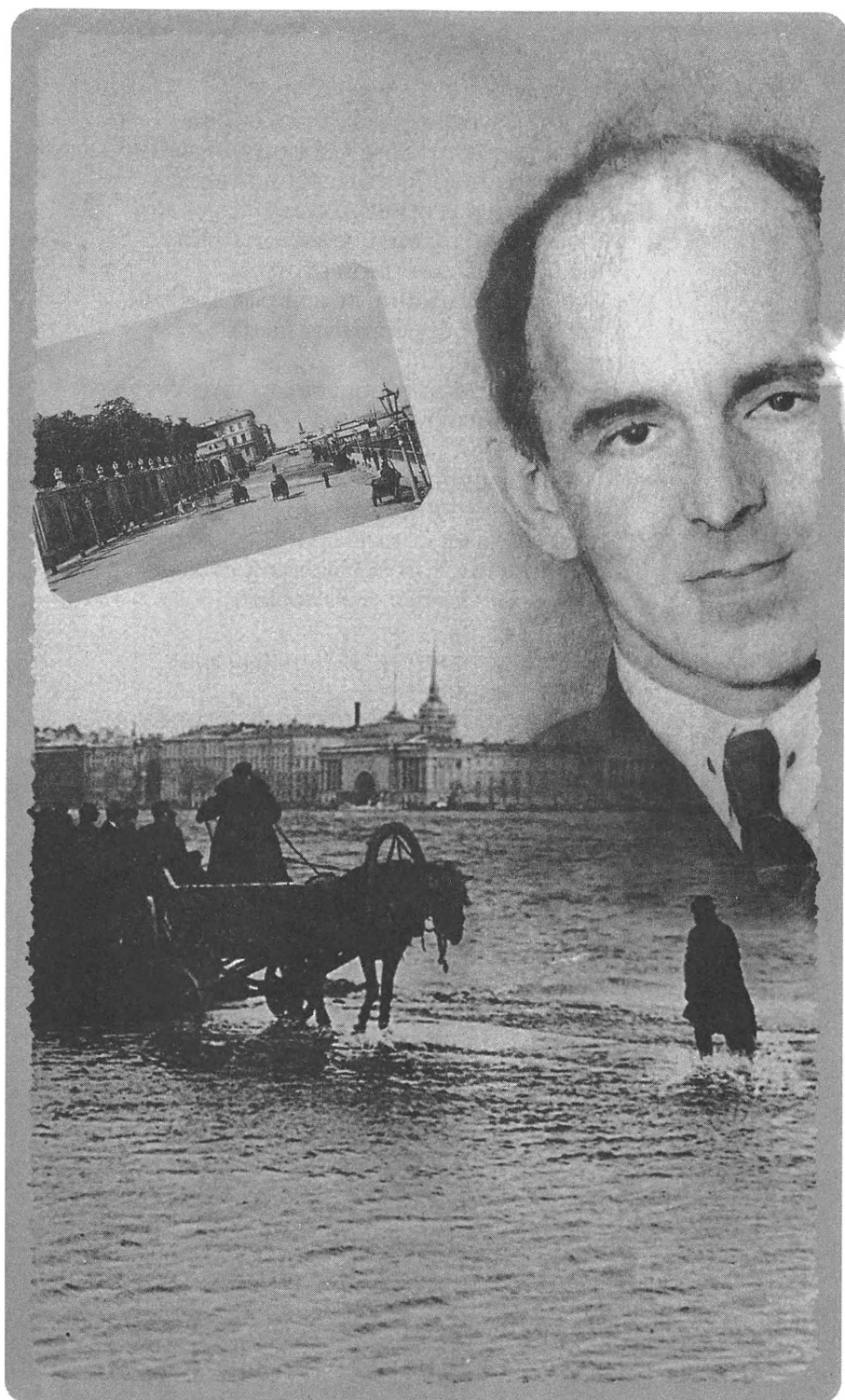
## VI

Пролетка была с классическим, скорее московским, чем петербургским, шиком: с высоко посаженным кузовом, блестящими лакированными крыльями и на раздутых до невозможности шинах — ни дать ни взять, греческая колесница.

Ротмистр Кржижановский шептал в преступное розовое ушко:

— О нем не беспокойтесь: честное слово, он пломбирует зуб. Скажу вам больше: сегодня на Фонтанке — не то он украл часы, не то у него украли. Мальчишки! Грязная история!

Белая ночь, шагнув через Колпино и Среднюю Рогатку, добрела до Царского Села. Дворцы стояли испуган-



В Петербурге мы сойдемся снова,  
Словно солнце мы похоронили в нем,  
И блаженное, бессмысленное слово  
В первый раз произнесем.  
В черном бархате советской ночи,  
В бархате всемирной пустоты,  
Всё поют блаженных жен родные очи,  
Всё цветут бессмертные цветы.

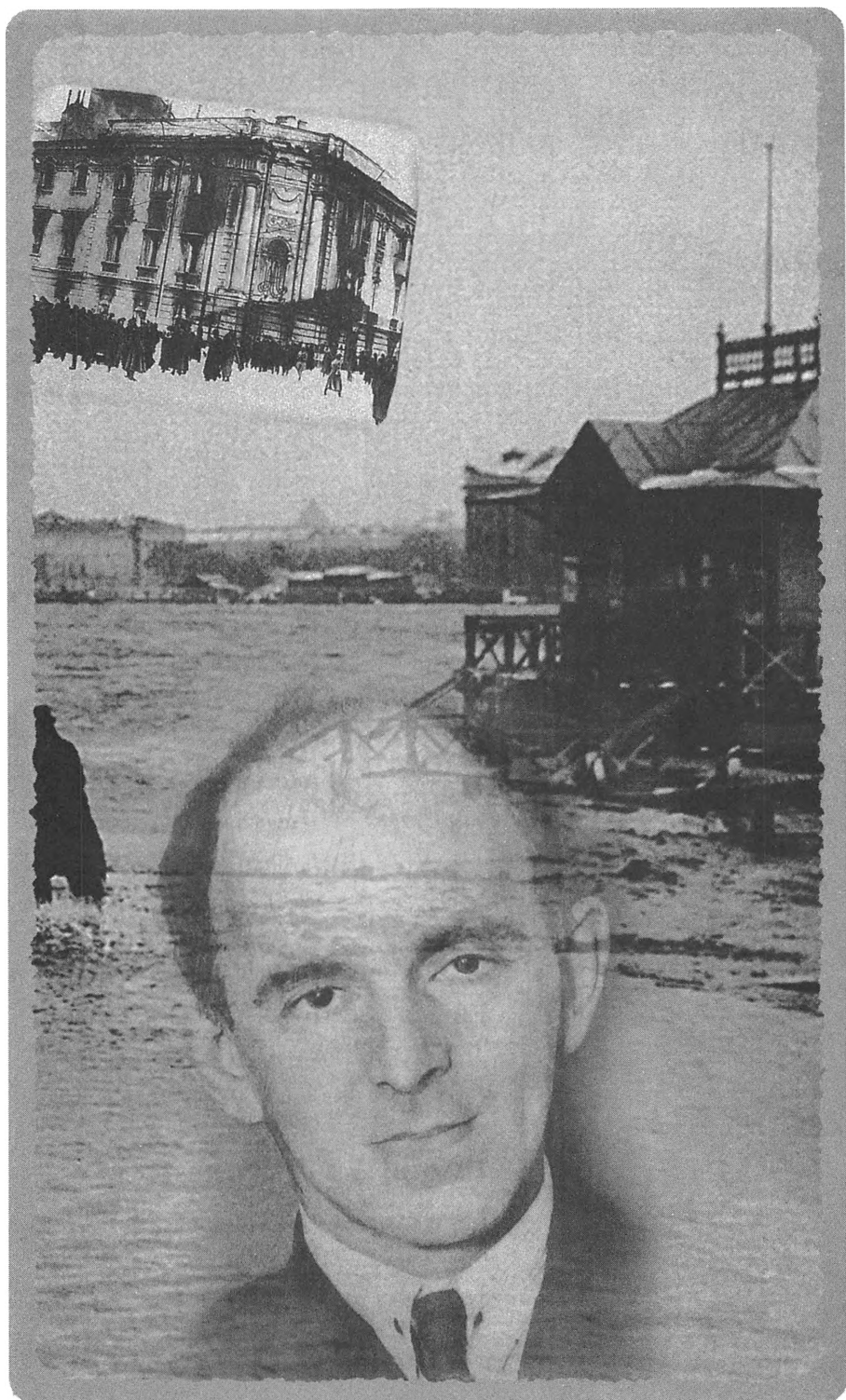
Дикой кошкой горбится столица,  
На мосту патруль стоит,  
Только злой мотор во мгле промчится  
И кукушкой прокричит.  
Мне не надо пропуска ночного,  
Часовых я не боюсь:  
За блаженное, бессмысленное слово  
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох  
И девическое «ах» —  
И бессмертных роз огромный ворох  
У Киприды на руках.  
У костра мы греемся от скуки,  
Может быть, века пройдут,  
И блаженных жен родные руки  
Легкий пепел соберут.

Где-то хоры сладкие Орфея  
И родные темные зрачки,  
И на грядки кресел с галереи  
Падают афиши-голубки.  
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,  
В черном бархате всемирной пустоты  
Всё поют блаженных жен крутые плечи,  
А ночного солнца не заметишь ты.

1920







но-белые, как шелковые куколи. Временами белизна их напоминала выстиранный с мылом и щелоком платок оренбургского пуха. В темной зелени шуршали велосипеды — металлические шершни парка.

Дальше белеть было некуда: казалось — еще минутка, и все наваждение расколется, как молодая простокваша.

Страшная каменная дама «в ботиках Петра Великого» ходит по улицам и говорит:

— Мусор на площади... Самум... Арабы... «Просеменил Семен в просеминарий»...

Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына!

За весь этот сумбур, за жалкую любовь к музыке, за каждую крупинку драже в бумажном мешочке у курсистки на хорах Дворянского собрания ответишь ты, Петербург!

Память — это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?

«Страховой старичок» Гешка Рабинович, как только родился, потребовал бланки для полисов и мыло Ралле. Жил он на Невском в крошечной девической квартирке. Его незаконная связь с какой-то Лизочкой умиляла всех. «Генрих Яковлевич спит», — говаривала Лизочка, приложив палец к губам, и вся вспыхивала. Она, конечно, надеялась — сумасшедшей надеждой, — что Генрих Яковлевич еще подрастет и проживет с ней долгие годы, что их розовый бездетный брак, освященный архиереями из кофейни Филиппова, — только начало...

А Генрих Яковлевич с легкостью болонки бегал по лестницам и страховал на дожитие.

В еврейских квартирах стоит печальная усатая тишина.

Она слагается из разговоров маятника с крошками булки на клеенчатой скатерти и серебряными подставочниками.

Тетя Вера приходила обедать и приводила с собой отца — старика Пергаменты. За плечами тети Веры стоял миф о разорении Пергаменты. У него была квартира в сорок комнат на Крещатике в Киеве. «Дом — полная чаша». На улице под сорока комнатами били копытами лошади Пергаменты. Сам Пергамент «стриг купоны».



Тетя Вера — лютеранка, подпевала прихожанам в красной кирке на Мойке. В ней был холодок компаньонки, лектрисы и сестры милосердия — этой странной породы людей, враждебно привязанных к чужой жизни. Ее тонкие лютеранские губы осуждали наш домопорядок, а стародевичьи букли склонялись над тарелкой куриного супа с легкой брезгливостью.

Появляясь в доме, тетя Вера начинала машинально сострадать и предлагать свои краснокрестные услуги, словно разворачивая катушку марли и разбрасывая серпантинном незримый бинт.

Ехали таратайки по твердой шоссейной дороге, и топорщились, как кровельное железо, воскресные пиджаки мужчин. Ехали таратайки от «ярви» до «ярви», чтоб километры сыпались горохом, пахли спиртом и творогом. Ехали таратайки, двадцать одна и еще четыре, — со старухами в черных косынках и в суконных юбках, твердых, как жель. Нужно петь псалмы в петушиной кирке, пить черный кофий, разбавленный чистым спиртом, и той же дорогой вернуться домой.

Молодая ворона напыжилась:

— Милости просим к нам на похороны.

— Так не приглашают, — чирикнул воробушек в парке Мон-Репо.

Тогда вмешались сухопарые вороны, с голубыми от старости, жесткими перьями:

— Карл и Амалия Бломквист извещают родных и знакомых о кончине любезной их дочери Эльзы.

— Вот это другое дело, — чирикнул воробушек в парке Мон-Репо.

Мальчиков снаряжали на улицу, как рыцарей на турнир: гамаши, ватные шаровары, башлыки, наушники.

От наушников шумело в голове и накатывала глухота. Чтобы ответить кому-нибудь, надо было развязать режущие тесемочки у подбородка.

Он вертелся в тяжелых зимних доспехах, как маленький глухой рыцарь, не слыша своего голоса.

Первое разобшение с людьми и с собой и, кто знает, быть может, сладкий предсклеротический шум в крови, пока еще растираемой мохнатым полотенцем седьмого года жизни, — воплощались в наушниках; и шестилетнего ватного Бетховена в гамашах, вооруженного глухотой, выталкивали на лестницу.

Ему хотелось обернуться и крикнуть: «Кухарка тоже глухарь».

Они с важностью шли по Офицерской и выбирали в магазине грушу дюшес.

Однажды зашли в ламповый магазин Аболинга на Вознесенском, где парадные лампы толпились, как идиотки-жирафы, в красных шляпах с фестонами и оборками. Здесь им впервые овладело впечатление грандиозности и «леса вещей».

В цветочный магазин Эйлерса не заходили никогда.

Где-то практиковала женщина-врач Страшунер.

## VII

---

Когда портной относит готовую работу, вы никогда не скажете, что на руках у него обнова. Чем-то он напоминает члена похоронного братства, спешащего в дом, отмеченный Азраилом, с принадлежностями ритуала. Так и портной Мервис. Визитка Парнока погрелась у него на вешалке недолго — часа два подышала родным тминным воздухом. Жена Мервиса поздравила его с удачей.

— Это еще что, — ответил польщенный мастер, — вот дедушка мой говорил, что настоящий портной это тот, кто снимает сюртук с неплательщика среди бела дня на Невском проспекте.

Потом он снял визитку с плечика, подул на нее, как на горячий чай, завернул в чистую полотняную простыню и понес к ротмистру Кржижановскому в белом саване и в черном коленкоре.

Я, признаться, люблю Мервиса, люблю его слепое лицо, изборожденное зрячими морщинами. Теоретики классического балета обращают громадное внимание на улыбку танцовщицы, — они считают ее дополнением к движенью — истолкованьем прыжка, полета. Но иногда опущенное веко видит больше, чем глаз, и ярусы морщин на человеческом лице глядят как скопище слепцов.

Тогда изящнейший фарфоровый портной мечется, как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор, готовый крикнуть последнее неотразимо убедительное слово.

В моем восприятии Мервиса просвечивают образы: греческого сатира, несчастного певца-кифареда, временами маска еврипидовского актера, временами голая грудь и покрытое испариной тело растерзанного каторжанина, русского ночлежника или эпилептика.

Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь. Слово, как порошок аспирина, оставляет привкус меди во рту.

Рыбий жир — смесь пожаров, желтых зимних утр и ворвани: вкус вырванных лопнувших глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга.

Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир.

Книги тают, как ледяшки, принесенные в комнату. Все уменьшается. Всякая вещь мне кажется книгой. Где различие между книгой и вещью? Я не знаю жизни: мне подменили ее еще тогда, когда я узнал хруст мышьяка на зубах у черноволосой французской любовницы, младшей сестры нашей гордой Анны.

Все уменьшается. Все тает. И Гёте тает. Небольшой нам отпущен срок. Холодит ладонь ускользающий эфес бескровной ломкой шпаги, отбитой в гололедицу у водосточной трубы.

Но мысль, как палаческая сталь коньков «Нурмис», скользивших когда-то по голубому, с пупырышками льду, не притупилась.

Так коньки, привинченные к бесформенным детским ботинкам, к американским копытцам-шнуровкам, срачиваются с ними — ланцеты свежести и молодости, — и оснащенная обувь, потянувшая радостный вес, превращается в великолепные драконьи ошметки, которым нет названья и цены.

Все трудней перелистывать страницы мерзлой книги, переплетенной в топоры при свете газовых фонарей.

Вы, дровяные склады — черные библиотеки города, — мы еще почитаем, поглядим.

Где-то на Подьяческой помещалась эта славная библиотека, откуда пачками вывозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов, с зачитанными в шелк заразными страницами. Некрасивые

барышни выбирали с полок книги. Кому — Бурже, кому — Жорж Онэ, кому еще что-нибудь из библиотечного шурум-бурума.

Напротив была пожарная часть с закрытыми наглухо воротами и колоколом под шляпкой гриба.

Некоторые страницы сквозили, как луковичная шелуха.

В них жила корь, скарлатина и ветряная оспа.

В корешках этих дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть морского песку, — как ее ни вытряхивать — она появлялась снова.

Иногда выпадала готическая елочка папоротника, приплюснутая и слежавшаяся, иногда — превращенный в мумию безымянный северный цветок.

Пожары и книги — это хорошо.

Мы еще поглядим — почитаем.

«За несколько минут до начала агонии по Невскому прогремел пожарный обоз. Все отпрянули к квадратным запотевшим окнам, и Анджиолину Бозио — уроженку Пьемонта, дочь бедного странствующего комедианта — *basso comico*, — предоставили на мгновенье самой себе.

Воинственные фиоритуры петушиных пожарных рожков, как неслыханное брио безоговорочного побеждающего несчастья, ворвались в плохо проветренную спальню демидовского дома. Битюги с бочками, линейками и лестницами отгрохотали, и полымя факелов лизнуло зеркала. Но в потускневшем сознании умирающей певицы этот ворох горячечного казенного шума, эта бешеная скачка в бараньих тулупах и касках, эта охалка арестованных и увозимых под конвоем звуков обернулась призывом оркестровой увертюры. В ее маленьких некрасивых ушах явственно прозвучали последние такты увертюры к «*Duo Foscarì*», ее дебютной лондонской оперы...

Она приподнялась на подушках и пропела то, что нужно, но не тем сладостным металлическим гибким голосом, который сделал ей славу и который хвалили газеты, а грудным необработанным тембром пятнадцатилетней девочки-подростка, с неправильной, неэкономной подачей звука, за которую ее так бранил профессор Каттанео.

Прощай, Травиата, Розина, Церлина...»

## VIII

В тот вечер Парнок не вернулся домой обедать и не пил чаю с сухариками, которые он любил, как канарейка. Он слушал жужжание паяльных свеч, приближающих к рельсам трамвая ослепительно белую мохнатую розу. Он получил обратно все улицы и площади Петербурга — в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады.

Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние — великолепный товар, что будет, будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами.

Он ждал, покуда накапливались таборы извозчиков и пешеходов на той и другой стороне, как два враждебных племени или поколенья, поспоривших о торцовой книге в каменном переплете с вырванной серединой.

Он думал, что Петербург — его детская болезнь и что стоит лишь очухаться, очнуться — и наважденье рассыплется: он выздоровеет, станет как все люди; пожалуй, женится даже... Тогда никто уже не посмеет называть его «молодым человеком». И ручки дамам он тогда бросит целовать. Хватит с них! Тоже, проклятые, завели Трианон... Иная лахудра, бабище, облезлая кошка, сует к губам лапу, а он, по старой памяти — чмок! Довольно. Собачьей молодости надо положить конец. Ведь обещал же Артур Яковлевич Гофман устроить его драгоманом хотя бы в Грецию. А там видно будет. Он сошьет себе новую визитку, он объяснится с ротмистром Кржижановским, он ему покажет.

Вот только одна беда — родословной у него нету. И взять ее неоткуда — нету, и всё тут! Всех-то родственников у него одна тетка — тетьа Иоганна. Карлица. Императрица Анна Леопольдовна. По-русски говорит как чёрт. Словно Бирон ей сват и брат. Ручки коротенькие. Ничего застегнуть сама не может. А при ней горничная Аннушка — Психея.

Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это нету родословной, позвольте — как это нету? Есть. А капитан Голядкин? А коллежские ассессоры, которым «мог господь прибавить ума и денег»? Все эти люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подьяческой в домах, сложенных из черствых плиток каменного шокола-

да, и бормочут себе под нос: «Как же это? без гроша, с высшим образованием?»

Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха, и тогда обнажится его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачьим гагаринским пухом — под тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под зеркальными зенками барско-холуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное.

Но перо, снимающее эту пленку, — как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом. Лучше к нему не прикасаться.

Комарик звенел:

— Глядите, что случилось со мной: я последний египтянин — я плакальщик, пестун, пластун — я маленький князь-раскоряка — я нищий Рамзес-кровопийца — я на севере стал ничем — от меня так мало осталось — извиняюсь!..

— Я князь невезенья — коллежский асессор из города Фив... Все такой же — ничуть не изменился — ой, страшно мне здесь — извиняюсь...

— Я — безделица. Я — ничего. Вот попрошу у холерных гранитов на копейку египетской кашки, на копейку — девической шейки.

— Я ничего — заплачу — извиняюсь.

Чтоб успокоиться, он обратился к одному неписаному словарику, вернее — реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений:

«Подкова» — так называлась булочка с маком.

«Фрамуга» — так мать называла большую откидную форточку, которая захлопывалась, как крышка рояля.

«Не коверкай» — так говорили о жизни.

«Не командуй» — так гласила одна из заповедей.

Этих словечек хватит на заварку. Он принюхивался к их щепотке. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев.

По снежному полю ехали кареты. Над полем свесилось низкое суконно-полицейское небо, скупно отмеривая желтый и почему-то позорный свет.

Меня прикрепили к чужой семье и карете. Молодой еврей пересчитывал новенькие, с зимним хрустом, сотенные бумажки.

— Куда мы едем? — спросил я старуху в цыганской шали.

— В город Малинов, — ответила она с такой щемящей тоской, что сердце мое сжалось нехорошим предчувствием.

Старуха, роясь в полосатом узле, вынимала столовое серебро, полотно, бархатные туфли.

Обшарпанные свадебные кареты ползли все дальше, вихляя, как контрабасы.

Ехал дровяник Абраша Копелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, равнины и фотографа. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы, ерзал петух, предназначенный резнику.

— Поглядите, — воскликнул кто-то, высовываясь в окно, — вот и Малинов.

Но города не было. Зато прямо на снегу росла крупная бородавчатая малина.

— Да это малинник! — захлебнулся я вне себя от радости и побежал с другими, набирая снега в туфлю. Башмак развязался, и от этого мною овладело ощущение великой вины и беспорядка.

И меня ввели в постылую варшавскую комнату и заставили пить воду и есть лук.

Я то и дело нагибался, чтоб завязать башмак двойным бантом и все уладить, как полагается, — но бесполезно. Нельзя было ничего навестать и ничего исправить: все шло обратно, как всегда бывает во сне. Я разметал чужие перины и выбежал в Таврический сад, захватив любимую детскую игрушку — пустой подсвечник, богато оплывший стеарином, — и снял с него белую корку, нежную, как подвенечная фата.

Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда.

Розовоперстая Аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как птенчики с пустыми разинутыми клювами. Между тем во всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда.

Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар; когда все они радостно возбуждены и больны: рогатки на улице, шелушенья афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умное стадо без жоака, рожденное для сонатных беспамятств и кипяченой воды...

Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры, по заразному ла-

биринту, обвешанный придаточными предложениями, как веселыми случайными покупками... и летят в подставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные, как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем как российская лира из безгласного теста.

Ведь Невский в семнадцатом году — это казачья сотня в заломленных синих фуражках, с лицами, повернутыми посолонь, как одинаковые косые полтинники.

Можно сказать и зажмурив глаза, что это поют конники.

Песня качается в седлах, как большущие даровые мешки с золотой фольгой хмеля.

Она свободный приварок к мелкому топоту, теньканью и поту.

Она плывет в уровень с зеркальными окнами бельэтажей на слепеньких мохнатых башкирках, словно сама сотня плывет на диафрагме, доверяя ей больше, чем подругам и шенкелям.

Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку, от скуки, от неумения и как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят увертюру к «Леноре» или к «Эгмонту» Бетховена.

Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому! Это все равно что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды.

Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка. Митенка. Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: «с ним мне не страшно!» Математики должны были построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства: они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками.

На побегушках у моего сознания два-три словечка: «и вот», «уже», «вдруг»; они мотаются полусвященным севастопольским поездом из вагона в вагон, задержива-



ясь на буферных площадках, где наскაკивают друг на друга и расползаются две гремящих сковороды.

Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанью французского мужичка из «Анны Карениной». Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предложениями, которым место на столе судебных улик, развязана от всякой заботы о красоте и округленности.

Да, там, где обливаются горячим маслом мясистые рычаги паровозов, — там дышит она, голубушка проза, — вся пущенная в длину — обмеривающая, бесстыдная, наматывающая на свой живоглотский аршин все шестьсот девять николаевских верст, с графинчиками запотевшей водки.

В девять тридцать вечера на московский ускоренный собрался бывший ротмистр Кржижановский. Он уложил в чемодан визитку Парнока и лучшие его рубашки. Визитка, поджав лапы, улеглась в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись, — шаловливым шевиотовым дельфином, которому они сродни покровом и молодой душой.

Ротмистр Кржижановский выходил пить водку в Любани и в Бологом, приговаривая при этом: «суаре-муаре-пуаре» или невесть какой офицерский вздор. Он попробовал даже побриться в вагоне, но это ему не удалось.

В Клину он отведал железнодорожного кофия, который готовится по рецепту, неизменному со времен Анны Карениной, из цикория с легкой прибавкой кладбищенской земли или другой какой-то гадости в этом роде.

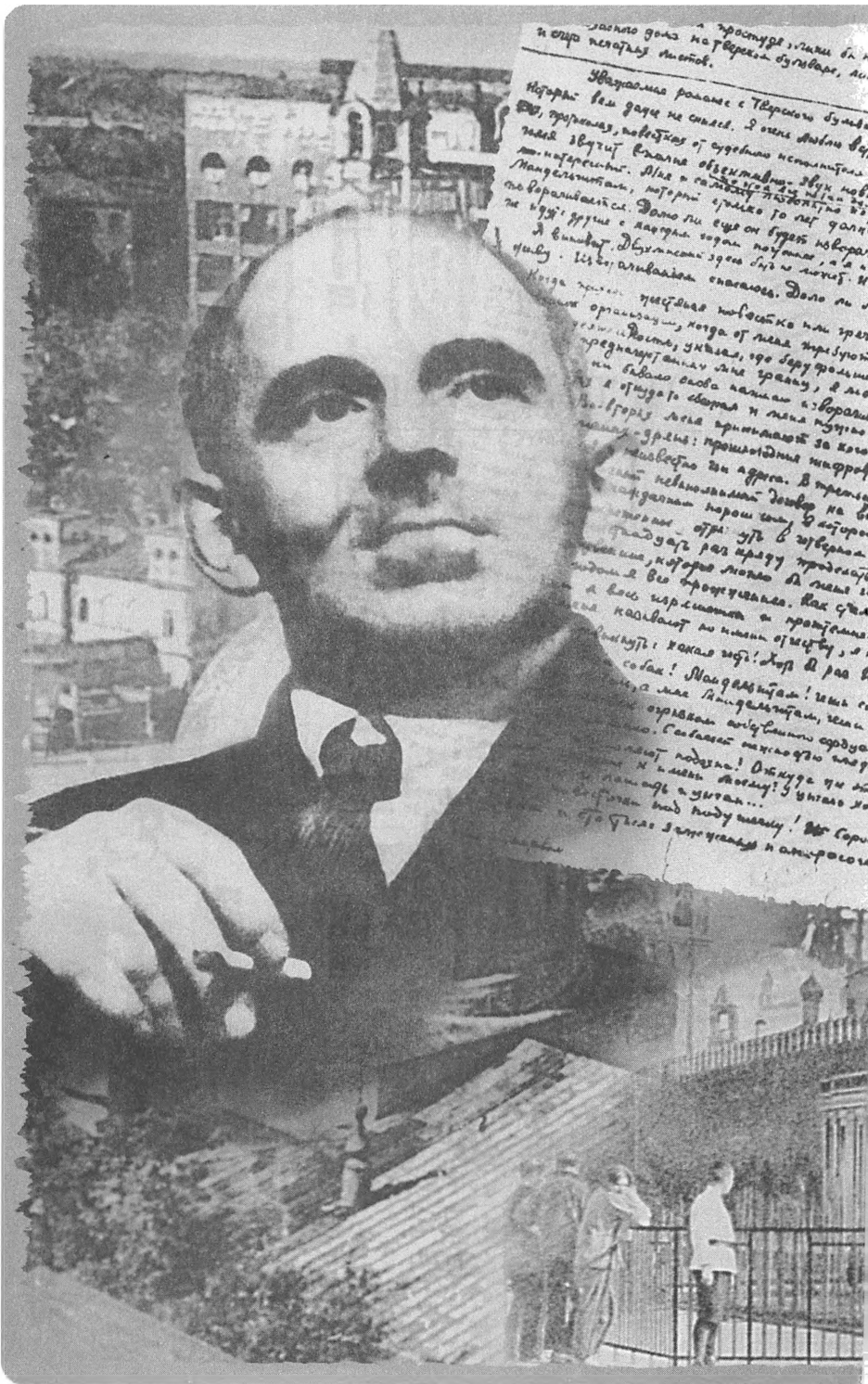
В Москве он остановился в гостинице «Селект» — очень хорошая гостиница на Малой Лубянке, — в номере, переделанном из магазинного помещения, с шикарной стеклянной витриной вместо окна, невероятно нагретой солнцем.

*литературные*

*мемуары*

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА

---



расило дома на переулках Бугибаре, а  
и скоро поехали в лес.

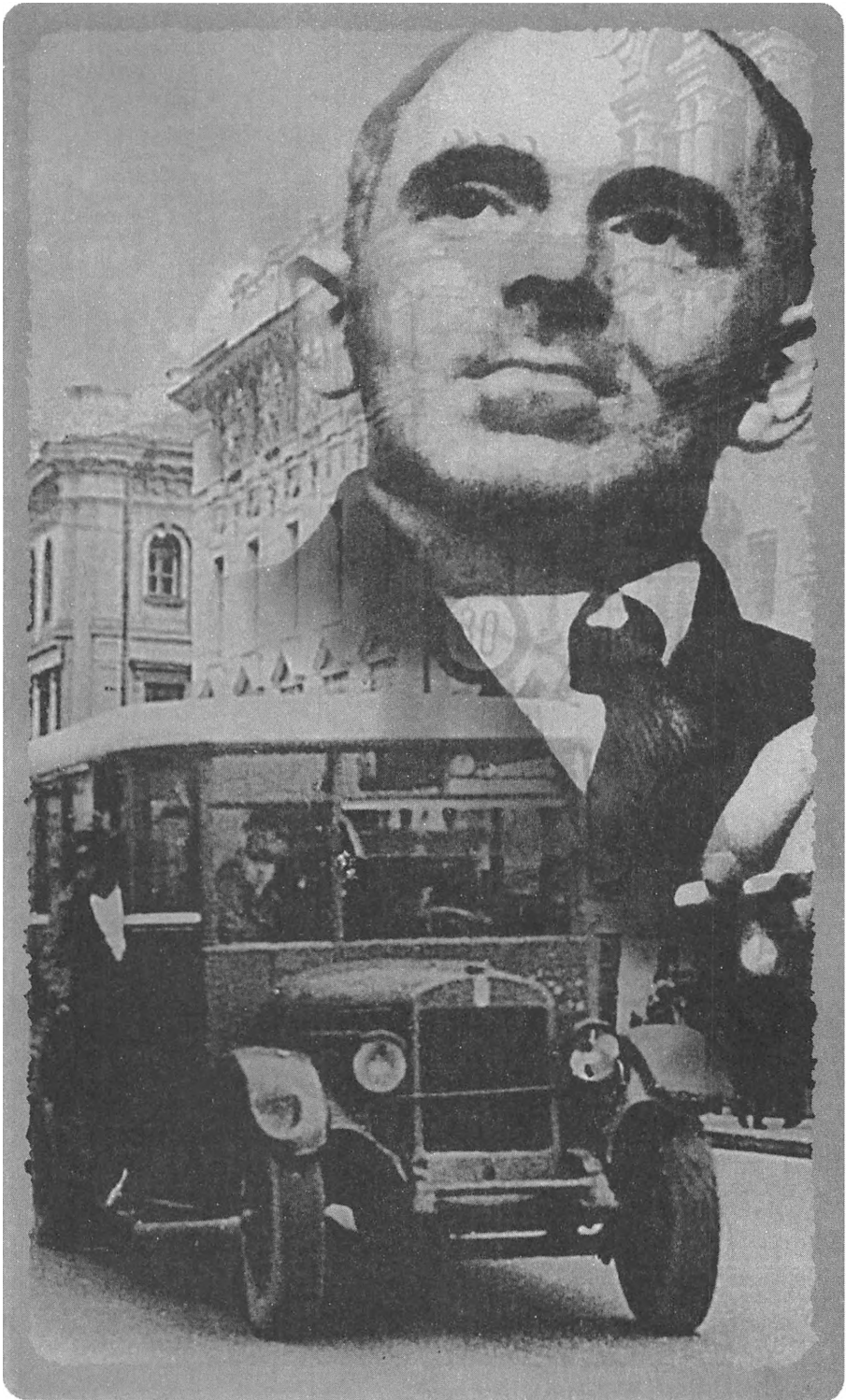
Надвинулся роман с Творчеством Бунин  
который все дажи не смел. Я очень любил Бун  
его, прочел, повествов от своего лица. И  
тот звук! Стална объективно-звук и  
то. И вот так. А в самом деле. И  
Мандельштам, который, правда, то  
не верали бы. Дело ли еще он  
не верали бы. Дело ли еще он  
и вышло. И вышло. И вышло. И вышло.  
И вышло. И вышло. И вышло. И вышло.

Когда пришла эта организация, тогда от  
организации, тогда от меня перебрали  
предназначили, где буду работать  
и было себе ладно, а мо  
и я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.  
И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.

И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.  
И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.  
И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.  
И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.

И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.  
И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.  
И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.  
И я отпустил. И я отпустил. И я отпустил.





## 1

---

Веньямин Федорович Каган подошел к этому делу с мудрой расчетливостью вифлеемского волхва и одесского Ньютона-математика. Вся заговорщицкая деятельность Веньямина Федоровича покоилась на основе бесконечно-малых. Закон спасения Веньямин Федорович видел в черепашьих темпах.

Он позволял вытряхивать себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом задерживал опасное развитие болезни.

Наличность профессора, да еще математика, в невероятном деле спасения пятерых жизней путем умопостигаемых, совершенно невесомых интегральных ходов, именуемых хлопотами, вызывала всеобщее удовлетворение.

Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, как будто болезнь заразительна, прилипчива, вроде скарлатины, так что и его — Исаю Бенедиктовича — могут, чего доброго, расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции.

Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился по Москве наобум, без всякого плану, воображая, что таков ритуал.

Исай Бенедиктович твердил и все время помнил, что в Петербурге у него осталась жена. Он даже завел себе вроде секретарши — маленькую, строгую и очень толковую спутницу-родственницу, которая уже нянчилась с ним — Исаем Бенедиктовичем.

Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Все родственники Исаия Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербургские буржуа, происходящие от раввинов патрицианской крови и прикоснувшиеся через переводчика Исаия к Анатолию Франсу, паломничали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курорты, подготавливая себя лечением к переходу в потусторонний мир.

В Петербурге Исаия Бенедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных, как гренки в бульоне, и ходил, сообразно профессии, к двум скупщикам переводного барахла.

Исаия Бенедиктович был хорош только в начале хлопот, когда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога. Потом он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники вскладчину отправили его обратно в Петербург.

Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность — это, конечно, то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, по которой взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми.

Буржуа, конечно, невиннее пролетария, ближе к утробному миру, ближе к младенцу, котенку, ангелу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо влияет на пищеварение подлинных революционеров. Надо сохранить буржуазию в ее невинном облике, надо занять ее самодеятельными играми, баюкать на пульмановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного сна.

---

## 2

Мальчик, в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, напомаженный, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка из двора. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов насаждает на барчука:

— Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит, — и старые девы — гнусные жабы — подталкивают барчука и придерживают паршивого кучеренка:

— Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем.

Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?

Нет. Это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем...

— Вдарь, Васенька, вдарь!

---

### 3

---

Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинной, как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех.

Кто эта безмужница? — Легкая кавалерия.

Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину, зашифровывая в животно-грусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса. Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята играючи нажимают, на большой переменке масло жмут. Эй, навались, жми, да так, чтоб не видно было того самого, кого жмут, — таково священное правило самосуада.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!

Мужик припрятал в амбаре рожь — убей его!

К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у ней укороченная, и грубый башмак протеза напоминает деревянное копыто.

Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых.

У Филиппа Филиппыча разболелись зубы. Филипп Филиппыч сватается. Филипп Филиппыч не пришел и не



придет в класс. Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает.

Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихача-хозяйственника Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтОВО-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле.

Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жида с лягушкой венчают, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта, мечущего театральную икру, — с парным для него из той же бани нечистым — московским редактором-гробовщиком, изготавливающим газетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном газетным шелестит. Он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия: январю, февралю и марту. Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи.

#### 4

---

Я поступил на службу в «Московский комсомолец» прямо из караван-сарая Цекубу. Там было двенадцать пар наушников, почти все испорченные, и читальный зал, переделанный из церкви, без книг, где спали улитками на круглых диванчиках.

Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзинки и за то, что я не профессор.

Днем и ночью я ходил смотреть на разводок и твердо верил, что матерные воды Москвы-реки зальют ученую Кропоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку.

По утрам я пил стерилизованные сливки, прямо на улице, из горлышка бутылки.

Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умывался по ночам и ни разу не был пойман.

Туда приезжали люди из Харькова и из Воронежа, и все хотели ехать в Алма-Ату. Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее.

Многие получали телеграммы из разных мест Союза. Один византийский старичок ехал к сыну в Ковно.

Ночью Цекубу запирали, как крепость, и я стучал палкой в окно.

Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу как все, и никто меня не трогал, пока я сам оттуда не съехал в середине лета.

Когда я переезжал на новую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или выпущенных из тюрьмы.

---

## 5

---

Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

И до самой кости ранено  
Все ущелье стоном сокола, —

вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

Этим писателям я бы запретил вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед.

Вот эта литературная страничка.

## 6

У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!

Зато карандашей у меня много — и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой жиллет.

Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косячком краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва жиллет режет, как трава осока, гнется, а не ломается в руке — не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного чёрта с просверленной дырочкой в середине. Пластиночка бритвы жиллет — изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков.

## 7

Я китаец — никто меня не понимает. Халды-балды! Поедем в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами как яичница, где ходит сарт с бараньими глазами.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Был у меня покровитель — нарком Мравьян-Муравьян — муравьиный нарком из страны армянской, этой младшей сестры земли иудейской.

Он прислал мне телеграмму.

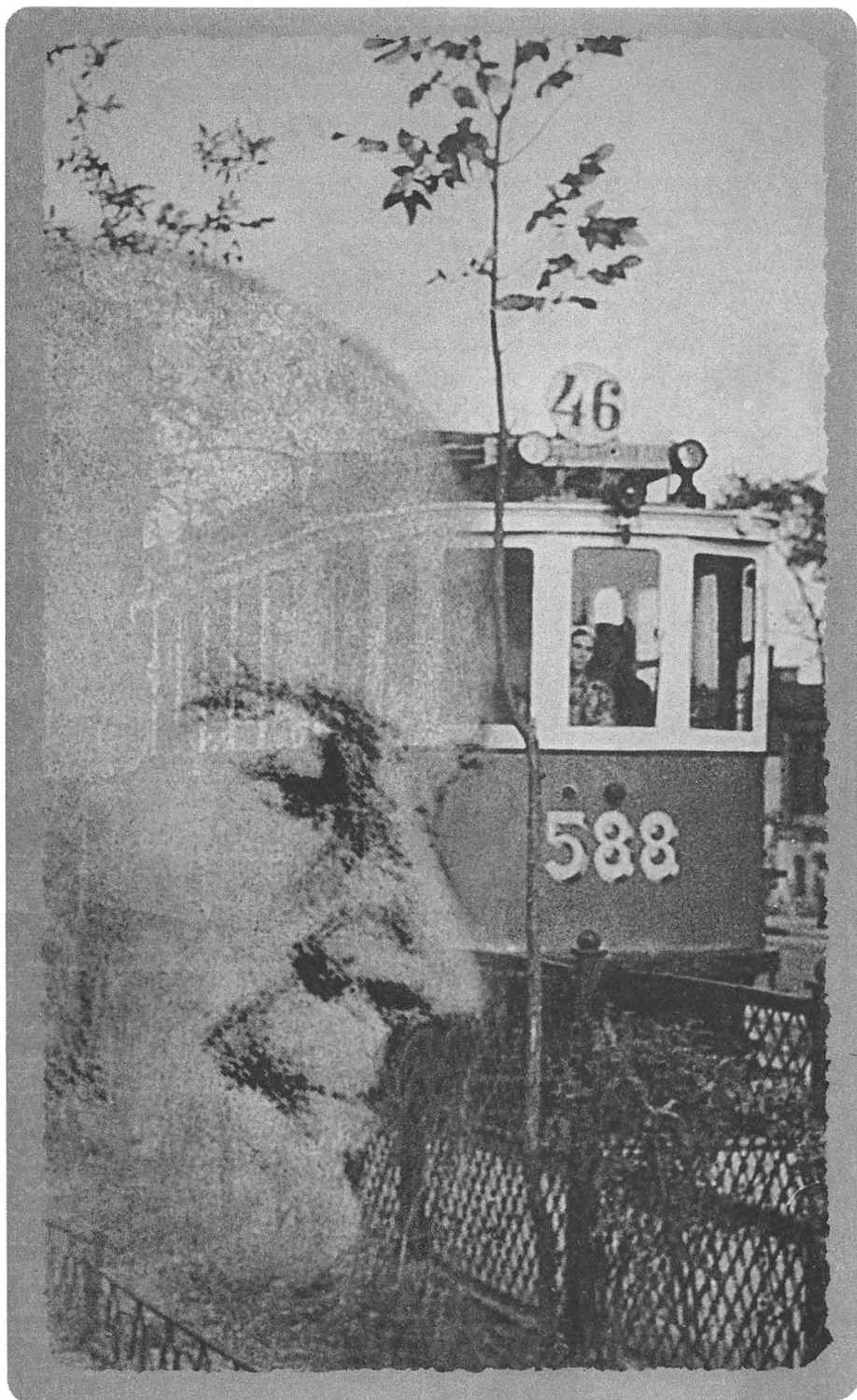
Умер мой покровитель — нарком Мравьян-Муравьян. В муравейнике эриванском не стало черного наркома.

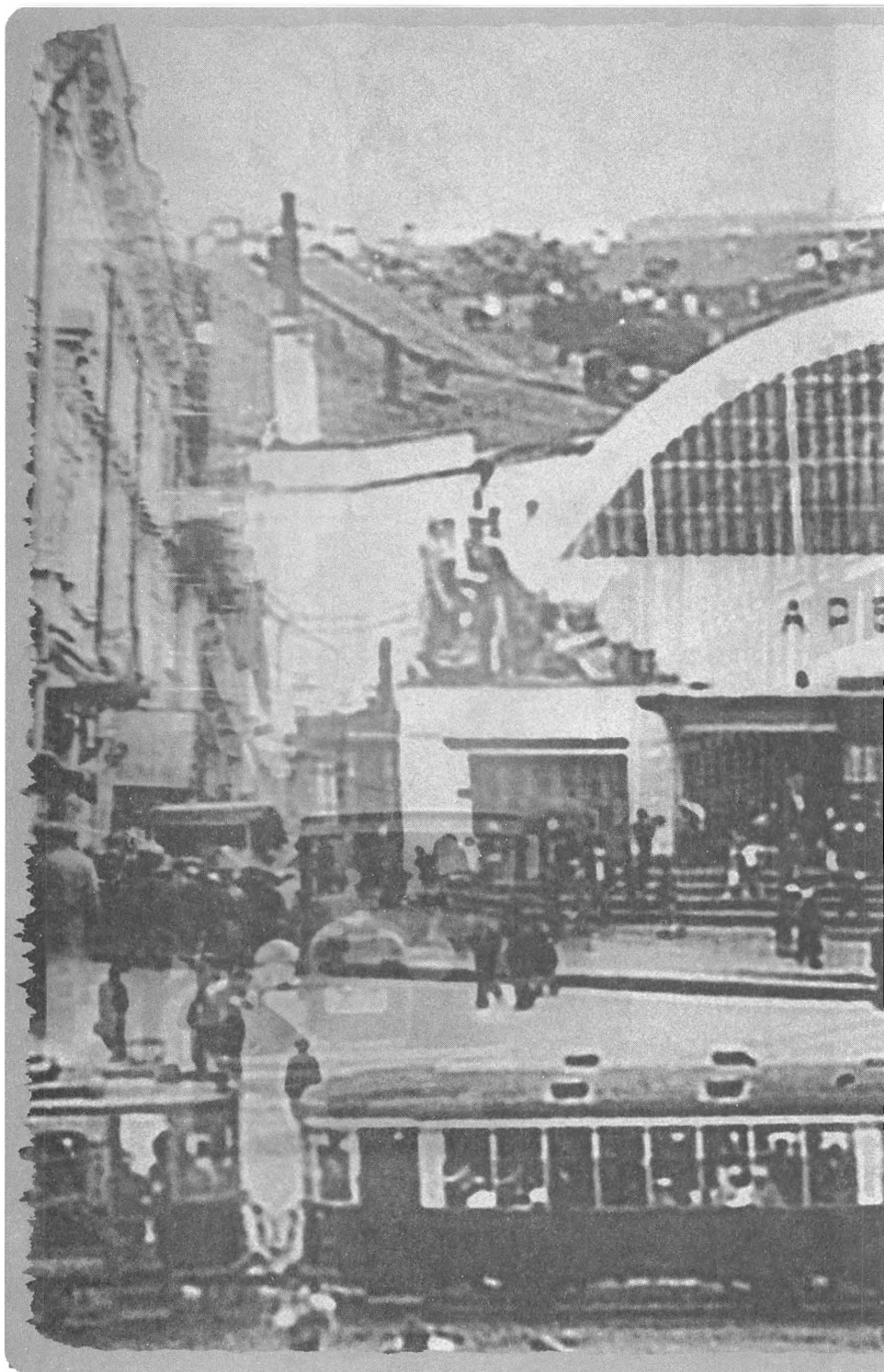
Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни.

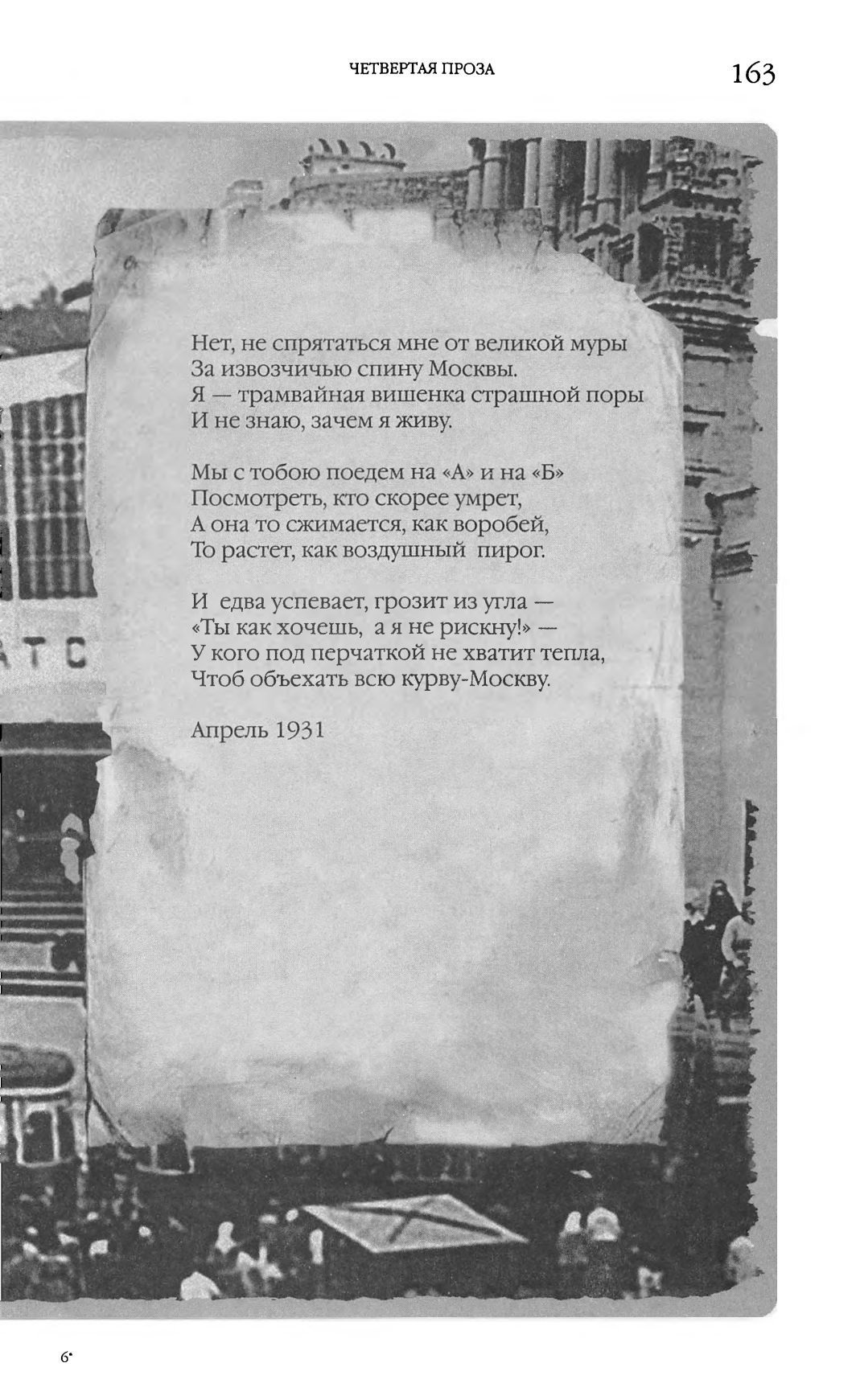
Халды-балды! Поедем в Азербайджан.

У меня было письмо к наркому Мравьяну. Я понес его к секретарям в армянский особняк на самой чистой, по-польской улице Москвы.

Я чуть не поехал в Эривань, с командировкой от древнего Наркомпроса, читать круглоголовым и застенчивым юношам в бедном монастыре-университете страшный курс-семинарий.







Нет, не спрятаться мне от великой муры  
За извозчичью спину Москвы.  
Я — трамвайная вишенка страшной поры  
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедem на «А» и на «Б»  
Посмотреть, кто скорее умрет,  
А она то сжимается, как воробей,  
То растет, как воздушный пирог.

И едва успеваeт, грозит из угла —  
«Ты как хочeшь, а я не рискну!» —  
У кого под перчаткой не хватит тепла,  
Чтоб объехать всю курву-Москву.

Апрель 1931





Если б я поехал в Эривань, три дня и две ночи я бы сходил на станции в большие буфеты и ел бутерброды с красной икрой.

Халды-балды!

Я бы читал в дороге самую лучшую книжку Зоценки, и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой.

---

## 8

---

Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого как наваждение рассыпется рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих: он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...не расстреливал несчастных по темницам.

Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя — смертельного врага литературы.

В Доме Герцена один молочный вегетарианец-филолог с головенкой китайца — этакий ходя — хао-хао, шанго-шанго — когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, — сторожит в специальном музее веревку удушенника Сережи Есенина.

А я говорю — к китайцам Благого — в Шанхай его, к китаезам! Там ему место! Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала — вся терпимость...

---

## 9

---

К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Моня с Бассейной, про-



поведующий нравственность и государственность, выполнил социальный заказ совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как несварение желудка.

Погибнуть от Горнфельда так же глупо, как от велосипеда или от клюва попугая. Но литературный убийца может быть и попугаем. Меня, например, чуть не убил попка имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я очень рад, что мой убийца жив и что он в некотором роде меня пережил. Я кормлю его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твердит из «Уленшпигеля»: «Пепел стучит в мое сердце», перемежая эту фразу с другой, не менее красивой: «Нет на свете мук сильнее муки слова». Человек, способный назвать свою книгу «Муки слова», рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу.

Я только однажды встретился с Горнфельдом в грязной редакции какого-то безыдейного журнальчика, где толпились, как в буфете Квисисана, какие-то прозрачные фигуры. Тогда еще не было идеологии и некому было жаловаться, если тебя кто обидит. Когда я вспоминаю то сиротство — как мы могли тогда жить! — крупные слезы наворачиваются на глаза. Кто-то познакомил меня с двуногим критиком, и я пожал ему руку.

Дяденька Горнфельд, зачем ты пошел жаловаться в «Биржовку», то есть в «Красную вечернюю газету», в двадцать девятом советском году? Ты бы лучше поплакал господину Пропперу в чистый еврейский литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишиасом, кугелем и талесом...

---

## 10

Есть одна секретарша — правда-правдочка, совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает, как очень неопытная молодая мать к больному ребенку.

Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.

Вот эта бялячка — настоящая правда с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она та другая правда, та жестокая партийная девственница — Правда-Партия.

Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверьи к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!

Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти, охраняя носителя власти, как тяжелобольного.

---

## 11

---

Нет, уж позвольте мне судиться! Уж разрешите мне занести в протокол!.. Дайте мне, так сказать, приобщить себя к делу. Не отнимайте у меня, убедительно вас прошу, моего процесса! Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами в пелеринах и предводительствуемые козлом регентом, в буйном восторге выводя, как плясовую, «Вечную память», вынесут полицейский гроб с останками моего дела из продымленной залы окружного суда.

Папа, папа, папочка,  
Где же твоя мамочка?  
Черная оспа  
Пошла от Фоспа.  
Твоя мама окривела,  
Мертвой ниткой шьется дело.

Александр Иванович Герцен! Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы, как хозяин, в некотором роде отвечаете...

Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность...

Александр Иванович! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться...

---

## 12

---

На таком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душев-

ными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намеренье совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу — литературное обрезание или обезжизнение, которое совершается согласно обычаям и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин.

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немых романес и столько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно силясь меня научить своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству — краже.

Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям вершить расправу над обреченными.

Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если хозяин его француз, но, проданный в Персию, скажет по-персидски — «попка-дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи.

---

Было два брата Шенье: презренный младший весь принадлежит литературе; казненный старший — сам ее казнил.

Тюремщики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе.

На таком-то году моей жизни бородатые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной. И все было страшно, как в младенческом сне.

Nel mezzo del cammin di nostra vita — на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет.

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе — она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне.

---

## 14

Я несу моральную ответственность за то, что издательство Зиф не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Карякиным. Я — скорняк драгоценных мехов, я — едва не задохнувшийся от литературной пушнины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца — Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа навстречу плевриту — смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебрянников и счета печатных листов.

---

## 15

Уважаемые романес с Тверского бульвара! Мы с вами вместе написали роман, который вам даже не снился. Я очень люблю встречать свое имя в официальных бумагах, протоколах, повестках от судебного исполни-

теля и прочих жестких документах. Здесь имя звучит вполне объективно — звук новый для слуха и, надо сказать, весьма интересный. Мне и самому любопытно подчас, что это я все не так делаю: что это за фрукт такой, этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается? Долго ли еще он будет изворачиваться? Оттого-то мне и годы впрок не идут: другие с каждым годом почтеннее, а я наоборот: обратное течение времени.

Я виноват, двух мнений здесь быть не может. Из виноватости не вылезая. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Когда приходит жестяная повестка или греческое в своей простоте напоминание от общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги, и дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас как ни в чем не бывало снова начинаю изворачиваться — и так без конца.

Во-первых, я откуда-то сбежал и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету силы. В карманах — дрянь: прошлогодние шифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса. В-третьих, я подписал с Вельзевулом или Гизом грандиозный невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанный горчицей с перцем, наждачным порошком, в котором обязался вернуть в двойном размере все приобретенное, отрыгнуть в четверном размере все незаконно присвоенное и шестнадцать раз кряду проделать то невозможное, то немислимое, то единственное, которое могло бы меня частично оправдать.

С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проشتهмпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю. Никак не могу привыкнуть: какая честь! Хоть бы раз Иван Моисеич в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак... Французику — шер мэтр, дорогой учитель, а мне — Мандельштам, чеши собак. Каждому свое.

Я — стареющий человек — огрызком собственного сердца чешу господских собак, и все им мало, все им ма-

ло. С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? У цыгана хоть лошадь была — я же в одной персоне и лошадь, и цыган...

Жестяные повесточки под подушечку! Сорок шестой договорчик вместо венчика и сто тысяч зажженных папиросочек заместо свечечек...

---

## 16

---

Сколько бы я ни трудился, если б я носил на спине лошадей, если б я крутил мельничьи жернова, — все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками.

Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется.

Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы.

А ведь мне, братишки, труд впрок не идет. Он мне в стаж не зачитывается.

У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зоценки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зоценки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!

Ночью на Ильинке, когда ГУМы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке ходят анекдоты. Л. и Т. ходят в обнимку как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое — один вопрошающий, другой отвечающий, и один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит, и никак им не разойтись.

Ходит немец-шарманщик с шубертовским лееркасте-ном — такой неудачник, такой шаромыжник...

Спи, моя милая... Эм-эс-пэ-о...

Вий читает телефонную книгу на Красной площади.  
Поднимите мне веки. Дайте Цека...

Ходят армяне из города Эривани с зелеными краше-  
ными селедками. Ich bin arm — я беден.

А в Армавире на городском гербе написано: собака  
лает — ветер носит.

*1930*

*мемуары*

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ

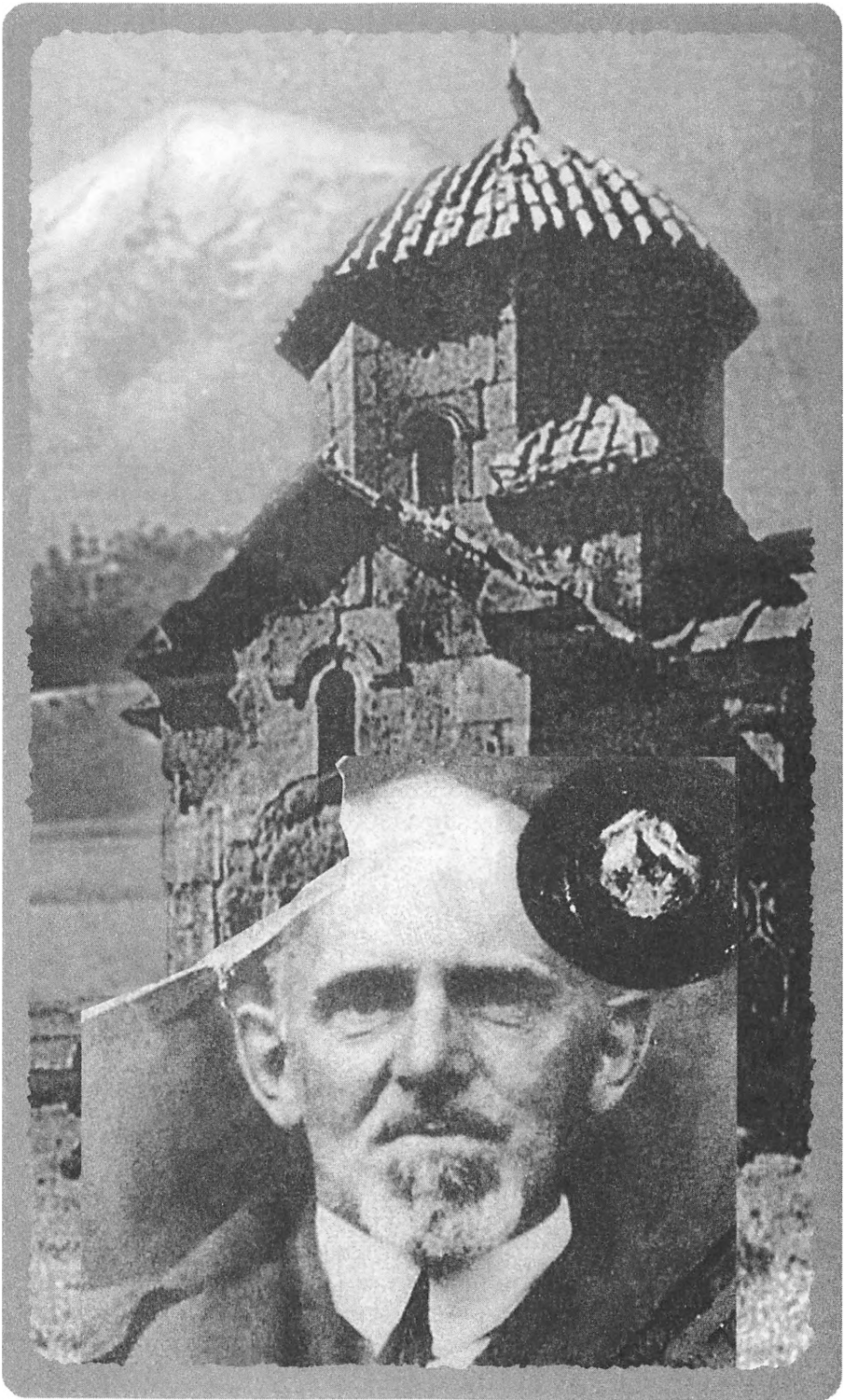
---

*литературные*









На острове Севане, который отличается двумя достойнейшими архитектурными памятниками VII века, а также землянками недавно вымерших отшельников, густо заросшими крапивой и чертополохом и не более страшными, чем запущенные дачные погреба, я прожил месяц, наслаждаясь стоянием озерной воды на высоте четырех тысяч футов и приучая себя к созерцанию двух-трех десятков гробниц, разбросанных на манер цветника посреди омоложенных ремонтом монастырских общежитий.

Ежедневно, ровно в пятом часу, озеро, изобилующее форелями, закипало, словно в него была подброшена большая щепотка соды. Это был в полном смысле слова месмерический сеанс изменения погоды, как будто медиум напускал на дотоле спокойную известковую воду сначала дурашливую зыбь, потом птичье кипение и наконец буйную ладожскую дурь.

Тогда нельзя было отказать себе в удовольствии отметить триста шагов по узкой тропине пляжа насупротив мрачного гюнейского берега.

Здесь Гокча образует пролив раз в пять шире Невы. Великолепный пресный ветер со свистом врывается в легкие. Скорость движения облаков увеличивалась ежеминутно, и прибой-первопечатник спешил издать за полчаса вручную жирную гуттенберговскую Библию под тяжко насупленным небом.

Не менее семидесяти процентов населения острова составляли дети. Они, как зверьки, лазили по гробницам монахов, то бомбардировали мирную корягу, приняв ее студеные судороги на дне за корчи морского змея, то приносили из влажных трущоб буржуазных жаб

и ужей с ювелирными женскими головками, то гоняли взад и вперед обезумевшего барана, который никак не мог понять, кому мешает его бедное тело, и тряс нагулянным на привольи курдюком.

Рослые степные травы на подветренном горбу севанского острова были так сильны, сочны и самоуверенны, что их хотелось расчесать железным гребнем.

Весь остров по-гомеровски усеян желтыми костями — остатками богомольных пикников окрестного люда.

Кроме того, он буквально вымощен огненно-рыжими плитами безымянных могил — торчащими, расшатанными и крошащимися.

В самом начале моего пребывания пришло известие, что каменщики на длинной и унылой косе Самапакерта, роя яму под фундамент для маяка, наткнулись на кувшинное погребение древнейшего народа Урарту. Я уже видел раньше в эриванском музее скрюченный в сидячем положении скелет, помещенный в большую гончарную амфору, с дырочкой в черепе, просверленной для злого духа.

Рано утром я был разбужен стрекотанием мотора. Звук топтался на месте. Двое механиков разогревали крошечное сердце припадочного двигателя, поливая его мазутом. Но, едва налаживаясь, скороговорка — что-то вроде «не пито — не едено, не пито — не едено» — угасала и таяла на воде.

Профессор Хачатурьян, с лицом, обтянутым орлиной кожей, под которой все мускулы и связки выступали перенумерованные и с латинскими названиями, — уже прохаживался по пристани в длинном черном сюртуке османского покроя. Не только археолог, но и педагог по призванию, большую часть своей деятельности он провел директором средней школы — армянской гимназии в Карсе. Приглашенный на кафедру в советскую Эривань, он перенес сюда и свою преданность индоевропейской теории, и глухую вражду к яфетическим выдумкам Марра, а также поразительное незнание русского языка и России, где никогда не бывал.

Разговорившись кой-как по-немецки, мы сели в баркас с тов. Кариньяном — бывшим председателем армянского ЦИКа.

Этот самолюбивый и полнокровный человек, обреченный на бездействие, курение папирос и столь невестелую трату времени, как чтение напостовской литературы, с видимым трудом отвыкал от своих официальных

обязанностей, и скука отпечатала жирные поцелуи на его румяных щеках.

Мотор бормотал «не пито — не едено», словно рапорта т. Кариньяну. Островок быстро отбежал назад, выпрямив свою медвежью спину с осьмигранниками монастырей. Баркас провожала мошкара, и мы плыли в ней, как в кисее, по утреннему кисельному озеру.

В яме нами были действительно обнаружены и глиняные черепки, и человеческие кости, но кроме того был найден черенок ножа с клеймом старинной русской фабрики N.N.

Впрочем, я с уважением завернул в свой носовой платок пористую известковую корочку от чьей-то черепной коробки.

Жизнь на всяком острове — будь то Мальга, Святая Елена или Мадейра — протекает в благородном ожидании. Это имеет свою прелесть и неудобство. Во всяком случае, все постоянно заняты, чуточку спадают с голоса и немного внимательнее друг к другу, чем на большой земле с ее широкопалыми дорогами и отрицательной свободой.

Ушная раковина истончается и получает новый завиток.

На Севане подобралась, на мое счастье, целая галерея умных и породистых стариков — почтенный краевед и друг армянского лесонасаждения Ив. Як. Сагательян, уже упомянутый археолог Хачатурьян, наконец, жизне-радостный химик Гамбаров.

Я предпочитал их спокойное общество и густые кофейные речи плоским разговорам молодежи, которые, как и всюду в мире, вращались вокруг экзаменов и физкультуры.

Химик Гамбаров говорит по-армянски с московским акцентом. Он весело и охотно обрусел. У него молодая седина и сухое поджарое тело. Физически он приятнейший человек и прекрасный товарищ в играх.

Весь он помазан каким-то военным елеем, словно только что вернулся от заутрени из полковой церкви, что, впрочем, ничего не доказывает и бывает иной раз с превосходными советскими людьми.

С женщинами — он рыцарственный Мазепа, одними губами ласкающий Марию, в мужской компании — враг колкостей и самолюбий, а если врежется в спор, то горячится, как фехтовальщик из франкской земли.

Горный воздух его молодил, он засучивал рукава и кидался к рыбацкой сетке волейбола, сухо работая маленькой ладонью.

Что сказать о севанском климате?

— Золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца.

Стеклопалочка дачного градусника бережно передавалась из рук в руки. Доктор Герцберг откровенно скучал на острове армянских матерей. Он казался мне бледной тенью ибсеновской проблемы или актером МХАТа на даче.

Дети показывали ему свои узкие язычки, высовывая их на секунду ломтиками медвежьего мяса...

Да под конец к нам пожаловал ящур, занесенный в бидонах молока с дальнего берега Зайналу, где отмалчивались в угрюмых русских избах какие-то экс-хлысты, давно переставшие радеть.

Впрочем, за грехи взрослых ящур поразил одних безбожных севанских ребят.

Один за другим жестковолосые драчливые дети никли в спелом жару на руки женщин, на подушки.

Однажды, соревнуясь с комсомольцем Х., Гамбаров затеял обогнуть вплавь всю тушу севанского острова. Шестидесятилетнее сердце не выдержало. Сам обессиленный, Х. вынужден был покинуть товарища, вернулся к старту и полуживой выбросился на гальку. Свидетелями несчастья были вулканические стены островного кремля, исключаяющие всякую мысль о причале...

То-то поднялась тревога. Шлюпки на Севане не оказались, хотя ордер на нее был уже выписан.

Люди заметались по острову, гордые сознанием неправимого несчастья. Непрочитанная газета загремела жестью в руках. Остров затошнило, как беременную женщину. Все погрузилось в карболовый раствор катастрофы.

У нас не было ни телефона, ни голубиной почты для сообщения с берегом. Баркас отошел в Еленовку часа два назад, и — как ни напрягай уха — не слышно было даже стрекотанья на воде.

Когда экспедиция во главе с т. Кариньяном, имея с собой одеяла, бутылку коньяку и все прочее, привезла оконченовшего, но улыбающегося Гамбарова, подобранного на камне, его встретили аплодисментами. Это были самые прекрасные рукоплескания, какие мне пришлось

слышать в жизни: человека приветствовали за то, что он еще не труп...

На рыбной пристани Норадуза, куда нас возили на экскурсию, обошедшуюся, к счастью, без хорового пенья, меня поразил струг совершенно готовой барки, вздернутый в сыром виде на дыбу верфи. Размерами он был с доброго троянского коня, а свежими музыкальными пропорциями напоминал коробку бандуры.

Кругом курчавились стружки. Землю разъедала соль, а чешуйки рыбы подмигивали пластиночками кварца.

В кооперативной столовой, такой же бревенчатой и — мин-херц-петровской, как и всё в Норадузе, кормили вповалку густыми артельными щами из баранины.

Рабочие заметили, что у нас нет с собой вина, и, как подобает настоящим хозяевам, наполнили наши стаканы.

Я выпил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинного камня, за ее белозубых наркомов, за конский пот и топот очередей и за ее могучий язык, на котором мы не достойны говорить, а должны лишь чураться в нашей немощи.

Вода по-армянски — джур.

Деревня — гьур.

Никогда не забуду Арнольди. Он припадал на ортопедическую клешню, но так мужественно, что все завидовали его походке.

Ученое начальство озера проживало на шоссе в молканской Еленовке, где в полумраке научного исполкома голубели заспиртованные жандармские морды великанских форелей.

Уж эти гости!

Их приносила на Севан с Еленовки быстрая, как телеграмма, американская яхта, ланцетом взрезавшая воду, — и Арнольди ступал на берег — грозой от науки, Тамерланом добродушия.

У меня содалось впечатление, что на Севане жил кузнец, который его подковывал, и для того-то, чтоб с ним покумекать, он и высаживался на остров.

Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься. Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их не-



изъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей, — все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь. Не оттого ли, что я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью и, однако, живущего не по вокзальным и не по учрежденческим, а по солнечным часам, какие я видел на развалинах Зварднотза в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень?

Чужелюбие вообще не входит в число наших добродетелей. Народы СССР сожительствуют, как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока крошится мел.

Институт народов Востока помещается на Берсеневской набережной, рядом с пирамидальным Домом Правительства. Чуть подальше промышлял перевозчик, взимая три копейки за переправу и окуная по самые уключины в воду перегруженную свою ладью.

Воздух на набережной Москвы-реки тягучий и мучнистый.

Ко мне вышел скучающий молодой армянин. Среди яфетических книг с колючими шрифтами существовала также, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица.

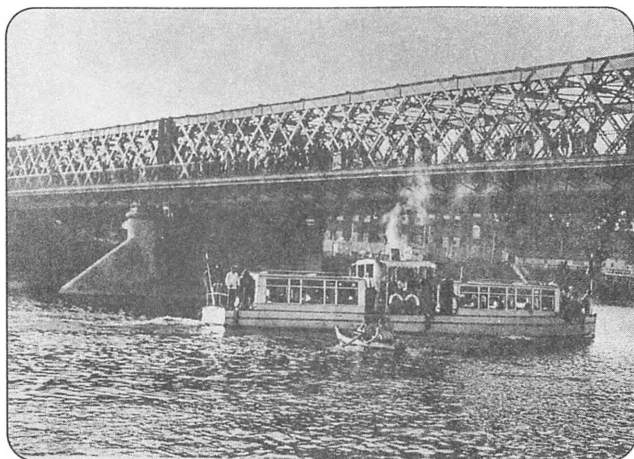
Мой любительский приход никого не порадовал. Просьба о помощи в изучении древнеармянского языка не тронула сердца этих людей, из которых женщина к тому же и не владела ключом познания...

В результате неправильной субъективной установки я привык смотреть на каждого армянина как на филолога... Впрочем, отчасти это и верно. Вот люди, которые гремят ключами языка даже тогда, когда не отпирают никаких сокровищ.

Разговор с молодым аспирантом из Тифлиса не клеился и принял под конец дипломатически-сдержанный характер.

Были названы имена высокочтимых армянских писателей, был упомянут академик Марр, только что промчавшийся через Москву из Удмуртской или Вогульской области в Ленинград, и был похвален дух яфетического любопытства, проникающий в структурные глубины всякой речи...

Мне уже становилось скучно, и я все чаще поглядывал на кусок заглохшего сада в окне, когда в библиотеку вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой.



*Первый речной  
трамвай  
на Москве-реке. 1931.*

Его прометеева голова излучала дымчатый пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые с выхвалю пряди его жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.

Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово — это работа. Голова т. Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая хмури его очей стояла улыбки.

Так глухота и неблагодарность, завещанные нам от титанов, еще производят чело, ограбив для этого многих...

Голова по-армянски: глух'е, с коротким придыханьем после «х» и мягким «л»... Тот же корень, что и по-русски... А яфетическая новелла? Пожалуйста:

Видеть, слышать и понимать — все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вожделения, лишь потребности и опасения. Понятие головы вылепилось десятками тысячелетий из пучка туманностей, и символом ее стала глухота.

Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить...

Незадолго перед тем, роясь под лестницей грязно-розового особняка на Якиманке, я разыскал оборванную книжку Синьяка в защиту импрессионизма. Автор ее изъяснял «закон оптической смеси», прославлял работу мазками и внушал важность употребления одних чистых красок спектра.

Он основывал свои доказательства на цитатах из боготворимого им Эжена Делакруа. То и дело он обращался к его «Путешествию в Марокко», словно перелистывая обязательный для всякого мыслящего европейца кодекс зрительного воспитания.

Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний зрелый сбор импрессионистов. Он звал в ясные лагеря — к зуавам, бурнусам и красным юбкам алжирок.

При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени...

Мне показалось, будто я сменил копытообразную и пропыленную городскую обувь на легкие мусульманские чупяки.

За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем шелковичный червь.

К тому же легкость вторгалась в мою жизнь, как всегда сухую и беспорядочную и представляющуюся мне щеко-чущим ожиданием какой-то беспроигрышной лотереи, где я могу вынуть все что угодно: кусок земляничного мыла, сидение в архивах в палатах первопечатника или вождеденное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать.

Хозяин моей временной квартиры — молодой белокурый юрисконсульт — врывался по вечерам к себе до-

мой, схватывал с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на «юнкерсе» то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах. Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковричком и подколота булавками.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете.

Должно быть, величайшая дерзость беседовать с читателем о настоящем в тоне абсолютной вежливости, которую мы почему-то уступили мемуаристам.

Мне кажется, это происходит от нетерпения, с которым я живу и меняю кожу.

Саламандра ничего не подозревает о черном и желтом кrape на ее спине. Ей невдомек, что эти пятна располагаются двумя цепочками или же сливаются в одну сплошную дорожку, в зависимости от влажности песка, от жизнерадостной или траурной оклейки terraria.

Но мыслящая саламандра, человек, угадывает погоду завтрашнего дня — лишь бы самому определить свою расцветку.

Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитавшиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово «повидло».

Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности. Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. Им не был чужд и культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди с славянски-пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне.

И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу своих лучших лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России. Кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая, приводил мне на память красную пыль Араратской долины.

Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны — и в гробу, и в труде.

Кругом были не дай Бог какие веселенькие домики с низкими душонками и трусливо поставленными окнами. Всего лишь семьдесят лет тому назад здесь продавали крепостных девок, обученных шитью и мережке, смиренных и понятливых.

Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе коричневые вилы. Страшные какой-то казенной толщиной обхвата, они ничего не слышали и не понимали. Время окормило их молниями и опоило ливнями, — что гром, что бром — им было безразлично.

Однажды собрание совершеннолетних мужчин, населяющих дом, постановило свалить старейшую липу и нарубить из нее дров.

Дерево окопали глубокой траншеей. Топоры застучали по равнодушным корням. Работа лесорубов требует сноровки. Добровольцев было слишком много. Они суетились, как неумелые исполнители гнусного приговора.

Я подозревал жену:

— Смотри, сейчас оно упадет.

Между тем дерево сопротивлялось с мыслящей силой. Казалось, к нему вернулось полное сознание. Оно презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы.

Наконец ему накиннули на сухую развилину, на то самое место, откуда шла его эпоха, его летаргия и зеленая божба, — петлю из тонкой прачечной веревки и начали тихонько раскачивать. Оно шаталось, как зуб в десне, — все еще продолжая княжить в своей ложнице. Еще мгновение — и к поверженному истукану подбежали дети.

В этом году правление Центросоюза обратилось в Московский университет с просьбой рекомендовать им человека для посылки в Эривань.

Имелось в виду наблюденье за выходом кошенили — мало кому известной насекомой твари. Из кошенили получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок.

Выбор университета остановился на Б.С.Кузине, хорошо образованном молодом зоологе. Б.С. проживал со старушкой матерью на Б.Якиманке, состоял в профсоюзе, перед каждым встречным и поперечным из гордости



*Н.Я.Мандельштам —  
жена поэта. 1930-е годы.*



*Б.С.Кузин.  
Начало 1930-х годов.*

вытягивался в струнку и выделял из всей академической среды старика Сергеева, который собственноручно смастерил и приладил все высокие красные шкапы зоологической библиотеки и, проведя ладонью, с закрытыми глазами безошибочно называл породу уже обделанной древесины — будь то дуб, ясень или сосна.

Б.С. ни в коем случае не был книжным червем. Наукой он занимался на ходу, имел какое-то прикосновенье к саламандрам знаменитого венского самоубийцы — профессора Каммерера, — но пуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и взвивавшуюся кверху, как готический фейерверк...

Кузин был довольно опытным путешественником в масштабе СССР. И в Бухаре, и в Ташкенте мелькала его лагерная гимнастерка и раздавался заразительный военный смех. Повсюду он сеял друзей. Не так давно один мулла, святой человек, похороненный на горе, прислал ему формальное извещение о своей кончине на чистом фарсидском языке. По мнению муллы, славный и ученый молодой человек, исчерпав запас здоровья и наплодив достаточно детей, — но не раньше, — должен был с ним соединиться.

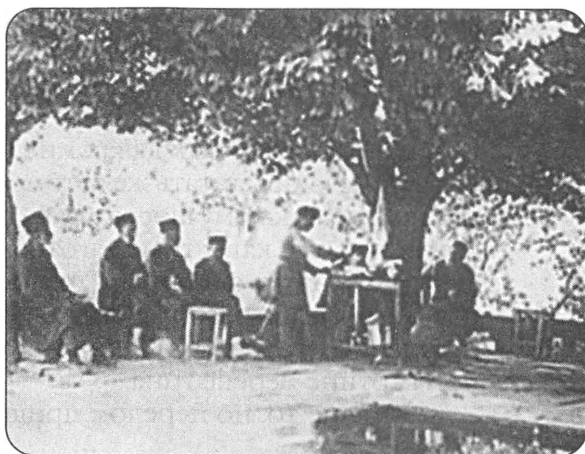
*Слава живущему! Всякий труд почтенен!*

В Армению Кузин собирался нехотя. Все бегал за мешками и ведрами для сбора кошенили и жаловался на хитрость чиновников, не выдававших ему тары.

Разлука — младшая сестра смерти. Для того, кто уважает резоны судьбы, — есть в проводах зловеще-свадебное оживленье.

То и дело хлопала наружная дверь, и с мышинной якиманской лестницы прибывали гости обоего пола: ученики советских авиационных школ — беспечные конькобежцы воздуха, сотрудники дальних ботанических станций, специалисты по горным озерам, люди, побывавшие на Памире и в Западном Китае, и просто молодые люди.

Началось разливанье по рюмкам виноградных московских вин, милое отнекиванье женщин и девушек, брызнул сок помидоров и бестолковый общий говор: об авиации, о мертвых петлях, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый



*Дворик эриванской мечети, где познакомились Б.С.Кузин и О.Э.Мандельштам. 1930. Фото Б.С.Кузина.*

потолок, рушится тебе на голову, о ташкентской дороговизне, о дяде Саше и его гриппе и о чем угодно...

Кто-то рассказывал, что внизу на Якиманке разлегся бронзовый инвалид, который «тут и живет», пьет водку, читает газеты, дуется в кости, а на ночь снимает деревянную ногу и спит на ней, как на подушке.

Другой сравнивал якиманского Диогена с феодальной японкой, третий кричал, что Япония — «страна шпионов и велосипедистов»....

Предмет беседы весело ускользал, словно кольцо, передаваемое за спиной, и шахматный «ход коня», всегда уводящий в сторону, был владыкой застольного разговора...

Не знаю, как для других, но для меня прелесть женщины увеличивается, если она молодая путешественница, по научной командировке пролежала пять дней на жесткой лавке ташкентского поезда, хорошо разбирается в линнеевской латыни, знает свое место в споре между ламаркистами и эпигенетиками и равнодушна к сое, к хлопку или хондрилле...

А на столе — роскошный синтаксис путаных, разноазбучных, грамматически неправильных полевых цветов, как будто все дошкольные формы растительного бытия сливаются в полногласном хрестоматийном стихотвореньи...

В детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни я никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами. Больше цветов мне нравились готические хвойные шишки и лицемерные желуди в монашеских шапочках. Я гладил шишки. Они топорщились. Они были хорошие.



Они убеждали меня. В их скорлупчатой нежности, в их геометрическом ротозействе я чувствовал начатки архитектуры, демон которой сопровождал меня всю жизнь.

А на подмосковных дачах мне почти не приходилось бывать. Ведь не считать же автомобильные поездки в Узкое по Смоленскому шоссе, мимо толстобрюхих бревенчатых изб, где капустные заготовки огородников — как ядра с зелеными фитилями. Эти бледно-зеленые капустные бомбы, нагроможденные в безбожном изобилии, отдаленно мне напоминали пирамиду черепов на скучной картине Верещагина.

Теперь не то, но перелом пришел, пожалуй, слишком поздно.

Еще в прошлом году на острове Севане, в Армении, гуляя в высокой поясной траве, я восхищался бесстыжим горением маков. Яркие до хирургической боли, какие-то бальные, лжекотильонные знаки, слишком большие для нашей планеты несгораемые полоротые мотыльки, — они росли на противных волосатых стеблях.

Я позавидовал детям. Они ретиво охотились за маковыми крыльями в траве. Нагнулся раз, нагнулся другой... Уже в руках огонь, словно кузнец одолжил меня углями.

Однажды в Абхазии я набрел на целые россыпи северной земляники на высоте немногих сот футов над уровнем моря. Невзрослые леса одевали все холмогорье. Крестьяне мотыжили красноватую сладкую землю, подготавливая луночки для ботанической рассады.

То-то я обрадовался коралловым деньгам северного лета. Спелые железистые ягоды висели трезвучьями, пятизвучьями, пели выводками и по нотам... В них была понятная лишь северянину облизывающаяся цыганская дерзость.

Итак, Б.С., вы уезжаете первым. Обстоятельства еще не позволяют мне последовать за вами. Я надеюсь, они изменятся.

Вы остановитесь на улице Спандарьяна, 92, у милейших людей — Тер-Оганьянов. Помните, как было? Я бежал к вам «по Спандарьяну», задыхаясь в масле полуденного зноя, глотая едкую строительную пыль, которой славится молодая Эривань. Еще мне были любы и новы шероховатости, шершавости и торжественности отремонтированной до морщин Араратской долины, город,

как будто весь развороченный боговдохновенными водопроводчиками, и большеротые люди с глазами, просверленными прямо из черепа, — армяне.

Мимо сухих водокачек, мимо консерватории, где в подвальчике разучивали квартет и откуда слышался сердитый голос профессора: «Падайте! падайте!» — то есть дайте нисходящее движение в адажио, — к вашей подворотне.

Не ворота, а длинный прохладный тоннель, прорубленный в дедовском доме, — и в него, как в зрительную трубу, брезжил дворик с зеленью, такой не по сезону тусклой, как будто ее выжгли серной кислотой.

Кругом глазам не хватает соли. Ловишь формы и краски — и все это опресноки. Такова Армения.

На балкончике вы показали мне персидский пенал, крытый лаковой живописью, цвета запекшейся с золотом крови. Он был обидно пустой. Мне захотелось понюхать его почтенные затхлые стенки, служившие сардарскому правосудию и моментальному составлению приговоров о выкалываньи глаз.

Затем, снова уйдя в ореховый сумрак квартиры Тер-Оганьянов, вы возвратились с пробиркой и показали мне кошениль. Красно-бурые горошины лежали на ватке.

Эту пробу вы взяли из татарской деревни Сарванлар, верстах в двадцати от Эривани. Оттуда хорошо виден отец Арарат, и в сухой пограничной атмосфере невольно чувствуешь себя контрабандистом. И, смеясь, вы мне рассказывали, какая есть в Сарванларе в дружественной вам татарской семье отличная девчурочка-обжора... Ее хитренькое личико всегда обмазано кислым молоком, и пальчики лоснятся от бараньего жира... Во время обеда вы, отнюдь не страдая изжогой брезгливости, все же откладывали для себя потихоньку лист лаваша, потому что обжорка ставила ножки на хлеб, как на скамеечку.

Я смотрел, как сдвигалась и раздвигалась гармоника басурманских морщинок у вас на лбу — пожалуй, самое одухотворенное в вашем физическом облике. Эти морщинки, как будто натертые барашковой шапкой, реагировали на каждую значительную фразу, и они гуляли на лбу ходуном, хорохором и ходором. Было в вас что-то, мой друг, годуновско-татарское.

Я сочинял сравнения для вашей характеристики и все глубже вживался в вашу антидарвинистическую сущность, я изучал живую речь ваших длинных нескладных

рук, созданных для рукопожатия в минуту опасности и горячо протестовавших на ходу против естественного отбора.

Есть у Гёте в «Вильгельме Мейстере» человек по имени Ярно: насмешник и естествоиспытатель. Он по неделям скрывается в латифундиях образцово-показательного мира, ночует в башенных комнатах на заголодавших простынях и выходит к обеду из глубин благонамеренного замка.

Этот Ярно был членом своеобразного ордена, учрежденного крупным помещиком Леонардом — для воспитания современников в духе второй части «Фауста». Общество имело широкую агентурную — вплоть до Америки — сеть, организацию, близкую к иезуитской. Велись тайные кондуитные списки, протягивались щупальца, улавливались люди.

Именно Ярно поручено было наблюдение за Мейстером.

Вильгельм путешествовал с мальчуганом Феликсом, сыном несчастной Марианны. Жить в одном месте свыше трех суток запрещалось параграфом искусства. Румяный Феликс — резвое дидактическое дитя — гербаризировал, восклицал: «Sag mir, Vater»\* — поминутно вопрошал отца, отламывая куски горных пород, и заводил знакомства-однодневки.

У Гёте вообще очень скучные благонравные дети. Дети в изображении Гёте — это маленькие эроты любознательности с колчаном метких вопросов за плечами...

И вот Мейстер в горах встречается с Ярно.

Ярно буквально вырывает из рук Мейстера его трехдневную путевку. Позади и впереди у них годы разлуки. Тем лучше! Тем звучнее эхо для лекции геолога в лесном университете!

Вот почему теплый свет, излучаемый устным поучением, ясная дидактика дружеской беседы намного превосходит вразумляющее и поучающее действие книг.

Я с благодарностью вспоминаю один из эриванских разговоров, которые вот сейчас, спустя какой-нибудь год, уже одревлены несомненностью личного опыта и обладают достоверностью, помогающей нам ощущать себя самих в предании.

Речь зашла о «теории эмбрионального поля», предложенной профессором Гурвичем.

---

\* Скажи мне, отец (нем.).

Зачаточный лист настурции имеет форму алебарды или двустворчатой удлиненной сумочки, переходящей в язычок. Он похож также на кремневую стрелу из палеолита. Но силовое натяжение, бушующее вокруг листа, преобразует его сначала в фигуру о пяти сегментах. Линии пещерного наконечника получают дуговую растяжку.

Возьмите любую точку и соедините ее пучком координат с прямой. Затем продолжите эти координаты, пересекающие прямую под разными углами, на отрезок одинаковой длины, соедините их между собой — и получите выпуклость!

Но в дальнейшем силовое поле резко меняет свою игру и гонит форму к геометрическому пределу, к многоугольнику.

Растение — это звук, извлеченный палочкой терменвокса из воркующей, певучей, перенасыщенной волновыми процессами сферы. Оно — посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании, и в одинаковой степени сродни и камню, и молнии! Растенье в мире — это событие, происшествие, стрела — а не скучное бородастое развитие!

Еще недавно, Борис Сергеевич, один писатель\* принес публичное покаяние в том, что был орнаменталистом или старался по мере греховных сил им быть.

Мне кажется, ему уготовано место в седьмом круге дантовского ада, где вырос кровотокающий терновник. И когда какой-нибудь турист из любопытства отломит веточку этого самоубийцы, он взмолится человеческим голосом, как Пьетро де Винеа: «Не тронь! Ты причинил мне боль! Иль жалости ты в сердце не имеешь? Мы были люди, а теперь деревья...»

И капнет капля черной крови...

Какой Бах, какой Моцарт варьирует тему листа настурции? Наконец вспыхнула фраза: «Мировая скорость стручка лопающейся настурции».

Кому не знакома зависть к шахматным игрокам? Вы чувствуете в комнате своеобразное поле отчуждения, струящее враждебный к неучастникам холодок.

А ведь эти персидские коники из слоновой кости погружены в раствор силы. С ними происходит то же, что с настурцией московского биолога Е.С.Смирнова и с эмбриональным полем профессора Гурвича.

---

\* М.Э.Козаков (примеч. О.Мандельштама).

Угроза смещения тяготеет над каждой фигуркой во все время игры, во все грозное явление турнира. Доска пучится от напряженного внимания. Фигуры шахмат растут, когда попадают в лучевой фокус комбинации, как волнушки-грибы в бабье лето.

Задача разрешается не на бумаге и не в камер-обскуре причинности, а в живой импрессионистской среде, в храме воздуха, силы и славы Эдуарда Мане и Клода Моне.

Правда ли, что наша кровь излучает митогенетические лучи, пойманные немцами на звуковую пластинку, — лучи, способствующие, как мне передавали, усиленному делению ткани?

Все мы, сами о том не подозревая, являемся носителями громадного эмбриологического опыта: ведь процесс припоминания, увенчанный победой усилия памяти, удивительно схож с феноменом роста. И здесь и там — росток, зачаток — черточка лица или полухарактер, ползвук, окончание имени, что-то губное или нёбное, сладкая горошина на языке, — развивается не из себя, но лишь отвечает на приглашение, лишь вытягивается, оправдывая ожидание...

Этими запоздалыми рассуждениями, Б.С., я надеюсь хотя бы отчасти вас вознаградить за то, что мешал вам в Эривани играть в шахматы.

В начале апреля я приехал в Сухум — город траура, табака и душистых растительных масел. Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа. Здесь каждое слово начинается на «а».

Язык абхазцев мощен и полногласен, но изобилует верхне- и нижнегортанными слитными звуками, затрудняющими произношение. Можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами...

Боюсь, еще не родился добрый медведь Балу, который обучит меня, как мальчика Маугли из джунглей Киплинга, прекрасному языку «апсны» — хотя в отдаленном будущем академии для изучения группы кавказских языков рисуются мне разбросанными по всему земному шару. Фонетическая руда Европы и Америки иссякает. Залежи ее имеют пределы. Уже сейчас молодые люди читают Пушкина на эсперанто. Каждому — свое!

Но какое грозное предостережение!..

Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского, с площадки Орджоникидзе. Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под траурный марш Шопена большую дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью.

Он расположен внизу, как готовальня с вложенным в бархатку циркулем, который только что описал бухту, нарисовал надбровные дуги холмов и сомкнулся.

Хотя в общественной жизни Абхазии еще много наивной грубости и злоупотреблений, нельзя не плениться административным и хозяйственным изяществом небольшой приморской республики, гордой своими драгоценными почвами, самшитовыми лесами, оливковым



*Сухум. Вид с горы Чернявского. Открытка 1930-х годов.*

совхозом на Новом Афоне и высоким качеством т кварчельского угля...

Сквозь платок кусались розы, визжал ручной медвежонок с серой древнерусской мордочкой окопаченного Ивана-дурака, и визг его резал стекло. Прямо с моря накатывали свежие автомобили, вспарывая шинами вечнозеленую гору... Из-под пальмовой коры выбивалась седая мочала театральных париков, и в парке, как пятипудовые свечи, каждый день стреляли вверх на вершок цветущие агавы.

Подвойский произносил нагорные проповеди о вреде куренья и отечески жучил садовников. Однажды он задал мне глубоко поразивший меня вопрос:

— Каково было настроение мелкой буржуазии в Киеве в девятнадцатом году?

Мне кажется, его мечтой было проштудировать «Капитал» Карла Маркса в шалаше Поля и Виргинии.

В двадцативерстных прогулках, сопровождаемый молчаливыми латышами, я развивал в себе чувство рельефа местности.

Тема: бег к морю пологих вулканических холмов, соединенных цепочками — для пешехода.

Варьяции:

Зеленый ключик высоты передается от вершины к вершине.

Каждая новая гряда запирает лощину на замок.

Спустились к немцам — в «дорф», в котловину, и были густо облаяны овчарками.

Я был в гостях у Д.Пулия — президента Абхазской академии наук — и чуть не передал ему поклон от Тартарена и оружейника Костекальда...

Чудесная провансальская фигура!

Он жаловался на трудности, сопряженные с изобретением абхазского алфавита, говорил с почтением о петербургском гаере Евреинове, который увлекался в Абхазии «культом козла», и сетовал на недоступность серьезных научных исследований ввиду отдаленности Тифлиса.

Твердолобый перестук бильярдных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукивание костяных вязальных спиц. Разбойник-кий разорял пирамиду — и четверо эпических молодцев из армии Блюхера, схожие, как братья, — дежурные, четкие, с бульбой смеха в груди, — находили аховую прелесть в игре.

И старики партийцы от них не отставали.

С балкона Орджоникидзе ясно видна в военный бинокль дорожка ипподрома и копошащаяся трибуна на болотном маневренном лугу цвета бильярдных сукон. Раз в год бывают большие скачки — на выносливость — для всех желающих.

Кавалькада библейских старцев провожала мальчика-победителя.

Родичи, разбросавшись по многоверстному эллипсу, ловко подают на шестах мокрые тряпки разгоряченным наездникам.

На дальнем болотном лугу экономный маяк вращал бриллиантом Тэта.

И как-то я увидел пляску смерти — брачный танец фосфорических букашек. Сначала казалось, будто попрыгивают огонечки тончайших блуждающих пахитосок, но росчерки их были слишком рискованные, свободные и дерзкие.

Черт знает куда их заносило!

Подойдя ближе: электрифицированные сумасшедшие поденки подмаргивают, дергаются и, вычеркивая, пожирают черное чтиво настоящей минуты.

Наше плотное тяжелое тело истлеет точно так же, и наша деятельность превратится в такую же сигнальную свистопляску, если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия.

Страшно жить в мире, состоящем из одних восклицаний и междометий!



Безыменский — силач, подымающий картонные гири, круглоголовый, незлобивый чернильный кузнец, нет, не кузнец, а продавец птиц — и даже не птиц, а воздушных шаров РАППа, — он все сутулился, напевал и бодал людей своим голубоглазьем.

Неистошимый оперный репертуар клочкотал в его горле. Концертно-садовая боржомная бодрость никогда его не покидала. Байбак — с мандолиной в душе — он жил на струне романса, и сердцевина его пела под иглой граммофона.

Тут я растягивал зрение и окунал глаз в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза.

Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку — на синий морской околодок...

Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владенья окоема.

Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, выворотив глаз, чтобы вышла наружу соринка...

И я начинал понимать, что такое обязательность цвета — азарт голубых и оранжевых маек — и что цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем.

Время в музее обращалось согласно песочным часам. Набегал кирпичный отсебочек, опорожнялась рюмочка, а там из верхнего шкапика в нижнюю скляницу та же струйка золотого самума.

Здравствуй, Сезанн! Славный дедушка! Великий труженик! Лучший желудь французских лесов.

Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незыблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти.

Но меня-то пленил натюрморт старика: срезанные, должно быть, утром розы — плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Ни дать ни взять — катышки желтоватого сливочного мороженого.

Зато я невзлюбил Матисса — художника богачей! Красная краска его холстов шипит содой. Ему незнакома радость наливающихся плодов. Его могущественная кисть не исцеляет зренья, но бычьью силу ему придает, так что глаза наливаются кровью.

Уж эти мне ковровые шахматы и одалиски!

Шахские прихоти парижского мэтра.

Дешевые овощные краски Ван Гога куплены по несчастному случаю за двадцать су.

Ван Гог харкает кровью, как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся, как желоб, в электрическом бешенстве. И узкое корыто биллиарда напоминает колоду гроба.

Я никогда не видал такого лающего колорита!

А его огородные кондукторские пейзажи! С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов.

Его холсты, на которых размазана яичница катастрофы, наглядны, как зрительные пособия — карты из школы Берлица.

Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

Каждая комната имеет свой климат.

В комнате Клода Моне воздух речной.

Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладонях, как бы натертые греблей.

Синьяк придумал кукурузное солнце.

Объяснительница картин ведет за собою культурников. Посмотришь и скажешь: магнит притягивает утку.

Озанфан сработал нечто удивительное — красным мелом и грифельными белками на черном аспидном фоне, — модулируя формы стеклянного дутья и хрупкой лабораторной посуды.

А еще вам кланяется синий еврей Пикассо — и серо-малиновые бульвары Писсарро, текущие, как колеса огромной лотереи с коробочками кэбов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах.

Но не довольно ли?

В дверях уже скучает обобщенье.

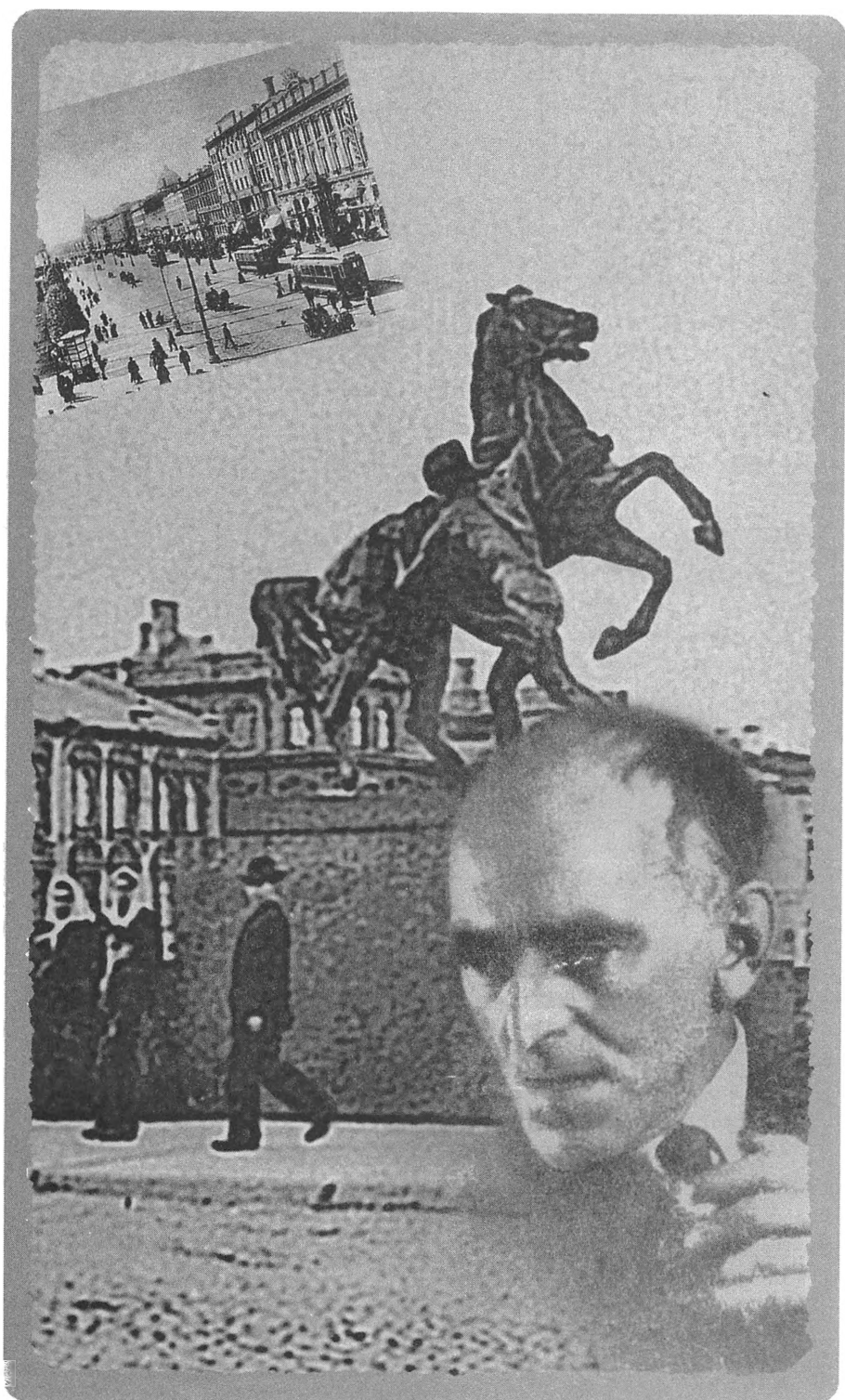
Для всех выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма я посоветовал бы такой способ смотреть картины.

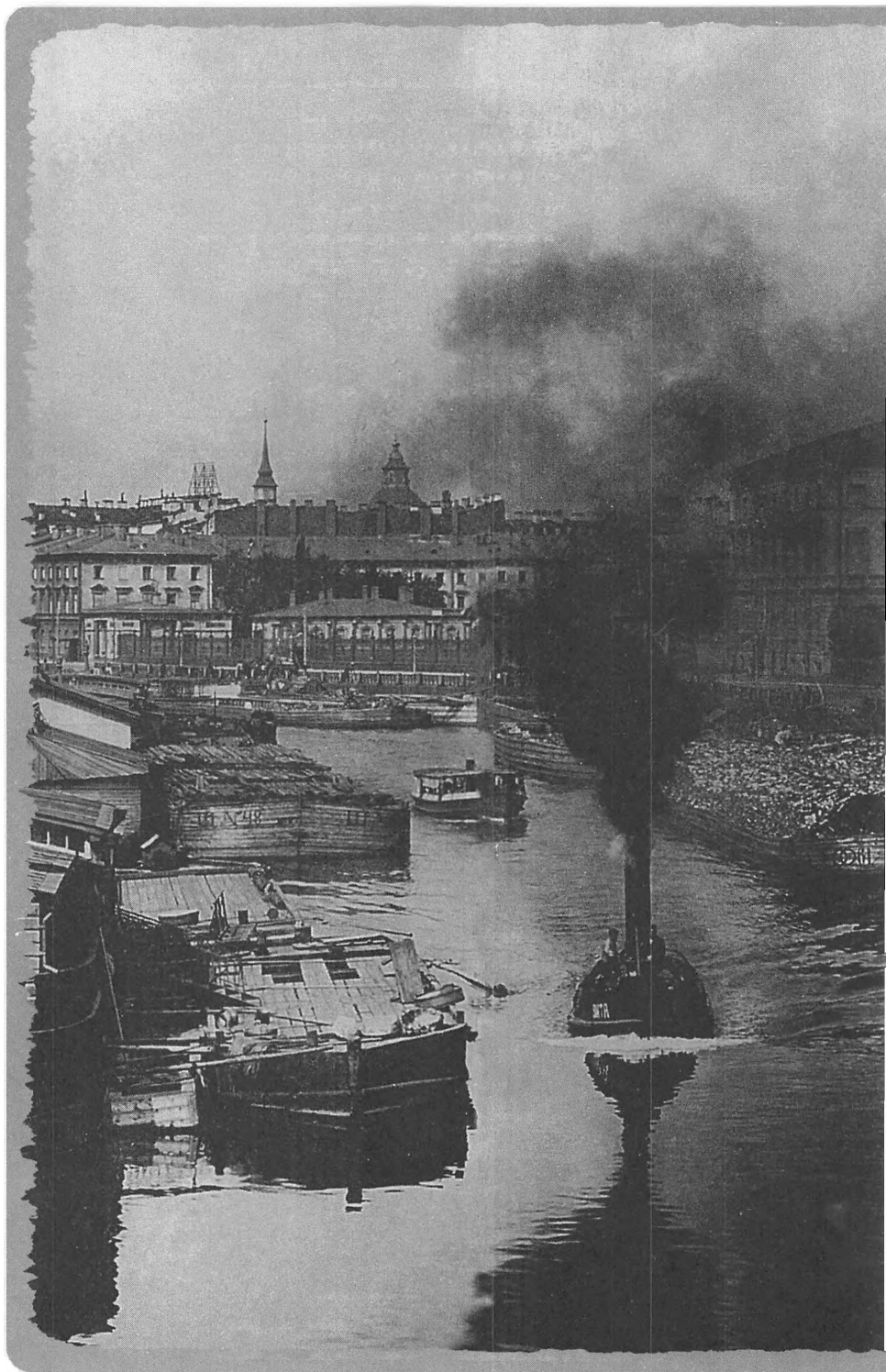
Ни в коем случае не входить как в часовню. Не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам...

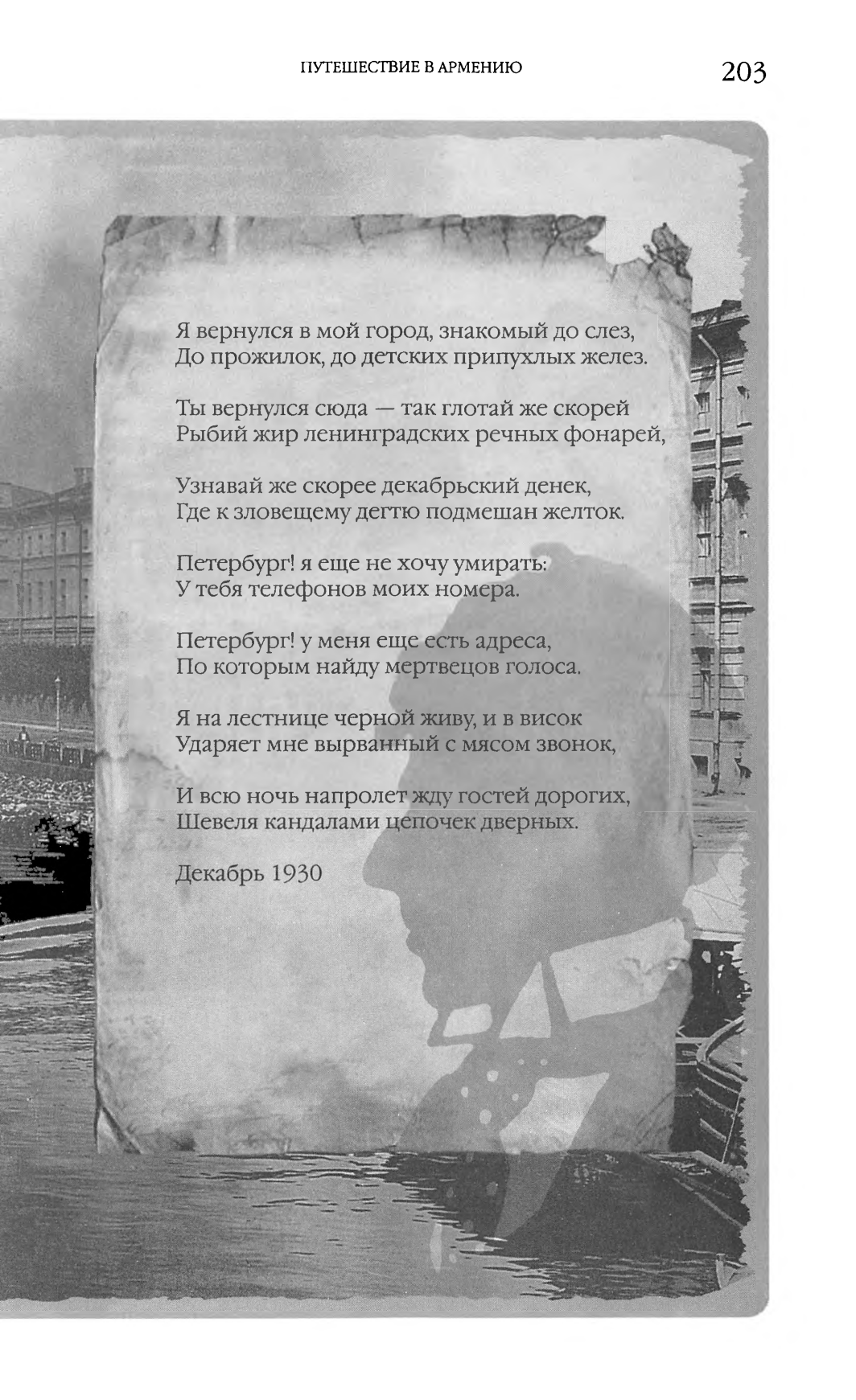
Прогулочным шагом, как по бульвару — насквозь!

Рассекайте большие температурные волны пространства масляной живописи.

Спокойно, не горячась, — как татарчата купают в Алуште лошадей — погружайте глаз в новую для него матери-







Я вернулся в мой город, знакомый до слез,  
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей  
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,  
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

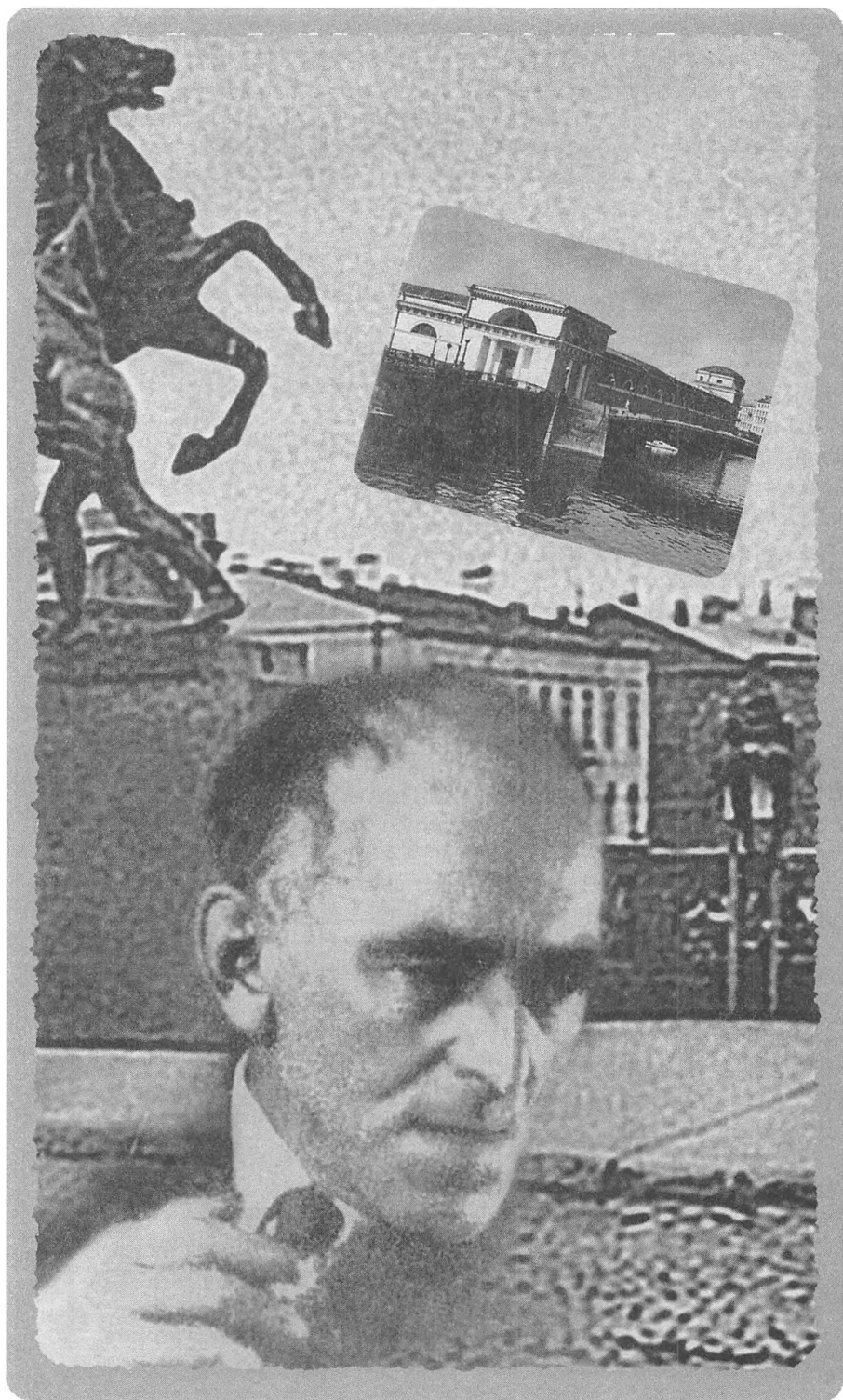
Петербург! я еще не хочу умирать:  
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок  
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,  
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930





альную среду — и помните, что глаз благородное, но упрямое животное...

Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зренья, для которой хрусталик еще не нашел единственной достойной аккомодации, — все равно что серенада в шубе за двойными оконными рамами.

Когда это равновесие достигнуто — и только тогда — начинается второй этап — реставрация картины, ее отмыванье, совлечение с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего — варварского слоя, который соединяет ее, как всякую вещь, с солнечной или сумеречной действительностью.

Тончайшими кислотными реакциями глаз — орган, обладающий акустикой, наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды, с которыми он нянчится, как с писаной торбой, — поднимает картину до себя. Ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции — нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия.

Материя живописи организована беспронизительно, и в этом ее отличие от природы. Но вероятность тиража обратно пропорциональна его осуществимости.

Венецианцы смеялись, когда Марко Поло рассказывал, что в Китае ходят бумажные деньги. На них купишь разве что во сне. Золото не прилипает к шелковистой бумаге.

А путешественник-глаз вручает сознанию свои посылские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны.

И тут только начинается третий и последний этап вхождения в картину — очная ставка с замыслом.

Я вышел на улицу из посольства живописи.

Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце — завернутым в серебряную бумагу.

У дверей кооператива стояла матушка с сыном. Сын был сухоточный, почтительный. Оба в трауре. Женщина совала пучок редиски в ридикюль.

Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок — и все это — отдаленное и липовое — было напихано в веревочную сетку.



Ламарк боролся за честь живой природы со шпагой в руках. Вы думаете, он так же легко мирился с эволюцией, как научные дикари XIX века? А по-моему, стыд за природу ожег дворянские смуглые щеки Ламарка. Он не прощал природе пустячка, который называется изменчивостью видов.

Вперед! Auh armes!\* Смоем с себя бесчестие эволюции!

Чтение натуралистов-систематиков (Линнея, Бюффона, Палласа) прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие.

Россия в изображении замечательного натуралиста Палласа. Бабы гонят краску мариону из квасцов с березовыми листьями, липовая кора сама сдирается на лыки, заплетается в лапти и лукошки. Мужики употребляют густую нефть как лекарственное масло. Чувашки звякают балаболочками в косах.

Кто не любит Генделя, Глюка и Моцарта — тот ни черта не поймет в Палласе. Телесную круглость и любезность немецкой музыки он перенес на русские равнины. Белыми руками концертмейстера он собирает российские грибы. Сырая замша, гнилой бархат, а разломаешь — внутри лазурь.

Паллас насвистывает из Моцарта. Мурлычет из Глюка.

Кто не любит Генделя, Глюка и Моцарта — тот ничего не поймет в Палласе.

Поговорим о физиологии чтения. Богатая, неисчерпанная и, кажется, запретная тема. Из всего материаль-

---

\* К оружию! (*фр.*)

ного, из всех физических тел книга — предмет, внушающий человеку наибольшее доверие. Книга, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник.

Она входит в наше сознание, как лукоморье в варварскую страну, и опустошает его, как не мог бы сделать сам Аттила.

Демон чтения вырвался из глубин культуры-опустошительницы. Древние его не знали. В процессе чтения они не искали иллюзию. Аристотель читал бесстрастно.

Будучи всецело охвачены деятельностью чтения, мы любимся главным образом своими родовыми свойствами, испытываем как бы восторг перед классификацией своих возрастов.

И если Линней, Бюффон и Паллас окрасили мою зрелость, то я благодарю кита за то, что он пробудил во мне ребяческое изумление перед наукой.

В зоологическом музее:

Кап—кап—кап...

Кот наплакал эмпирического опыта.

— Да заверните же, наконец, кран! Довольно!

Я заключил перемирие с Дарвином и поставил его на воображаемой этажерке рядом с Диккенсом. Если б они обедали вместе, с ними сам-третьей сидел бы мистер Пиквик. Нельзя не плениться добродушием Дарвина. Он непреднамеренный юморист. Ему присущ (сопутствует) юмор ситуации.

Но разве добродушие — метод творческого познания и достойный способ жизнеощущения?

В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данта. Низшие формы органического бытия — ад для человека.

Длинные седые усы этой бабочки имели остистое строение и в точности напоминали ветки на воротнике французского академика или серебряные пальмы, возлагаемые на гроб. Грудь сильная — развитая в лодочку. Головка незначительная, кошачья.

Ее глазастые крылья были из прекрасного старого адмиральского шелку, который побывал и в Чесме, и при Трафальгаре.

И вдруг я поймал себя на диком желании взглянуть на природу нарисованными глазами этого чудовища.

Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит синкопы и паузы эволюционного ряда.

Ламарк заплакал глаза в лупу. В естествознании он единственная шекспировская фигура.

Смотрите! Этот раскрасневшийся полупочтенный старец сбегает вниз по лестнице живых существ, как молодой человек, обласканный министром на аудиенции или осчастливленный любовницей.

Никто, даже отъявленные механисты, не рассматривает рост организма как результат изменений во внешней среде. Это было бы уже чересчур большой наглостью. Среда лишь приглашает организм к росту. Ее функция выражается в известной благосклонности, которая постепенно и непрерывно погашается суровостью, связывающей живое тело и награждающей его смертью.

Итак, организм для среды есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Среда для организма: приглашающая сила. Не столько оболочка, сколько вызов.

Когда дирижер вытягивает палочкой тему из оркестра, он не является физической причиной звука. Звучание уже дано в партитуре симфонии, в спонтанном сговоре исполнителей, в многолюдстве зала и в устройстве музыкальных орудий.

У Ламарка басенные звери. Они приспособлены к условиям жизни по Лафонтену. Ноги цапли, шея утки и лебедя, язык муравьеда, асимметричное и симметрическое смещение глаз у некоторых рыб.

Лафонтен, если хотите, подготовил учение Ламарка. Его умничающие, морализирующие, рассудительные звери были прекрасным живым материалом для эволюции. Они уже разверстали между собой ее мандаты.

Парнокопытный разум млекопитающих одевает их пальцы закругленным рогом.

Кенгуру передвигается логическими скачками.

Это сумчатое в описании Ламарка состоит из слабых, то есть примирившихся со своей ненужностью передних ног, из сильно развитых, то есть убежденных в своей важности задних конечностей и мощного тезиса, именуемого хвостом.

Уже расположились дети играть в песочек у подножья эволюционной теории дедушки Крылова — то бишь Ламарка—Лафонтена. Найдя себе убежище в Люксембургском саду, она обросла мячами и воланами.

А я люблю, когда Ламарк изволит гневаться и вдребезги разлетается вся эта швейцарская педагогическая ску-

ка. В понятие природы врывается марсельеза! Самцы жвачных сшибаются лбами. У них еще нет рогов.

Но внутреннее ощущение, порожденное гневом, направляет к лобному отростку «флюиды», способствующие образованию рогового и костного вещества.

Снимаю шляпу. Пропускаю учителя вперед. Да не умолкнет юношеский гром его красноречия!

«Еще» и «уже» — две светящиеся точки Ламарковой мысли, живчики эволюционной славы и светописи, сигнальщики и застрельщики формообразования.

Он был из породы старых настройщиков, которые бренчат костлявыми пальцами в чужих хоробах. Ему разрешались лишь хроматические крючки и детские арпеджио.

Наполеон позволял ему настраивать природу, потому что считал ее императорской собственностью.

В зоологических описаниях Линнея нельзя не отметить преемственной связи и некоторой зависимости от ярмарочного зверинца. Владелец странствующего балагана или наемный шарлатан-объяснитель стремится показать товар лицом. Эти зазывалы-объяснители меньше всего думали о том, что им придется сыграть некоторую роль в происхождении стиля классического естествознания. Они ввали напропалую, мололи чушь на голодный желудок, но при этом сами увлекались своим искусством. Их вывозила нелегкая, кривая, а также и профессиональный опыт, и прочная традиция ремесла.

Линней ребенком в маленькой средневековой Упсале не мог не посещать ярмарок, не мог не заслушиваться объяснений в странствующем зверинце. Как и все мальчики, он млел и таял перед ученым детиной в ботфортах и с хлыстом, перед доктором баснословной зоологии, который расхваливал пуму, размахивая огромными красными кулачищами.

Сближая важные творения шведского натуралиста с красноречием базарного говоруна, я отнюдь не намерен принизить Линнея. Я хочу лишь напомнить, что натуралист — профессиональный рассказчик и публичный демонстратор живых интересных вещей.

Раскрашенные портреты зверей из линнеевской «Системы природы» могли висеть рядом с картинками Семилетней войны и олеографией блудного сына.

Линней раскрасил своих обезьян в самые нежные колониальные краски. Он обмакивал свою кисточку в ки-

тайские лаки, писал коричневым и красным перцем, шафраном, оливой, вишневым соком. При этом со своей задачей он справляется проворно и весело, как цирюльник, бредущий бюргермейстера, или голландская хозяйка, размалывающая кофе на коленях в угробистой мельнице.

Восхитительна колумбова яркость линнеевского обезьянника.

Это Адам раздает похвальные грамоты первостатейным млекопитающим, призвав себе на помощь багдадского фокусника и китайского монаха.

Персидская миниатюра косит испуганным грациозным миндалевидным оком.

Безгрешная и чувственная, она лучше всего убеждает в том, что жизнь — драгоценный, неотъемлемый дар.

Люблю мусульманские эмали и камеи.

Продолжая мое сравнение, я скажу: горячее конское око красавицы косо и милостиво нисходит к читателю. Обгорелые кочерыжки рукописей похрустывают, как сухумский табак.

Сколько крови пролито из-за этих недотрог! Как наслаждались ими завоеватели!

У леопардов хитрые уши наказанных школьников.

Плачущая ива свернулась в шар: обтекает и плавает.

Адам и Ева совещаются, пышно одетые по самой последней феодальной моде.

Горизонт упразднен. Нет перспективы. Очаровательная недогадливость. Благородное лестничное восхождение лисицы и чувство прислоненности садовника к ландшафту и к архитектуре.

Вчера читал Фирдусси, и мне показалось, будто на книге сидит шмель и сосет ее.

В персидской поэзии дуют посольские подарочные ветры из Китая.

Она черпает долголетие серебряной разливательной ложкой, одаривая им кого захочет лет тысячи на три или на пять. Поэтому цари из династии Джемджидов долговечны, как попугаи.

Быв добрыми неимоверно долгое время, любимцы Фирдусси внезапно и ни с того ни с сего делаются злыднями, повинувшись единственно роскошному произволу вымысла.

Земля и небо в книге «Шах-наме» больны базедовой болезнью — они восхитительно пучеглазы.

Я взял Фирдусси у государственного библиотекаря Армении — Мамикона Артемьевича Геворкьяна. Мне принесли целую стопку синих томиков — числом, кажется, восемь. Слова благородного прозаического перевода — это было французское издание Молля — благоухали розовым маслом.

Мамикон, пожевав отвислой губернаторской губой, пропел своим неприятным верблюжьим голосом несколько стихов по-персидски.

Геворкьян красноречив, умен и любезен, но эрудиция его чересчур шумная и напористая, а речь жирная, адвокатская.

Читатели вынуждены удовлетворять свою любознательность тут же, в кабинете директора — под его личным присмотром, и книги, подаваемые на стол этого сатрапа, получают вкус мяса розовых фазанов, горьких перепелок, мускусной оленины и плутоватой зайчины.

Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату. Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румяного чая и расходятся в нем кучевыми клубнями.

А впрочем, небо земли араратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдуманно синицей в духе древнейшего атеизма.

Ямщицкая гора, сверкающая снегом, кротовое поле, как будто с издевательской целью засеянное каменными зубьями, нумерованные бараки строительства и набитая пассажирами консервная жестянка — вот вам окрестности Эривани.

И вдруг — скрипка, расхищенная на сады и дома, разбитая на систему этажерок — с распорками, перехватами, жердочками, мостиками.

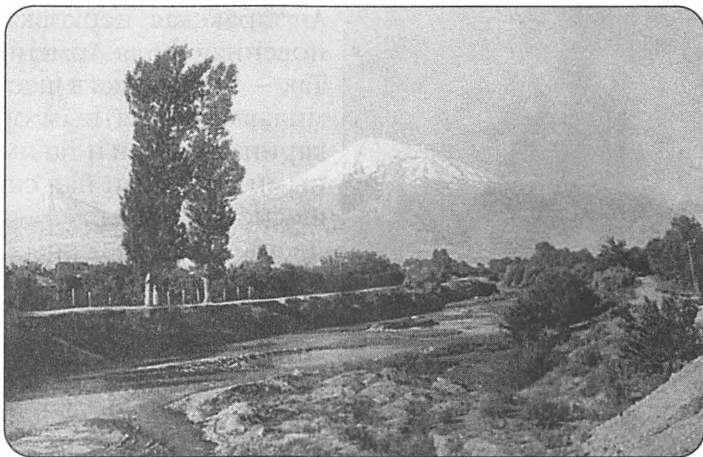
Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Каменные корзинки его садов — отличный бенефисный подарок для колоратурного сопрано.

Ночлег пришелся в обширном четырехспальном доме раскулаченных. Правление колхоза вытрусило из него обстановку и учредило в нем деревенскую гостиницу. На террасе, способной приютить все семья Авраама, скорбел удойный умывальник.

Отсюда открывался вид на Алагёз.

Фруктовые сады — те же танцклассы для деревьев. Алая грамотность вишен, школьная робость яблонь... Вы посмотрите на их кадрили, их ритурнели и рондо.

Я слушал журчанье колхозной цифири. В горах прошел ливень, и хлебные хляби уличных ручьев побежали шибче обыкновенного.



*Вид на Арарат.  
Начало 1930-х  
годов.*

Вода звенела и раздувалась на всех этажах и этажерках Аштарака и пропускала верблюда в игольное ушко.

Ваше письмо на восемнадцати листах, исписанных почерком прямым и высоким, как тополевая аллея, — я получил и на него отвечаю:

Первое столкновение в чувственном образе с материей — с древнеармянской архитектурой.

Глаз ищет формы, идеи, ждет ее, а взамен натывается на заплесневший, черствый хлеб природы или на каменный пирог.

Зубы зренья крошатся и обламываются, когда смотришь впервые на армянские церкви.

Армянский язык — неизнашиваемый — каменные сапоги. Ну конечно, толстостенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но разве все очарованье в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить?

Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и — может даже — на какой-то глубине постыдные.

Был пресный кипяток в жестяном чайнике — и вдруг в него бросили щепотку чудного черного чая.

Так у меня с армянским языком.

Я в себе выработал шестое — «араратское» — чувство: чувство притяжения — горой.

Теперь, куда б меня ни занесло, оно уже умозрительное и останется.





*Церковь Кармавор  
в Аштараке. 1930-е годы.*

Аштаракская церковка самая обыкновенная и для Армении — смиренная. Так — церквушка в шестигранной камилавке с канатным орнаментом по карнизу кровли и такими же веревочными бровками над скупыми устами щелистых окон...

Дверь — тише воды, ниже травы. Встал на цыпочки и заглянул вовнутрь:

Но там же купол, купол! Настоящий! Как в Риме у Петра, под которым тысячные толпы, и пальмы, и море свечей, и носилки...

Там углубленные сферы апсид раковинами поют. Там четыре хлебопека: север, запад, юг и восток — с выколоты-

ми глазами тычутся в воронкообразные ниши, обшаривают очаги и междуочажья и не находят себе выхода.

Кому же пришла идея заключить пространство в этот жалкий погребец, в эту нищую темницу — чтобы ему там воздать достойные псалмопевца почести?

Мельник, когда ему не спится, выходит без шапки в сруб и осматривает жернова. Иногда я просыпаюсь ночью и твержу про себя спряженья по грамматике Марра.

Учитель Ашот вмурован в плоскостенный дом свой, как несчастный персонаж в романе Виктора Гюго.

Стукнув пальцем по коробу капитанского барометра, он шел на двор — к водомеру — и на клетчатом листке чертил кривую осадков.

Он возделывал малотоварный фруктовый участок в десятичную долю гектара, крошечный вертоград, запеченный в каменно-виноградном пироге Аштарак, и был исключен, как лишний едок, из колхоза.

В дупле комода хранился диплом университета, аттестат зрелости и водянистая папка с акварельными рисунками — невинная проба характера и таланта.

В нем был гул несовершенного прошедшего.

Труженик в черной рубашке, с тяжелым огнем в глазах, с открытой театральной шеей, он удалялся в перспективу исторической живописи — к шотландским мученикам, к Стюартам.

Еще не написана повесть о трагедии полубразования.

Мне кажется — биография сельского учителя может стать в наши дни настольной книгой — как некогда «Вертер».

Аштарак — селенье богатое и хорошо угнездившееся — старше многих европейских городов. Славился праздником жатвы и песнями ашугов. Люди, кормящиеся около винограда, — женолюбивы, общительны, насмешливы — склонны к обидчивости и ничегонеделанью. Аштаракцы не составляют исключения.

С неба упало три яблока: первое тому, кто рассказывал, второе тому, кто слушал, и третье тому, кто понял. Так кончается большинство армянских сказок. Многие из них записаны в Аштараке. В этом районе — фольклорная житница Армении.

— Ты в каком времени хочешь жить?

— Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге — страдательном. В «долженствующем быть». Так мне дышится. Так мне нравится. Есть верховая, конная, басмаческая честь. Оттого-то мне и нравится славный латинский «герундивум» — этот глагол на коне: *laudaturus est*.

Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал форму повелительной глагольной тяги как проблему всей нашей культуры. И не только «долженствующее быть», но и «долженствующее быть хвалимым» — *laudatura est* — то, что манит и тянет...

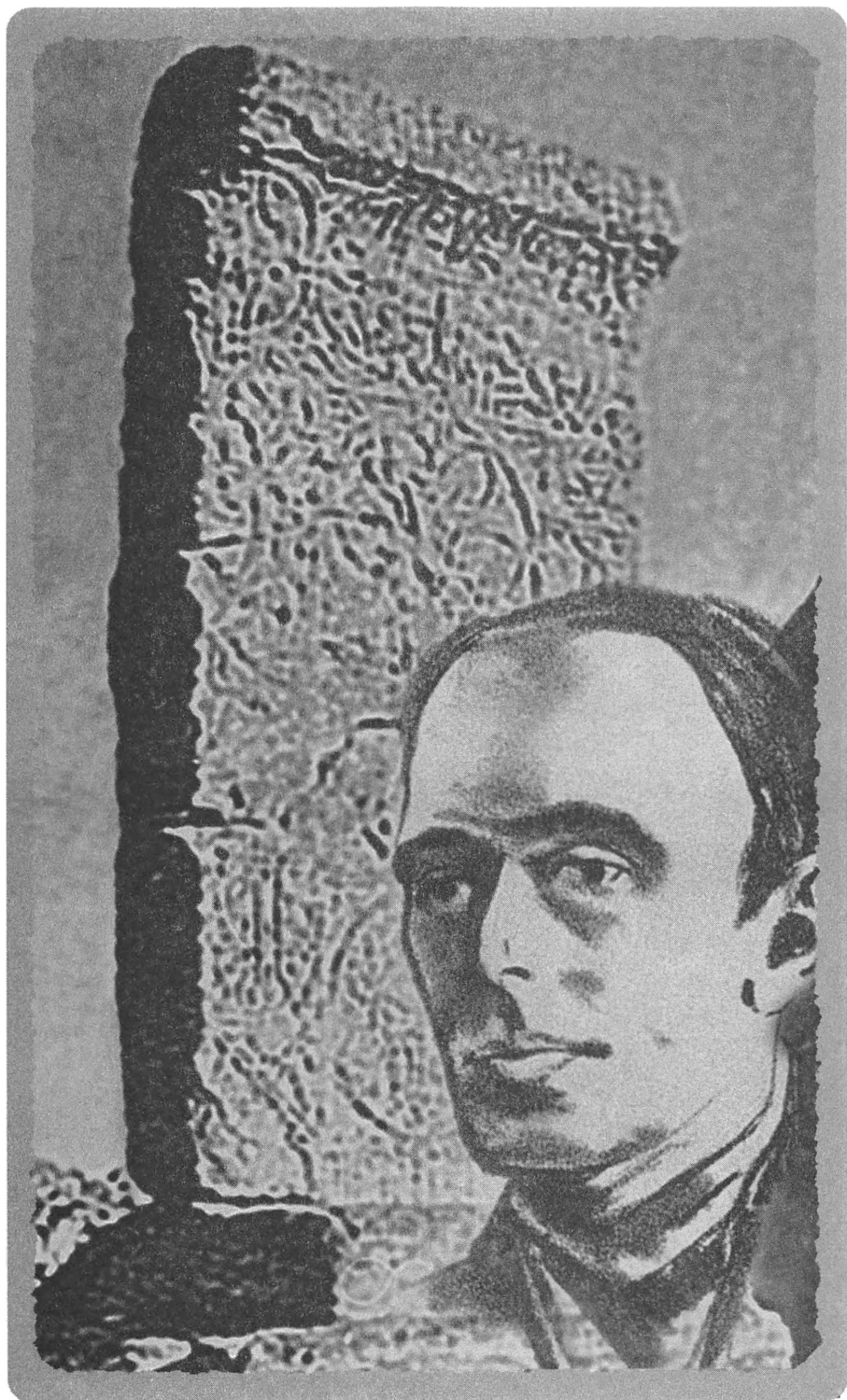
Такую речь я вел с самим собой — едучи в седле по урочищам, кочевбищам и гигантским пастбищам Алагёза.

В Эривани Алагёз торчал у меня перед глазами, как «здрасьге» и «прощайте». Я видел, как день ото дня подтаивала его снежная корона, как в хорошую погоду, особенно по утрам, — сухими поджаренными гренками хрустели его нафабранные кручи.

И я тянулся к нему через тутовые деревья и земляные крыши домов.

Кусок Алагёза жил тут же со мной в гостинице. На подоконнике почему-то валялся увесистый образчик черного вулканического стекла — камень обсидиан. Визитная карточка — в пуд, — забытая какой-нибудь геологической экспедицией.

Подступы к Алагёзу не утомительны, и ничего не стоит взять его верхом, несмотря на 14 000 футов. Лава заключена в земляные опухоли, по которым едешь, как по маслу.





Дикая кошка — армянская речь  
Мучит меня и царапает ухо.  
Хоть на постели горбатой прилечь —  
О, лихорадка, о, злая моруха!

Падают вниз с потолка светляки,  
Ползают мухи по липкой простыне,  
И маршируют повзводно полки  
Птиц голенастых по желтой равнине.

Страшен чиновник — лицо как тюфяк,  
Негу его ни жалчей, ни нелепей.  
Командированный — мать твою так! —  
Без подорожной в армянские степи.

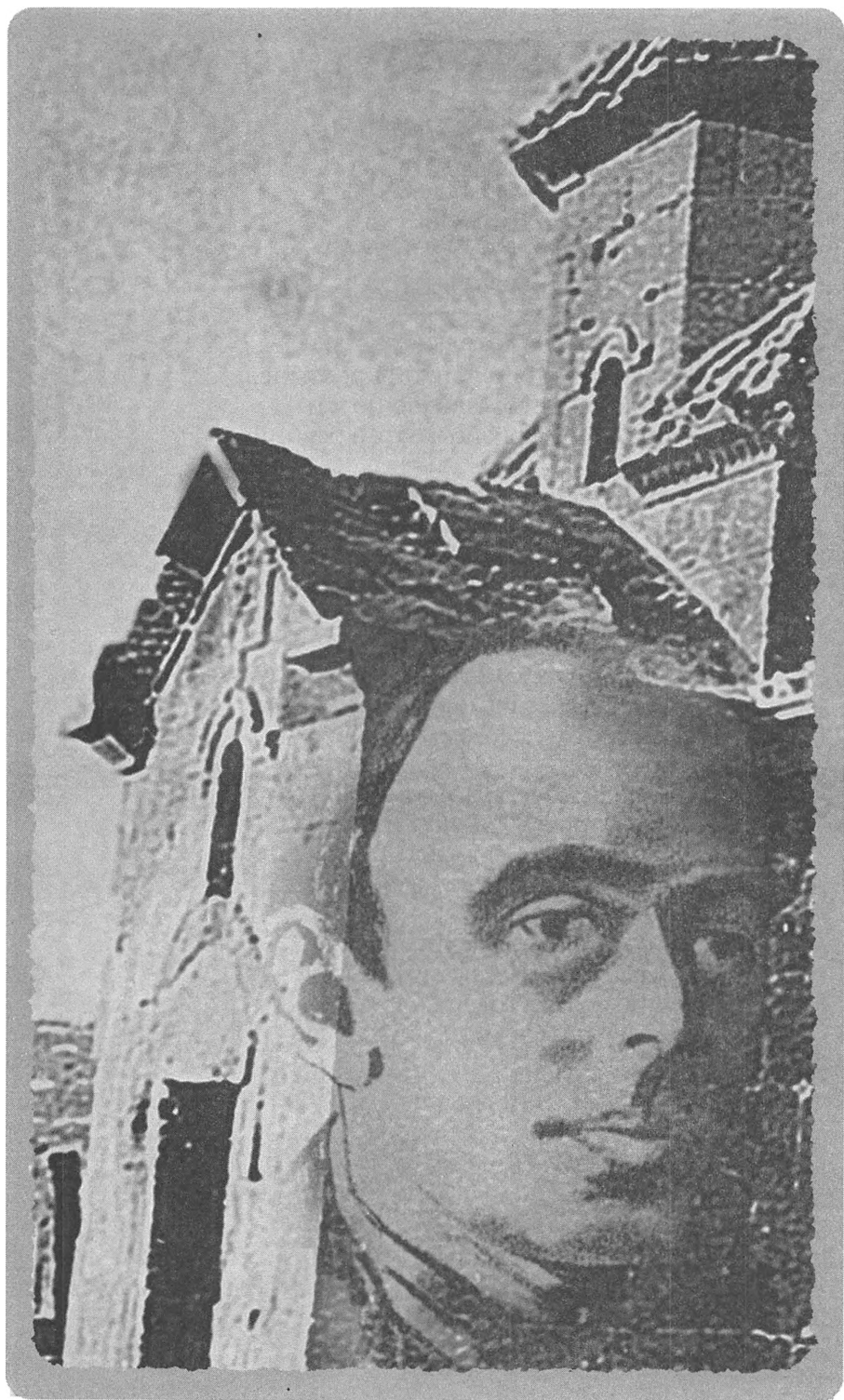
Пропадом ты пропади, говорят,  
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху ни духу, —  
Старый повытчик, награбив деньжат,  
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.

Грянет ли в двери знакомое: «Ба!  
Ты ли, дружище?» Какая издевка!  
Долго ль еще нам ходить по гроба,  
Как по грибы деревенская девка?..

Были мы люди, а стали людьё,  
И суждено — по какому разряду? —  
Нам роковое в груди колотьё  
Да эрзерумская кисть винограду.

Октябрь 1930





Из окна моей комнаты на пятом этаже эриванской гостиницы я составил себе совершенно неверное представление об Алагёзе. Он мне казался монолитным хребтом. На самом деле — он складчатая система и развивается постепенно — по мере подъема. Шарманка диоритовых пород раскручивается, как альпийский вальс.

Ну и емкий денек выпал мне на долю! И сейчас, как вспомнишь, скает сердце. Я в нем запутался, как в длинной рубашке, вынутой из сундуков патриарха Иакова.



*О.Э.Мандельштам (справа внизу)  
и Н.Я.Мандельштам (в центре)  
на развалинах Аванского храма. 1930.*

Деревня Бьюракан ознаменовалась охотой за цыплятами. Желтенькими шариками они катались по полу, обреченные в жертву нашему людоедскому аппетиту.

В школе к нам присоединился странствующий плотник, человек бывалый и проворный. Хлебнув коньяку, он рассказал, что знать не хочет ни артелей, ни профсоюзов. Руки-де у него золотые, и везде ему почет и место. Без всякой биржи он находит заказчика, по чутью и по слуху угадывает, где есть нужда в его труде. Мы всё же искренне подивились мастеру-чужанину. Родом он, кажется, был чех и вылитый крысолов с дудочкой.

В Бьюракане я купил большую глиняную солонку, с которой потом было много возни.

Представьте себе грубую пасочницу — бабу в фижмах или в роброне — с крендельками-поручами, с кошачьей головкой и большим круглым ртом по самой середине робы, куда свободно залезает пятерня.

Счастливая находка — из богатой, впрочем, семьи предметов такого рода. Но символическая сила, вложенная в него первобытным воображением, не ускользнула даже от поверхностного вниманья горожан.

Везде крестьянки с плачущими лицами, волочащимися движениями, красными веками и растрескавшимися губами.

Походка их безобразна, словно они больны водянкой или растяжением жил. Они движутся, как горы усталого тряпья, взметая пыль подолами.



Мухи едят ребят, гроздьями забираются в уголок глаза.

Улыбка пожилой армянской крестьянки неизъяснимо хороша — столько в ней благодарности, измученного достоинства и какой-то важной замужней прелести.

Книг с собой у меня была одна только «Italienische Reise» Гёте в кожаном дорожном переплете, гнущемся, как бедкер...

Усталости мы чувствовать не смели. Солнце печенегов и касогов стояло над нашими головами.

Кони идут по диванам, ступают на подушки, протаптывают валики. Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану.

Видел могилу курда-великана сказочных размеров и принял ее как должное.

Передняя лошадка чеканила копытами рубли, и щедрости ее не было пределов.

На луке седла моего болталась неоципанная курица, зарезанная утром в Бьюракане.

Изредка конь нагибался к траве, и шея его выражала покорность упрямянам — народу, который старше римлян.

Наступало молочное успокоенье. Свертывалась сыворотка тишины. Творожные колокольцы и клюквенные бубенцы различного калибра бормотали и брякали. Около каждого колодворья шел каракулевый митинг. Кажалось, десятки мелких цирковладельцев разбили свои палатки и балаганы на вшивой высоте и, не подготовленные к валовому сбору, застигнутые врасплох, — копошились в кошах, звенели посудой для удоя, благодарили собак и запихивали в лежбища ягнят, спеша заключить на всю ночь в свое володарство — распределяя по лайгороду намыкавшиеся, дымящиеся, отсыревшие головы скота.

Армянские и курдские коши по убранству ничем не отличаются. Это оседлые урочища скотоводов на террасах Алагёза, дачные стойбища, разбитые на облюбованных местах.

Каменные бордюры обозначают планировку шатра и примыкающего к нему двора с оградой, вылепленной из навоза. Покинутые или незанятые коши лежат как пожарища.

Проводники, взятые из Бьюракана, обрадовались ночевке в Камарлу: там у них были родичи.

Бездетные старик со старухой приняли нас на ночь в лоно своего шатра.

Старуха двигалась и работала с плачущими, удаляющимися и благословляющими движениями, приготавливая дымный ужин и постельные войлочные коши.

— На, возьми войлок! На, возьми одеяло! Да расскажи что-нибудь о Москве.

Хозяева готовились ко сну. Плошка осветила высокую, как бы железнодорожную палатку. Жена вынула чистую бязевую солдатскую рубашу и обрядила ею мужа.

Я стеснялся, как во дворце...

1. Тело Аршака неумыто, и борода его одичала.

2. Ногти царя сломаны, и по лицу его ползает мокрицы.

3. Уши его поглупели от тишины, а когда-то — они слушали греческую музыку.

4. Язык опаршивел от пищи тюремщиков, а было время — он прижимал виноград к небу и был ловок, как кончик языка флейтиста.

5. Семя Аршака зачало в мошонке, и голос его жидок, как бляние овцы...

6. Царь Шапух — так думает Аршак — взял верх надо мной, и — хуже того — он взял мой воздух себе.

7. Ассириец держит мое сердце.

8. Он — начальник волос моих и ногтей моих. Он отпускает мне бороду и глотает слюну мою — до того привык он к мысли, что я нахожусь здесь — в крепости Аньюш.

9. Народ Кушани возмутился против Шапуха.

10. Они порвали границу в незащищенном месте, как шелковый шнур.

11. Наступление Кушани колело и беспокоило царя Шапуха, как ресница, попавшая в глаз.

12. Враги зажмурились, чтобы не видеть друг друга.

13. Некий Дармастат, самый образованный и любезный из евнухов, был в середине войска Шапуха, ободрял командующего конницей, подольстился к владыке, вывел его, как шахматную фигуру, из опасности и все время держался на виду.

14. Он был губернатором провинции Андех в те дни, когда Аршак бархатным голосом отдавал приказанья.

15. Вчера был царь, — а сегодня — провалился в щель, скрючился в утробе, как младенец, согревается вшами и наслаждается чесоткой.

16. Когда дошло до вознаграждения, Дармастат вложил в острые уши ассирийца — просьбу, щекочущую, как перо:

17. Дай мне пропуск в крепость Аньюш. Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный день, полный слышанья, вкуса и обонья, как бывало раньше, когда он развлекался охотой и заботился о древонасаждении.

Легок сон на кочевьях. Тело, измученное пространством, теплеет, выпрямляется, припоминает длину пути. Хребтовые тропы бегут мурашами по позвоночнику. Бархатные луга отягощают и щекочат веки. Прележни оврагов вхрамываются в бока, сон мурует тебя, замуровывает...

Последняя мысль: нужно объехать какую-то гряду.

*мемуары*

ПРИМЕЧАНИЯ

---

*литературные*



Автобиографические рассказы О.Мандельштама, вошедшие в его книгу «Шум времени», впервые были изданы кооперативным издательством «Время» в апреле 1925 г. Там они составляют одно целое с циклом «феодосийских рассказов», задуманных и написанных отдельно от них. Печатаются по этому изданию с проверкой по книге: М а н д е л ь ш т а м О. Египетская марка. Л.; М., 1928, куда те же рассказы вошли, подвергшись некоторой редакционной правке.

Писались рассказы, за исключением последнего, созданного годом позднее, в августе-сентябре 1923 г. в Гаспре. Книга охватывает годы с 1894-го, каким отмечен переезд семьи Мандельштамов на жительство в Петербург, по 1907-й — год окончания будущим поэтом Тенишевского училища. Из отзывов современников, передающих свое впечатление от книги, важно свидетельство Ахматовой. Перечитывая книгу в конце 1950-х годов, она записала: «Кроме всего высокого и первозданного, что сделал ее автор в поэзии, он еще умудрился быть последним бытописателем Петербурга. У него эти полузабытые и многократно оболганные улицы возникают во всей свежести 90-ых, 900-ых годов... А его театр — о Комиссаржевской, про которую он не говорит последнего слова: королева модерна... а запахи Павловского вокзала, которые преследуют меня всю жизнь. И все великолепие военной столицы, увиденное сияющими глазами пятилетнего ребенка, — а чувство иудейского хаоса и недоумения перед человеком в шапке (за столом)! Иногда эта проза звучит как комментарий к стихам, но нигде М. не подает себя как поэта, и если не знать его стихов, не догадаешься, что это проза по-

эта. Все, о чем он пишет в «Шуме времени», лежало в нем где-то очень глубоко — он никогда этого не рассказывал...»

С. 21. *Музыка в Павловске.* — По справочнику «Весь Петербург», в 1894—1896 гг. семья купца 2-й гильдии Хацкеля (Эмиля) Мандельштама жила в Павловске, дворцовом пригороде Петербурга (став купцом 1-й гильдии, отец Мандельштама получил право на жительство в самой столице). К этому времени относятся первые жизненные впечатления поэта, начиная с симфонических концертов, устраиваемых в помещении Павловского вокзала, куда его водила мать.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,  
Скрипичный строй в смятении и слезах,  
Ночного хора дикое начало  
И запах роз в гниющих парниках,  
Где под стеклянным небом ночевала  
Родная тень в кочующих толпах, —

скажет он в стихотворении 1921 г. «Концерт на вокзале» (мать, Флора Осиповна Мандельштам, умерла в 1916 г.).

История музыкальных концертов в Павловске такова. 22 мая 1838 г., когда уже началось движение по Царско-сельской, первой в России железной дороге, возле ее конечной станции в Павловске открылось увеселительное заведение с концертной эстрадой и рестораном — «Вокзал», названный так по примеру лондонского Vaux-Hall (от имени владельца). Означать любую железнодорожную станцию это название стало позднее. Деревянное с двумя крыльями здание «Вокзала» — двухъярусное, с высокими от пола окнами в частых переплетах и «лесом» колонн в зале — выстроено было по проекту А.И.Штакеншнейдера. Летние концерты в Павловске явились первым постоянным симфоническим заведением в России. В 1856—1865 гг. концертами руководил Иоганн Штраус. Обстановка «на музыке в Павловске» описана в «Идиоте» у Достоевского. С войной 1914 г. заведение пришло в упадок, после революции концерты устраивались лишь эпизодически. В войну 1941 г. здание сгорело.

*Я помню хорошо глухие годы России...* — Очевидная аллюзия на стихи А.Блока:

Рожденные в года глухие  
 Пути не помнят своего.  
 Мы — дети страшных лет России —  
 Забыть не в силах ничего.

*...разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара...* — В октябре 1894 г. по обвинению в немецком шпионаже подвергся аресту капитан артиллерии при французском Генеральном штабе, еврей по национальности Альфред Дрейфус. Началось дело, до конца столетия будоражившее общественное мнение Европы. Под сомнение ставилась вся система правосудия республиканской Франции. Военный суд приговорил Дрейфуса к пожизненному заключению, которое он отбывал на Чёртовом острове близ французской Гвианы. В 1896 г. новый начальник французской контрразведки полковник Пикар изобличил подлинного виновника измены — майора Эстергази, однако суд над последним закончился его оправданием и взятием под стражу Пикара. Последовало: громовая статья Э.Золя, присуждение писателя к тюремному заключению, затем новое разбирательство всего дела в 1899 г., вторичное осуждение Дрейфуса и его амнистия в том же году указом президента. Полная реабилитация Дрейфуса состоялась только в 1906 г.

*...туманные споры о какой-то «Крейцеровой сонате»...* — Повесть Л.Н.Толстого, радикально ставившая вопросы половой морали, увидела свет в 1891 г. по личному разрешению Александра III.

*Капуль* — мужская прическа с локонами, спускающимися на лоб (от имени французского тенора Виктора Капуля, гастролировавшего в Петербурге в 1870-х гг.). «*À la кок*» — прическа с торчащей кверху прядью надо лбом (от фр. соq — петух).

*Галкин* Николай Владимирович (1850—1906) — скрипач и дирижер, концертами в Павловске дирижировал еженедельно с 1892 по 1903 г.

*Увертюра двенадцатого года* — «1812 год» П.И.Чайковского (1880).

С. 22. *Фигнер* Николай Николаевич (1857—1918) — брат революционерки В.Н.Фигнер, лирико-драматический тенор, первый и лучший исполнитель партии Германа в «Пиковой даме», до 1903 г. ведущий артист Мариинской сцены.

«*Нива*» — иллюстрированный еженедельный журнал, издававшийся в Петербурге А.Ф.Марксом. С 1891 г. при



журнале стали выходить ежемесячное «Литературное приложение» и собрания сочинений русских писателей. «Новь» — ежемесячный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге А.М.Вольфом. «Вестник иностранной литературы» с приложениями выходил в Петербурге ежемесячно с 1891 г. «Всемирная панорама» — журнал «Всемирная иллюстрация» с отдельными художественными приложениями, лучший из русских иллюстрированных журналов, выходил в Петербурге еженедельно в 1869—1898 гг.

...опыт господина Фуко: металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара... — В 1851 г. физик Леон Фуко произвел опыт, наглядно доказавший вращение Земли. Огромный маятник с подвешенным книзу металлическим шаром должен был сохранять плоскость своего качания, однако вращение земного шара создавало видимость, что маятник «скользит», отклоняясь на запад от контрольной черты.

С. 22—27. ...выражение «*fin de siècle*», конец века, повторявшееся с легкомысленной гордостью... — К выражению примешивался оттенок декаданса, упадка, обязанный произведениям новейшей символической школы, родиной которой была Франция.

С. 27. На Невском, в здании костела Екатерины... — Храм св. Екатерины, с круглой скульптурой по фасаду, построенный в 1763—1783 гг. архитектором Ж.-Б.Валлен-Деламотом. Отец Антуан Лагранж, по справочнику «Весь Петербург», — иеромонах этого храма, проповедник французской общины.

Знаменитая контора... на Владимирской улице... — Контора Копаныгина и К°.

...следы бури, которая называлась *galà* или «бенефис». — В помещении Павловского вокзала «несколько раз в лето устраивались платные балы... Середина курзала освобождалась от стульев, военный оркестр играл танцы, которыми дирижировал балетный артист Берестовский. Публики бывало много... Выдавались призы за красоту, за лучшее исполнение танцев... Устраивались костюмированные балы» (З а с о с о в Д., П ы з и н В. Из жизни Петербурга 1890—1910-х годов. Л., 1991. С. 202).

По Гороховой до Александровского сада ходила «каретка»... — По воспоминаниям А.Ф.Кони («Петербург. Воспоминания старожил»), «кареткой» назывался одноконный экипаж, в населении прозванный «рыболовом» из-за фигуры кучера на козлах с длинным бичом в руках.

*Александровский сад* — широкий бульвар перед зданием Адмиралтейства.

*Конки* — экипажи конной железной дороги, открытой в 1863 г. с проложением рельсов по Невскому проспекту.

С. 28. *Конный памятник Николаю I против Государственного совета...* — Памятник по проекту О.Монферрана (скульптор П.К.Клодт) сооружен в 1856—1859 гг. на Исаакиевской площади, напротив выстроенного раньше А.И.Штакеншнейдером Мариинского дворца. В 1884 г. дворец был передан в казну и приспособлен для заседаний Государственного совета.

*...замшелый от старости гренадер...* — Инвалид роты дворцовых гренадеров, сформированной в 1827 г. из чинов гвардии, участников войны 1812 г., для несения почетной дворцовой службы. Другой старик-гренадер стоял на часах у Александровской колонны на Дворцовой площади.

*Вход в Летний сад... где решетки и часовня...* — При входе со стороны Невы Летний сад ограждает знаменитая решетка Ю.М.Фельтена. 4 апреля 1866 г. у ворот сада раздался выстрел Каракозова; в годовщину царского спасения на том самом месте освятили часовню (ныне не существует).

*Мы ходили гулять по Большой Морской... где красная лютеранская кирка...* — Здание Реформатской немецкой церкви из неоштукатуренного кирпича, увенчанное шпилем колокольни, высилось на месте слияния Б.Морской ул. с набережной Мойки (ныне неузнаваемо перестроено).

*...к Крюкову каналу, голландскому Петербургу эллингов и нептуновых арок...* — От Реформатской церкви мимо казарм морского Гвардейского экипажа путь по набережной Мойки вел к Крюкову каналу и расположенной за ним «Новой Голландии» — небольшому островку морского ведомства, образованному Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами, со знаменитой аркой над внутренним каналом (сооружена в 1770-х гг. Ж.-Б.Валлен-Деламотом). *Эллинг* — крытое помещение для постройки судов и спуска их на воду.

С. 29. *...гранитные и торцовые кварталы...* — На главных улицах, набережных и по направлениям возможных царских проездов мостовые города выстлались «торцами» — шестиугольными деревянными шашками, замазанными сверху газовой смолой и посыпан-

ными крупным песком. Торцы сменяли прежние гранитные брусчатки.

*...карпатоидами Эрмитажа...* — То есть фигурами десяти атлантов, образующих входной портик Нового Эрмитажа (скульптор А.И.Теребенев).

*...таинственной Миллионной...* — Улица, соединяющая Дворцовую площадь с Марсовым полем.

*...дырявый лес знамен...* — В Казанском соборе на Невском пр., с гробницей М.И.Кутузова в северном приделе, размещалось 107 французских знамен — трофеев 1812 г.

С. 30. *...майский парад на Марсовом поле.* — Этим парадом, возобновленным с началом царствования Николая II, завершался зимний военный сезон в Петербурге. Участвовали все войска петербургского гарнизона. Позади царской ложи, расположенной близ Летнего сада, строились вдоль Летней (Лебяжьей) канавки во всю длину поля открытые трибуны для зрителей.

*Увидеть кавалерийскую лаву!* — Атакой кавалерийской «лавы» заканчивался парад. «Постепенно кавалерийские полки выстраивались в резервные колонны, занимая всю длину Марсова поля, противоположную Летнему саду. Перед этой конной массой выезжал на середину поля сам генерал-инспектор кавалерии Николай Николаевич. Он высоко подымал шашку в воздух. Все на мгновение стихало. Команды не было; шашка опускалась, и по этому знаку земля начинала дрожать под копытами пятитысячной конной массы, мчавшейся к Летнему саду. Эта лавина останавливалась в десяти шагах от царя» (А.А.Игнатьев. «Пятьдесят лет в строю»).

С. 31. *...по случаю похорон наследника.* — Старший из двух младших братьев Николая II цесаревич Георгий Александрович скончался 28 июня 1899 г.

*...у Аничкова...* — То есть у Аничкова дворца на углу Невского пр. и набережной Фонтанки, где жила вдовствующая императрица Мария Федоровна.

*...бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов...* — Латы (кирасы) и металлические шлемы (каска) с орлами были присвоены в качестве парадной смотровой формы кирасирским полкам гвардейской тяжелой кавалерии — конногвардейскому, кирасирскому и кавалергардскому.

*...конногвардейский праздник на Благовещенье.* — Полковым храмом конногвардейцев считался Благове-

щенский собор на одноименной площади перед Николаевским мостом. Праздник в день Благовещения — 25 марта.

*...спуск броненосца «Ослябя»...* — Состоялся на верфи Нового Адмиралтейства в октябре 1898 г. Броненосец погиб в Цусимском бою 27 мая 1905 г.

С. 32. *Лайки и опойки* — выделанные собачьи и телячьи шкуры. Отец Мандельштама, Эмиль Вениаминович, был дипломированным «мастером перчаточного дела и сортировщиком кож».

С. 33. *Дни студенческих бунтов у Казанского собора...* — Их традиция восходит к известной демонстрации 6 декабря 1876 г., на которой с речью выступил Г.В.Плеханов и был поднят красный флаг общества «Земля и воля». 4 марта 1897 г. здесь прошла траурная демонстрация в связи с гибелью студентки М.Ф.Ветровой, доведенной до самоубийства в Петропавловской крепости. В феврале-марте 1901 г. протестовали против изданных «Временных правил об отдаче в солдаты студентов за участие в волнениях». Собравшиеся на площади 4 марта студенты и рабочие (до 15 тысяч) подверглись жестокому избиению со стороны казаков.

*...уводили в Михайловский манеж...* — Манеж Михайловского (Инженерного) замка между Садовой и Караванной улицами за Невским пр. Здание с пролетом в 34 метра выстроено архитектором В.Ф.Бренной в 1800 г.

*Похороны Александра III*, умершего в Крыму, состоялись по прибытии траурного поезда в Петербург 20 ноября 1894 г.

*На Невском, где-то против Николаевской...* — Николаевская улица (ныне ул. Марата) отходит от левой стороны Невского пр., вблизи Московского вокзала.

С. 34. *...мимо шоколадного здания Итальянского посольства.* — Мойка, 86. Итальянским посланником был маркиз Маффеи, умерший в 1897 г.

*...от Гороховой до арки Генерального штаба.* — Большая Морская улица (стала просто Морской после переименования в 1902 г. Малой Морской в улицу Гоголя) пересекает Невский пр. и соединяется с Дворцовой площадью проходом под знаменитой аркой Главного штаба.

*...живая выставка английского магазина и жокей-клуба.* — Богатые универсальные магазины — Английский, помещавшийся в здании на углу Б.Морской

и Невского пр., и «Жокей-клуб» — напротив Гостиного двора.

*Елисейские поля* — всемирно известная улица в Париже — соединительное звено между площадью Конкорд и Булонским лесом.

*...одна швейцарка, впрочем, попалась кальвинистка...* — Гувернантка Мандельштама принадлежала французской реформатской церкви, устроенной в Швейцарии суровым диктатором Жаном Кальвином (1509—1564).

С. 35. *«Песенка о Мальбруке»* — «Мальбрук в поход собрался...», французская шуточная песня, родившаяся в начале XVIII в. в насмешку над английским полководцем герцогом Мальборо. В конце того же века стала модной колыбельной песенкой в Париже. У Достоевского в «Преступлении и наказании» ее пытается петь на улице обезумевшая Катерина Ивановна: «Это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей».

*Иль-де-Франс* — прежнее название провинции, в центре которой лежит Париж.

*...однообразной красоты пехотных ратей и коней...* — Из пушкинского «Медного всадника»:

Люблю воинственную живость  
Потешных Марсовых полей,  
Пехотных ратей и коней  
Однообразную красоту...

*Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной...* — Мысль Мандельштама восходит к знаменитым стихотворениям Тютчева «День и ночь» и:

Святая ночь на небосклон взошла,  
И день отрадный, день любезный,  
Как золотой покров она свила,  
Покров, накинутый над бездной...  
И как виденье, внешний мир ушел...  
И человек, как сирота бездомный,  
Стоит теперь и немощен и гол,  
Лицом к лицу пред пропастью темной.  
.....  
И чудится давно минувшим сном  
Ему теперь все светлое, живое...  
И в чуждом, неразгаданном, ночном  
Он узнает наследье роковое.

...*крючками шрифта нечитаемых книг «Бытия»*... — В следующей главе упоминаются «рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами», то есть книги еврейской Торы («Закона») — первые пять книг Библии — Пятикнижие Моисеево — с комментариями.

...*клочками черно-желтого ритуала*. — В памяти Мандельштама черно-желтая расцветка ассоциировалась, вероятно, с еврейским талесом (таллитом) — молитвенным покрывалом старого типа, — тем, которым некогда накрывал его голову дед (см. в главе «Хаос иудейский»). В стихах эта цветовая гамма участвует в характеристике густо сакрализованного, без выхода в лазурь, замкнутого на себя пространства, исторически бесчувственного к знамениям времени, к христианскому ощущению катастрофичности бытия. Таков Израиль в век Голгофы и разрушения Храма, такова идея русской церковной государственности накануне крушения:

Он говорил: «Небес тревожна желтизна.  
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!»  
А старцы думали: не наша в том вина;  
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.

(«Среди священников левитом молодым...», 1917)

*Вейки* (от фин. *veikka* — брат). — «Вейками назывались те финны, «чухонцы», которые, по давней поблажке полиции, стекались в Петербург из пригородных деревень в воскресенье перед Масляной и в течение недели возили жителей столицы. Звук их бубенчиков, один вид их желтеньких белогривых и белохвостых сытых и резвых лошадок сообщал оттенок какого-то шаловливого безумия нашим строгим улицам... Дети обожали их» (А.Бенуа. «Мои воспоминания»).

...*новый год в сентябре... Рош-Гашана и Иом-Кипур*. — Новый религиозный год начинается у евреев в определяемый новолунием первый день месяца Тишрей (в сентябре). Это день Рош-Гашана, знаменующий начало десяти дней покаяния (Дней Трепета), завершающихся великим Судным днем — Иом-Кипур.

С. 36. ...*в немецкой Риге, у дедушки и бабушки*. — По архивным сведениям, дед поэта Вениамин Зунделович, кожевник по профессии, и бабушка Мерэ Абрамовна в первое десятилетие XX века действительно жили по указываемому адресу. Семейная родина Мандельштама — латышско-литовские земли, старая Курляндия

(местечко Жагоры Шавельского уезда Ковенской губернии).

С. 37. *Он пришел со своей Торговой улицы...* — Район Торговой улицы за Мариинским театром и Крюковым каналом описывается в главе «Хаос иудейский» как специфически еврейский.

*...Пушкин в издании Исакова семьдесят шестого года.* — В этом году в издаваемой Я.А.Исаковым серии «Классная библиотека для средних учебных заведений» увидели свет «Борис Годунов», «Полтава» и «Медный всадник».

С. 38. *...идиотская цветовая азбука Рембо!* — Знаменитый «цветной сонет» Артюра Рембо (1854—1891) под названием «Гласные», где звучание каждой гласной буквы воспринимается на свой цвет с соответственными рядами ассоциаций.

*Слово «интеллигент» мать и особенно бабушка выговаривали с гордостью.* — Мать Мандельштам, Флора Осиповна, происходила из виленской интеллигентской семьи Вербловских, в родстве с Венгеровыми, Слонимскими, Кассирерами.

*...после 37-го года и стихи журчали иначе.* — То есть после гибели Пушкина.

С. 39. *...книгу, раскалившуюся от прикосновений...* — Книга «Стихотворений» С.Я.Надсона (1862—1887) увидела свет в 1885 г. Ее ошеломительный успех требовал все новых и новых изданий, в 1890 г. их было уже десять.

*...он все будет петь свой идеал и страдающее поколенье...* — Поэтическая слава Надсона началась со стихотворения «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...», опубликованного в январе 1881 г., — первого, «ударившего по сердцам (и по моему в том числе)», — писал поэт-народоволец П.Ф.Якубович.

*Кто он такой — этот деревянный монах...* — Этот образ монаха «революционного ордена» Мандельштам применяет в стихотворении 1912 г., говоря о своем революционном прошлом:

И деревянной поступью монаха  
Мощный двор когда-то мерял ты,  
Бульжники и грубые мечты —  
В них жажда смерти и тоска размаха...

(«Паденье — неизменный спутник страха...»)

С. 40. ...*дневники и письма Надсона...* — Вошли в издание: Н а д с о н С.Я. Проза. Дневники. Письма. СПб., 1912.

*Стюарт Милль* (1806—1873), *Томас Бокль* (1821—1862) — английские мыслители, чьи труды повернули развитие общественных наук в сторону освобожденно-го от метафизики «позитивного» знания. В русской разноточинной среде со времени Чернышевского их чтение считалось обязательным.

*Как высокие просмоленные факелы, горели всенародно народовольцы с Софьей Перовской и Желябовым...* — Образ напоминает о картине Г.И.Семирадского «Светочи христианства» (1877) — сцена сожжения первых христиан при Нероне. Красочная картина, будившая ассоциации с судьбой народнического поколения, имела шумный успех. Отдельную статью посвятил ей Вс.М.Гаршин.

*Семен Афанасьевич Венгеров* (1855—1920) — двоюродный брат матери Мандельштама, исследователь и библиограф русской литературы, защитник ее общественных начал, автор монографии «Героический характер русской литературы» (1911). С 1906 г. руководил Пушкинским семинарием в университете. Созданная им литературная картотека вмещала около 2 млн карточек. *Загородный*, где жил Венгеров, — проспект, тянущийся от Владимирской пл. до Забалканского (Московского) пр.

С. 41. ...*часто переезжали с квартиры на квартиру.* — Насчитывается до 17 адресов, по которым жила семья Мандельштамов до революции. В 1897—1898 гг. это — *Максимилиановский переулок*, 14, откуда был виден *скачущий Николай* — памятник Николаю I в перспективе Вознесенского пр., *Офицерская*, 17 — адрес 1899—1900 гг., — *поблизости от «Жизни за царя»*, то есть Мариинского театра, ежегодно начинавшего свой сезон оперой Глинки.

...*любитель Ивановых огней и медвежьей польки на лужайке Народного дома...* — То есть костров, возжигаемых в день Ивана Купалы (11 июня по ст. ст.), — праздник со своими обычаями, популярный и среди балтийских народов. В 1900 г. на месте вблизи Петропавловской крепости, в части Александровского парка, открылся Народный дом — учреждение Общества трезвости, оборудовавшего это место под аттракционы и другие зрелищные заведения. В 1911 г. там же выстроили здание



Народного дома императора Николая II с большим Оперным залом (ныне перестроено).

...небритый и зеленоглазый, как его называл Блок. —

...темный говор  
Небритых и зеленоглазых финнов...  
(«В дюнах», 1907)

*Летом в Териоках...* — Там семья проводила лето в 1898—1899 гг.

С. 42. ...из николаевских солдат-евреев... — Евреев стали брать в рекруты по уставу 26 августа 1827 г. при Николае I (раньше воинская повинность отбывалась ими путем денежного сбора).

...картонная шведская крепость... — Выборгская крепость, сооруженная в XV в. и взятая в 1710 г. Петром I.

*Гостиница «Бельведер», где потом собиралась Первая Дума...* — 9 июля 1906 г., в день разгона I Государственной думы, сюда съехалось около трети ее депутатов. Было принято воззвание ко всему населению России с призывом не платить податей и не давать государству рекрутов, — оно успеха не имело. В следующем году подписавших его (169 человек) приговорили к трем месяцам тюрьмы.

С. 43. ...картинка: простоволосая девушка Суоми... — Смысл картинки, тогда размноженной на открытках, в следующем: русский державный орел вырывает у автономного Великого княжества Финляндского его конституционные права. Пренебрежение этими правами усматривалось в царском манифесте от 3 февраля 1899 г., по которому положения, имеющие связь с общеимперскими потребностями, такие, как воинская повинность, должны были решаться императорской властью.

С. 44. *Хаос иудейский.* — Образ, определяющий название главы, имеет отношение к бесструктурному (и потому не подлежащему поэтическому изображению) началу жизни — физиологии, быту, материальному миру вещей. Противоположный образ несет в себе вознесшийся «из топи блат» город, каким он предстает на страницах книги.

...из местечка Шавли... — Шавли (Шяуляй) — уездный город Ковенской губернии.

...за тюремным ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка. — Здание, увенчанное фигурами двух

ангелов с крестом, стояло на углу Офицерской ул. за Крюковым каналом. Строилось в готическом стиле по проекту И.Е.Старова в 1780-х гг., потом перестраивалось под городскую тюрьму; сгорело в первый день революции — 27 февраля 1917 г.

*Синагога с коническими своими шапками...* — Построенная в мавританском стиле синагога открылась в 1893 г. на углу Офицерской и Б.Мастерской улиц.

*Еврейский корабль... расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину.* — В еврейских храмах, с Ковчегом Завета напротив входа, места для мужчин и женщин строго отделялись одни от других. В петербургской синагоге женщины устраивались на хорах, где над входными дверьми было помещение для певчих.

*Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание...* — Кантор — запеваля в синагогальном хоре. Сравнение проведено с Самсоном, одним из судей израильских, кто, показывая свою силу, растерзал голыми руками льва, «как козленка» (Суд. 14:6).

С. 45. *Барон Гинцбург* — Гораций Осипович Гинцбург (Нафтали Герц, 1833—1909), барон гессен-дармштадтский, банкир и меценат, председатель Общества просвещения между евреями в России, управитель общинными делами евреев Петербурга. Благодаря его влиянию было принято решение построить в столице синагогу.

*Варшавский* — вероятно, сын крупного железнодорожного дельца и еврейского деятеля А.М.Варшавского (1821—1888).

*В детстве я совсем не слышал жаргона...* — То есть языка идиш, образовавшегося из немецкого в смеси с еврейскими выражениями и словами. Такой язык принесли с собой в Восточную Европу евреи, бежавшие из Германии во время средневековых гонений.

С. 46. *...Спиноза разводит в банках своих пауков.* — За свободу своих пантеистических взглядов, включавших убеждение в необходимости изучать наряду с идеальным реальный миропорядок, Барух Спиноза (1632—1677) подвергся отлучению от еврейской общины Амстердама. Занимаясь для пропитания шлифовкой стекол, он на досуге, как сообщается его современником, «ловил и стравливал нескольких пауков» и, наблюдая за их борьбой, «разражался громким смехом».

*...бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу...* — Вероятно, это — Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, открывшаяся в Берлине в 1872 г.

*...чтобы запомнить конспиративную молочную лавку на Караванной, откуда подводили мину под Александрра...* — Это была сырная лавка, нанятая народовольцами на углу Невского пр. и Малой Садовой ул. Минный подкоп из нее шел под улицей. 1 марта 1881 г. Александр II поехал в Михайловский манеж другим путем и, возвращаясь в Зимний дворец, встречен был бомбами на Екатерининском канале.

С. 47. *Когда меня везли в город Ригу...* — В 1901 г. *Дерпт* — ныне г. Тарту в Эстонии.

*Ферейны* (от нем. Verein — союз, общество) — здесь: студенты-корпоранты Дерптского университета.

С. 48. *...дедушка вытащил из ящичка комода черно-желтый шелковый платок...* — Талес, молитвенная накидка у евреев.

*Прадед Вениамин...* — Отца Мандельштама звали в семье «дедом», потому, вероятно, его настоящий дед назван здесь прадедом.

С. 49. *Бильдерлингсгоф* — латышский Булдури, *Дуббельн* — Дубулты, *Майоренгоф* — Майори.

*...лошадиным маршем прекрасной Каролины.* — По-видимому, «Каролиненгалоп» Иоганна Штрауса-старшего (1804—1849).

*Буриши-корпоранты* — немецкие студенты, члены своих корпораций.

*«Смерть и просветление»* — симфоническая поэма Рихарда Штрауса (1864—1949).

*Патетическая симфония* — шестая, последняя симфония П.И.Чайковского (1893).

*...было слышно, как перекликались два струнных гнезда.* — В оркестрах, расположенных в кургаузе еврейского Дуббельна и неподалеку в немецком Майоренгофе, в саду гостиницы Хорна.

*...желанье Нечочки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным польем шелковых занавесок.* — Звуки сладкой музыки, доносящиеся из окон богатого дома с красными занавесами, рождают у девочки мечту о жизни как о вечном празднике («Нечочка Незванова»).

Ср. в одном из самых ранних стихотворений Мандельштама (1908):

Мой тихий сон, мой сон ежеминутный —  
 Невидимый, замороженный лес,  
 Где носится какой-то шорох смутный,  
 Как дивный шелест шелковых завес...

С. 50. ...к шелковому пожару *Дворянского собрания и тщедушному Скрябину*... — Дворянское собрание — здание на углу Михайловской площади в Петербурге, с белоколонным трехсветным залом. Речь здесь идет о первом исполнении в Петербурге симфонической поэмы Скрябина «Прометей», иначе называемой «Поэмой Огня». Концерт с участием автора (фортепьяно) прошел 9 марта 1911 г. Громадный оркестр под управлением С.А.Кусевицкого включал орган и появляющийся к концу хор, поющий без слов на разные гласные звуки.

...звукоприемник... — Сведений об этом акустическом устройстве не найдено.

С. 51. *Концерты Гофмана и Кубелика*. — Польский пианист Иосиф Гофман (1876—1957) и чешский скрипач-виртуоз Ян Кубелик (1880—1940) неоднократно гастролировали в России. Традиция великопостных концертов, даваемых обычно наезжими знаменитостями, восходит в Петербурге ко времени Екатерины II; они проводились, когда театры по случаю поста были закрыты.

*Трабанты* (от нем. *Trabanten*) — телохранители. *Здесь*: неистовые поклонники.

...горящий ледяной дом... — То есть ярко освещенный изнутри — воспоминание о «Ледяном доме» времен императрицы Анны.

С. 54. *На Загородном, во дворе огромного доходного дама*... — Там помещалась «Общеобразовательная школа кн. В.Н.Тенишева», преобразованная через год в Тенишевское училище. Мандельштам поступил в эту школу в 1899 г.

...шустовской вывеской... — Реклама коньячной фирмы «Н.Л.Шустов и сын», поставщика Высочайшего двора.

*Память торжество*... — Открытие Тенишевского училища 8 сентября 1900 г. Восьмилетняя школа входила в сеть состоявших в ведении Министерства финансов коммерческих училищ, устраиваемых по плану министра С.Ю.Витте. Здание на Моховой ул., выстроенное для училища в 1899—1900 гг. на средства В.Н.Тенишева,

включало в себя амфитеатр на 600 мест, крытый стеклянным потолком, небольшую обсерваторию, учебную оранжерею. Воспитание было подчеркнуто передовым: социальные и религиозные перегородки отсутствовали, подход к занятиям преобладал естественно-научно-позитивный, поощрялся спорт, успехи учащихся оценивались на конференциях преподавателей и на основе их письменных отзывов, — без переводных экзаменов и оценочных отметок.

Мандельштам перешел в училище из Тенишевской общеобразовательной школы, поступив во 2-й класс, — окончил с третьим выпуском весной 1907 г.

*Про Витте все говорили, что у него золотой нос...* — Обывательская шутка, намекающая на «золотую» реформу Витте: перевод монетной единицы на золото (1897).

*...доктор-гигиенист Вирениус.* — Александр Самойлович Вирениус (1832—1910), эксперт по школьно-санитарной части Петербургского учебного округа.

*...как ребенок с банки Нестле.* — Банки с детской мукой производства известной фирмы.

*Другой гигиенист, профессор князь Тарханов...* — Или Тархан-Моуравов Иван Романович (1846—1908), физиолог, профессор Медико-хирургической академии, потом Петербургского университета.

С. 59. *Литературный фонд* — Общество Литературного фонда (для пособия нуждающимся литераторам и ученым) образовалось в Петербурге в 1859 г. по инициативе А.В.Дружинина.

*...старик Исай Петрович Вейнберг... читал неизменно: «Бесконечной пеленою развернулось предо мною...»* — Имя поэта-переводчика Петра Исаевича Вейнберга (1831—1908), председателя Литературного фонда в 1900-х гг., иронически переименовывается Мандельштамом, вероятно, из-за несоответствия библейской наружности Вейнберга другому его облику. Гражданскую славу принесли ему два оригинальных стихотворения — «Он был титулярный советник...» и «Море». Ср. «Из записей» И.А.Бунина — свидетельство, относящееся к вечеру Литературного фонда в 1895 г.: «Вейнберг потрясал залу своим громким, театрально-вдохновенным голосом, читая то, что читал, как я узнал впоследствии, неизменно на каждом таком вечере, — стихи «К морю», которое, конечно, втайне означало всякие конституционные свободы:

Бесконечной пеленою  
 Развернулось предо мною  
 Старый друг мой, — море!  
 Сколько мощи необъятной,  
 Сколько воли благодатной  
 В царственном просторе!

...*александринский актер Самойлов...* — Павел Васильевич Самойлов (1866—1933) из династии актеров Александринского театра.

...*стихотворение Никитина «Хозяин»*. — Отрывок из этого стихотворения И.С.Никитина (1824—1861), положенный на музыку В.Калинниковым, стал популярной песней («На старом кургане, в широкой степи» и т.д.).

*Ведринская* Мария Андреевна (1877—1947) — артистка Александринского театра и Театра В.Ф.Комиссаржевской.

«*Я пришел к тебе с приветом...*» — популярное стихотворение Фета.

*Теперь гражданские выступления*. — Преимущественно описывается время, наступившее за опубликованием закона о выборах 11 декабря 1905 г., — время подготовки и проведения (27 апреля — 9 июля 1906 г.) заседаний I Государственной думы.

*Ковалевский Максим* Максимович (1851—1916) — выдающийся историк-юрист, исследователь и проповедник английской системы государственного права, родоначальник русского политического масонства XX века, в I Государственной думе представлял партию демократических реформ. *Петрункевич* Иван Ильич (1844—1928) — помещик Тверской губ., патриарх земского конституционного движения, приведшего к образованию партии конституционных демократов в октябре 1905 г. (ее первый открытый съезд проходил в зале Тенишевского училища в апреле 1906 г.). Он возглавлял партию кадетов в I Государственной думе. *Родичев* Федор Измайлович (1856—1933) — сподвижник И.И.Петрункевича, депутат I—IV Государственных дум от кадетской партии, ее признанный оратор. *Анненский Николай Федорович* (1843—1912) — брат поэта Инн.Ф.Анненского, деятель либерально-народнического движения из ближайшего круга журнала «Русское богатство», в 1906 г. один из организаторов партии народных социалистов. *Батюшков* Федор Дмитриевич (1857—1920) — профессор, историк литературы и литературный критик, сто-

ронник «гуманитарного прогресса». *Овсянников-Куликовский* — Овсяннико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920) — литературовед и критик-общественник, автор многотомного труда «История русской интеллигенции». Его имя у Манделштама звучит скорее нарицательно, выражая собой направление либерально-позитивистской мысли (и языка) того времени. Что написанное «на языке Овсянниковых-Куликовских» «горше, хуже», чем на языке «междуведомственном», — замечено в дневнике А.Блока (запись от 20 октября 1911 г.).

С. 60. ...*семья дружит с Стасюлевичем («Вестник Европы»)*... — Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), редактор-издатель (с 1866 г.) либерально-демократического журнала «Вестник Европы». В 1906 г. его сотрудники участвовали в создании партии демократических реформ с ее тезисом: наследственная конституционная монархия.

С. 61. *Борис Синани* — о нем дальше, в главе «Семья Синани».

*Острогорский* Александр Яковлевич (1868—1908) — директор Тенишевского училища со дня основания, автор труда о коммерческом образовании (1895) и учебной, признанной лучшей, хрестоматии «Живое слово. Книга для изучения родного языка» (тт. 1—3, 1907—1909). Как учредитель Общества для содействия свободному образованию (1906), он так определял его цели: «Развитие личности путем воспитания в учащемся своего человеческого достоинства, выработка свободного сознания необходимости и ценности разумного поведения. Последнее достигается на почве взаимного доверия и уважения между учащими и учащимися. Не подавлять личность в угоду какой-то внешней, для всех одинаковой цели. Воспитание путем воздействия одним только убеждением на ум и сердце учащегося» (см.: Новое время. 1906. 25 октября).

*Он любил Блока... и печатал его в своем «Образовании»*. — Журнал, с 1896 г. выходивший под редакцией А.Я.Острогорского, был им преобразован из специально педагогического в обычный литературный. Стихи Блока печатались здесь в 1907—1908 гг.

С. 62. ...*в проспиртованных аудиториях Военно-Медицинской или в длиннейшем «jeu de raite» меншиковского университета...* — Места массовых студенческих сходок, последовавших за трагическими собы-

тиями 9 января 1905 г. Местом для «игры в мяч» здесь называется, очевидно, длиннейший коридор на втором этаже университета, — по аналогии с «Корпусом для игры в мяч» — местом собрания французских Генеральных штатов в 1789 г. («Меншиковским» Петербургский университет может быть назван по исторической связи всего этого места на стрелке Васильевского острова с именем петровского сподвижника.) 7 февраля 1905 г. на громадной студенческой сходке в актовом зале и в коридоре университета приняли решение, аналогичное принятому когда-то Генеральными штатами: бастовать «до Учредительного собрания». 18 марта правительство закрыло все высшие учебные заведения «ввиду невозможности оградить желающих учиться от насилий забастовщиков».

Сходки и митинги, открытые для всех посторонних, возобновились с объявленной 27 августа «автономией университетов». Преобладали ораторы от большевиков (среди них Б.М.Кнунянц, студент Технологического института, член Петербургского комитета РСДРП). Именно на митинге в актовом зале и во дворе университета 11 октября рабочими было решено начать со следующего дня всеобщую политическую стачку. «Наш долг ответить на их забастовку нашею», — объявили учащиеся средних учебных заведений, собравшись на митинг 13 октября (места их собраний указываются: анатомическое отделение Военно-медицинской академии, XIII аудитория университета, одно из помещений Академии художеств). В Тенишевском училище всех — учителей и учеников — собрал на сходку сам директор А.Я.Острогорский.

*...миг, когда — раз, два, три — моргнул Невский длинными электрическими ресницами, погрузился в краешнюю ночь... — День 14 октября 1905 г. Ср. у Д.С.Мережковского («Зимние радуги»): «Осенью 1905 года я как-то раз вечером шел по Невскому. Вдруг все электрические фонари потухли. Наступила темнота, словно черное небо обрушилось. Подростки-хулиганы засвистели пронзительно, и раздался звон разбитого стекла. По направлению от Аничкина моста к Литейной бежали черные толпы... слышались или почудились выстрелы. Было страшно, как во сне».*

*Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил... — Н.С.Гумилев. В рецензии на книгу стихов Игоря Северянина «Громокипящий кубок»*



(Аполлон. 1914. №1) он писал о «людях книги», живущих в мире тысячелетних образов, и «людях газеты», «юрких и хлопотливых, врезавшихся в самую гущу современной жизни». «Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрежливостью» — такова была «высокомерная» оценка Гумилева.

С. 63. *Он был клиентом нашего дома...* — Студент «Сергей Иванович» был в доме репетитором у сыновей.

*Он проживал в сотых номерах Невского...* — То есть в одном из домов за Николаевским (Московским) вокзалом в сторону Александро-Невской лавры.

*...неаполитанская Собачья пещера из физики.* — Известная пещера в окрестностях Неаполя, в воздухе которой из-за скопления углекислого газа задыхаются собаки.

*...показывал гороховых шпиков...* — Пальто горохового цвета считалось неременной принадлежностью полицейских сыщиков.

С. 64. *Седлец* (Седльце) — тогда губернский город Привислинского края (царства Польского). *Ровно* — тогда уездный город Волынской губернии Западного края.

С. 65. *...в самые тревожные девятьсот пятые дни...* — Дни полной смуты, наступившие за изданием царского манифеста 17 октября.

*...на Пулковской вышке в астрономической обсерватории.* — То есть в главной русской обсерватории, расположенной на Пулковских высотах под Петербургом.

С. 66. *Юлий Матвееч* Розенталь — близкий друг семьи Мандельштамов.

С. 67. *Меньшиков* Михаил Осипович (1859—1918, расстрелян) — с 1901 г. ведущий публицист газеты государственно-охранительного направления «Новое время».

*Ренан Эрнест* (1823—1892) — французский востоковед и историк христианства, в своей книге «Жизнь Иисуса» представил Христа человеком, разыгрывающим роль мессии.

*...лет через тридцать после первой поездки, очутившись в Париже...* — 3 октября 1907 г. на пути в Париж Мандельштам пишет родным, что с ним едет Юлий Матвеевич.

*Смерть Юлия Матвееча была ужасна.* — «В конечном счете, люди отплатили ему злом за добро, — вспоминал брат поэта Е.Э.Мандельштам. — Орешниковы,

вернее, жена этого купца сумела прибрать старика к рукам. Они как паутиной его оплели: уговорили ликвидировать его квартиру, поселили у себя, вытянули все деньги и в конце концов выселили беспомощного, полуслепого Ю.М. в убогую комнатку в деревянном домике в Лесном. Здесь я с Осей проводывал этого милого человека уже незадолго до его смерти».

*Лесной* — отдаленный район Петербурга на Выборгской стороне.

С. 69. ...*голос умнейшего В.В.Г.* — Владимир Васильевич Гиппиус, преподаватель литературы в Тенишевском училище, — о нем в главе «В не по чину барственной шубе».

...«*Физика*» Краевича. — «Учебник физики» К.Д.Краевича, с первого издания в 1868 г. общепринятый в средних учебных заведениях.

«*Кэпстен*» — марка табака.

...*возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола!* — Учебная оранжерея в Тенишевском училище размещалась в крытом стеклом проходе, соединяющем на уровне второго этажа главное здание с надворным флигелем. Внизу во дворе мальчишки играли в футбол.

*Книжка «Весов» под партией...* — Литературно-критический ежемесячник «Весы» (1904—1909), выходивший в Москве, — главный литературный орган символистов.

...*шлак и стальные стружки с Обуховского завода...* — Крупный сталелитейный завод в селе Александровском близ Петербурга, основанный в 1863 г. компанией во главе с горным инженером П.М.Обуховым. Здесь в мае 1901 г. произошло кровавое столкновение рабочих с полицией и войсками.

*Чернов* Виктор Михайлович (1873—1952) — будущий председатель разогнанного в январе 1918 г. Учредительного собрания, один из основателей партии эсеров в конце 1901 — начале 1902 г., бессменный член ее ЦК и ведущий теоретик по аграрным вопросам. Центральным пунктом его программы, принятой партией, была «социализация земли».

*Михайловский* Николай Константинович (1842—1906) — самое влиятельное имя в народнической публицистике и литературной критике 1870—1890 гг., эпохи журналов «Отечественные записки» и «Русское богатство». В своей «субъективно-социологической» схеме противопоставлял «биологическим» законам общественно-

го развития независимый от них идеал «критически мыслящей» или гармонической личности.

*Лавров* Петр Лаврович (1823—1900) — идеолог раннего народничества, в 1860-х гг. подготовивший идею «хождения в народ». «Уплата долга народу» трактуется в его *«Исторических письмах»* как снятие с интеллигенции ответственности «за кровавую цену своего развития», составляющую «цену прогресса».

С. 70. *...жизть [Аввакума] в павленковском изданы...* — То есть входившее в «Биографическую библиотеку» (180 книжек биографий замечательных людей), с 1890 г. издававшуюся Ф.Ф.Павленковым. Автором жизнеописания Аввакума в этой серии был В.А.Мякотин.

*...здравствуй и прощай Каутский, красная полоска марксистской зари!* — Карл Каутский (1854—1938) — немецкий экономист, один из вождей Германской социал-демократической партии, участвовавший в выработке ее так называемой эрфуртской программы (1891) и написавший книжку под этим названием (в России, с приложением программы Российской с.-д. партии, издана в 1906 г.).

Краткий период своего «детского увлечения марксистской догмой» Мандельштам, спустя два года, свяжет со своими «первыми религиозными переживаниями» (письмо В.В.Гиппиусу из Парижа от 14/27 апреля 1908 г.). То, о чем он пишет ниже в этой главе, — о «космических ощущениях», пережитых им «в известном возрасте» при чтении Каутского, сродни ощущению себя человеком, стоящим на грани исторической «бездны». Ср. признание С.Н.Булгакова: «Да, социализм имеет не только свою апокалиптику, но и свою мистику, которую знает всякий, ее переживший, я мог бы сослаться на свой прошлый опыт. В социализме, особенно в марксизме, есть живое ощущение органического роста, исторического становления, могучего сверхиндивидуального процесса... в нем действительно подслушано биение исторического пульса, есть ощущение исторического прозябания» (Два града. Т. II. М., 1911. С. 39).

*...«и паутинки тонкий волос...»* — Неточно цитируется стихотворение Тютчева «Есть в осени первоначальной...»

*...мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной.* — Знаменательные тютчевские образы в его стихотворениях «Певучесть есть в морских волнах...» и «Святая ночь на небосклон взошла...»

*В тот год в Зегевольде, на курляндской реке Аа...* — В августе-сентябре 1906 г. в Зегевольде (Сигулда), в живописной местности, называемой «ливонской Швейцарией». Лифляндская речка Аа неточно названа здесь курляндской — по другой, одноименной реке, впадающей в Рижский залив южнее.

*...германской ундиной текла романтическая речка...* — Ундина (от лат. unda — волна) — водяная дева, русалка. Название романтической новеллы Фр. де ла Мотта Фуке (1811), переведенной в стихах В.А.Жуковским, — о любви дочери волны к рыцарю. «В романтической «Ундине», — писал Блок, — рыцарь все ищет вечную женственность, а она все рассыпается перед ним водяной струйкой в серебристых струйках потока» («О реалистах», 1907).

*Бурги — здесь: развалины рыцарских замков.*

*...память о недавно утонувшем в речке Коневском.* — Иван Коневский (Иван Иванович Ореус, 1877—1901) — петербургский поэт раннего символизма, прозванный его «утренной жертвой» (утонул, купаясь в реке Аа, были слухи — добровольно). Его стихи, повлиявшие на А.Блока, проникнуты чувством безвозвратного ухода, конечного растворения в том, что есть ветер, «дух листвы». Говоря, что «с Эрфуртской программой в руках» он был ближе к Коневскому, чем к старым романтикам, Мандельштам выражает эсхатологическую сторону восприятия им марксизма, — эсхатологизм заложен в самой идее мирового переустройства. «От жажды самоубийства до чаяния всемирного конца» — так в другой главе Мандельштам рисует проходившие через него «токи времени».

*...зримый мир с ячменями... я сумел населить, социализировать...* — Эрфуртская программа высказывалась за радикальное решение земельного вопроса: полное уравнение сельского хозяйства с промышленностью в одном хозяйственном целом, что само по себе приведет к изъятию мелких собственников.

*...библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова...* — Иаков увидел во сне: «...вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт. 28:12). По Мандельштаму, это образ истории, исключаяющий возможность ее начать человеческими силами (см. в статье «Петр Чаадаев»), — историю можно только кончить.

С. 72. ...как у мальчика, играющего в бабки в скульптуре Федора Толстого... — Очевидно, подразумеваются воспетые Пушкиным скульптуры юношей, играющих один в бабки, другой — в свайку, однако изваяны они Н.С.Пименовым и А.В.Логановским.

С. 73. *Борис Наумович Синани* (1850—1922) — врач-психиатр. После русско-турецкой войны 1877—1878 гг., на которой он служил полковым врачом, заведовал Колмовской психиатрической больницей близ Новгорода, куда в 1892 г. увез больного Г.И.Успенского. В Петербурге занимался частной практикой.

...*Синани — караимы-крымчаки.* — Караимы — народность смешанного тюрско-семитского происхождения, по мнению некоторых ученых — потомки хазар. В вероисповедном отношении признают законом Библию Ветхого Завета и отвергают Талмуд.

...*крымского чабана с Яйлы.* — Местное название крымских гор, у татар оно значит: горные пастбища.

...*советник и наперсник тогдашних эсеровских цехистов.* — В революционных кругах Б.Н.Синани звали «эсеровским доктором». Известен случай, когда он обследовал боевика-террориста по рекомендации самого Азефа.

С. 74. *Пешехонов* Алексей Васильевич (1867—1933) — публицист народнического журнала «Русское богатство», где в 1906 г. изложил программу новой партии — народных социалистов.

*Мякотин* Венедикт Александрович (1867—1937) — «неподкупный идеалист» (П.Милюков), член редакции «Русского богатства», вошел в партию народных социалистов. *Вениамином* здесь назван в память младшего, любимого сына патриарха Иакова.

*Натансон* Марк Андреевич (1850—1919) — патриарх народнического движения, начиная с кружка «чайковцев» в 1869 г., один из организаторов общества «Земля и воля», в 1902 г. примкнул к только что организованной партии социалистов-революционеров, с первого съезда эсеров в декабре-январе 1905—1906 гг. бессменный член ее ЦК.

С. 75. ...*зачитывался судебными речами Лассалья...* — С агитаторской деятельности Фердинанда Лассалья (1825—1864), создателя «Всеобщего германского рабочего союза», начинается политическая история социал-демократии. Социалистом его сделало знакомство с К.Марксом. В речах защищал идею «приобретенного

права», согласованного с изменяющимся народным правосознанием. Смертельно ранен на дуэли.

*Клейнборг* Лев Максимович (1875—1938) — журналист и литературный критик, меньшевик.

*...все это лишь было демосфеновым камушком...* — То есть ученическим упражнением. Древнегреческий оратор Демосфен учился четкости произношения, набирая в рот камушки.

С. 76. *...некая Наташа, нелепое и милое создание.* — Перифраз пушкинского: «погибшее, но милое создание». По-видимому, Наталья Николаевна Павлинова (1888?—1942), автор романа «Цицерон. Молодые годы» (СПб., 1909) с описанием курорта Байи, сотрудница журнала «Вестник теософии» (1913), автор перевода орфических гимнов (1914).

*...аллегории Штука и Жукова...* — Из символично-аллегорических композиций Франца Штука (1863—1928), художника «Мюнхенского Сецессиона», широко репродуцировалась его картина «Грех» (1893) — изображение нагой женщины, увитой огромной черно-зеленой змеей. Иннокентий Николаевич Жуков (1875—1948) — автор популярных шаржированных статуэток, олицетворяющих различные пороки (Сладострастие, Обжорство и т.п.).

*«Чтец-декламатор»* — сборники современных стихотворений для произнесения их на вечерах, драматических курсах и т.п. Выходили с 1907 г. в Киеве.

*...всякие «Русские музы» с П.Я., Михайловым и Тарасовым...* — Здесь имеются в виду многочисленные антологии гражданской и революционной поэзии, выходившие в разных городах России и за границей в годы первой революции («Песни борьбы», «Песни свободы» и т.п.). Наряду со стихами современных поэтов, как Е.М.Тарасов, в антологии включались образцы народной поэзии, начиная с 1860-х гг. и по надсоновскую пору, — стихи М.Л.Михайлова (1829—1865) и П.Я. — П.Ф.Якубовича-Мельшина (1860—1911). Последним составлена была выдержанная в том же гражданском духе «Русская муза» (1904) — антология поэтов XIX века.

*Дребедень разных «Анатэм», «Шиповников» и «Сборников Знания».* — О «безграмотной традиции «Шиповников», чудовищной по аляповатости и невежественной претенциозности альманашной литературы», Мандельштам писал еще в статье «Выпад» (1923). «Анатэма» (греч.: преданный заклятию) — название богоборчес-

кой драмы Л.Андреева (1909). Здесь приводится как знак претенциозных декадентски-символистских изданий. «Шиповник» — издательство, с 1907 г. выпускавшее одноименные альманахи с постоянным участием Л.Андреева. Сборники издательства «Знание», выходившие с 1904 г., объединяли писателей-реалистов, «специалистов революции», по словам Блока, во главе с М.Горьким.

Юношеское неприятие беллетристики и драматургии периода, наступившего за первой революцией, осталось у Мандельштама ярким свидетельством от противного его собственной литературной позиции. Особую неприязнь вызывало смешение плоского бытописательства с нарочитым углублением быта в духе расхожего символизма. В рецензии 1931 г. на новое издание романа А.С.Серафимовича «Город в степи», когда-то выпущенного «Шиповником», Мандельштам напишет, что «Серафимович в своей книге культивирует ползучую прозу, оболюбованную всей плеядой бытописателей пятого года. Неуклюжим посредником между ними и русским модернизмом был Л.Андреев».

*Семен Акимыч Анский* (Шлойме Зейнвил Рапопорт, псевдоним писался как Ан-ский, 1863—1920) — русско-еврейский писатель, прозаик и драматург. Его очерки из народного быта проникнуты влиянием Г.Успенского. Изучал фабричный и еврейский фольклор. С 1891 г. — в эмиграции, где принял участие в организации партии социалистов-революционеров, в конце 1905 г. вернулся в Россию.

С. 77. *В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой надсоновициной...* — В первых дошедших до нас стихотворениях Мандельштама («Тянется лесом дороженька пыльная...» и «Среди лесов, унылых и заброшенных...»), написанных, вероятно, осенью 1906 г. в Зегевольде, народническая традиция восходит непосредственно к первоисточникам (Некрасов, И.С.Никитин). При этом напряженная символизация образов в сторону их зловещего осмысления выдает раннее знакомство с произведениями символистов.

*Блок уже был прочтен, включая «Балаганчик»...* — Лирическая драма А.Блока появилась в апреле 1906 г. в альманахе «мистических анархистов» «Факелы».

*...бывший немецкий банкир... редактор-издатель журнальчика «Поэт».* — Ю.В.Гольдберг. Четыре номера его газетного типа журнала, «ставящего своей ближай-

шей задачей прийти на помощь начинающим поэтам», увидели свет в апреле-июне 1907 г. В принадлежавшем Гольдбергу издательстве «Распространитель» появилась в 1906 г. его поэма (пер. с немецкого) «Парламент насекомых». Упомянутый ниже помощник издателя — Ю.М.Радзиевский, студент Петербургского университета, автор некоторых политико-сатирических стихов.

С. 78. *На политехнических балах в Лесном...* — Общежитие Политехнического института было местом сбора революционного студенчества. 18 февраля 1907 г. там при обыске обнаружили бомбу, общежитие закрыли, а правление института отдали под суд.

*...и те и другие считали невозможным дышать без доблести. «Война и мир» продолжалась...* — О чувстве героического, проникающем в душу при чтении «Войны и мира», писал Толстому А.А.Фет (1 января 1870 г.) в таких знаменательных словах: «Вы вырабатываете перед нами будничную изнанку жизни, беспрестанно указывая на органический рост на ней блестящей чешуи героического».

*...не с семеновским же полковником Мином и не с свитскими же генералами... была слава!* — Имя полковника Семеновского полка Г.А.Мина получило известность в день 18 октября 1905 г., когда в ответ на ранее брошенную бомбу он дал залп по заседавшей толпе у Технологического института. Считалось, что этим удалось предотвратить дальнейшие стихийные кровопролития на улицах столицы. В декабре произведенный в генерал-майоры с зачислением в свиту Мин посылается с полком семеновцев в Москву на подавление вспыхнувшего там вооруженного восстания. Убит пятью выстрелами в спину социал-революционеркой З.Н.Коплянской 13 августа 1906 г., — за этими выстрелами стояла слава, о которой пишет здесь Мандельштам.

*Слава была в ц.к., слава была в б.о., и подвиг начинался с пропагандистского искусства.* — То есть в Центральном комитете партии социалистов-революционеров и в ее Боевой организации. Под «пропагандистским искусством», вероятно, подразумевается событие, о котором со слов Мандельштама записано в дневнике С.П.Каблукова (18 августа 1910 г.): «В училище был с.р. или с.д. и даже говорил рабочим своего района зажигательную речь по поводу провала потолка в Государственной думе». По-



толок в зале Таврического дворца, где заседала Дума, обрушился 2 марта 1907 г. (к счастью, утром, до прихода депутатов), — левым партиям надо было увидеть в случившемся государственное преступление.

*Поздняя осень в Финляндии, глухая дача в Райволе.* — Рассказывается о поездке Мандельштама и Бориса Синани на очередное заседание эсеровского ЦК, куда они поехали с намерением войти в Боевую организацию партии (их тогда не приняли по малолетству, сообщает Н.Я.Мандельштам). По всей вероятности, это случилось в сентябре 1907 г., когда на заседаниях ЦК, штаб-квартира которого помещалась в Выборге (Финляндия тогда представляла территорию, недоступную для действий царской полиции), решался вопрос о восстановлении Боевой организации в ее прежнем виде. Участие принимали Азеф (его разоблачение как платного агента полиции произошло в декабре следующего года), Савинков и сбежавший с акатуйской каторги в октябре 1906 г. Гр.Гершуни. Упоминаемый *молодой Т.* — сын члена ЦК в 1905 г. Н.С.Тютчева.

*...конспиративное солнце нового Аустерлица!* — Восклицание Наполеона на рассвете дня Бородинской битвы: «Вот солнце Аустерлица!»

*Умирая, Борис бредил Финляндией, переездам в Райволу...* — Борис Синани умер от скоротечной чахотки весной 1911 г. Вероятно, его памяти посвятил Мандельштам свое стихотворение 1912 г., где говорится о переезде в сентябре памятного 1907 года:

Пусть в душевной комнате, где ключья серой ваты  
И стьянки с кислотой, часы хрипят и бьют, —  
Гигантские шаги, с которых петли сняты, —  
В туманной памяти виденья оживут.

И лихорадочный больной, тоской распятый,  
Худыми пальцами свивая тонкий жгут,  
Сжимает свой платок, как талисман крылатый,  
И с отвращением глядит на круг минут...

То было в сентябре, вертелись флюгера,  
И ставни хлопали — но буйная игра  
Гигантов и детей пророческой казалась,

И тело нежное — то плавно подымалось,  
То грузно падало: средь пестрого двора  
Живая карусель без музыки вращалась!

С. 79. ...*глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея.* — Переживание Андрея Болконского, раненного на Аустерлицком поле: «Как же я не видал прежде этого высокого неба?.. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его».

*Только что мрачным зловонным походом прошла литература проблем и невежественных мировых вопросов...* — То есть проблем пола, захватывающих вопросы «мировой жизни», — волна, поднятая в начале 1907 г. сочинениями М.Арцыбашева и А.Каменского. Блок, касаясь этой линии писателей-«бытовиков», писал тогда, что «если где можно бояться яда материализма, нигилизма и мистического хулиганства — то это именно здесь» («О реалистах», 1907).

*...не было дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из «Жизни Человека»...* — Символическая драма-аллегория Л.Андреева, поставленная В.Э.Мейерхольдом 22 февраля 1907 г. на сцене Театра В.Ф.Комиссаржевской, с громадным успехом шла ежедневно до конца сезона. Второе действие — бал в доме достигшего высот благополучия Человека — сопровождалось мотивом польки на ноты, внесенные в текст пьесы.

С. 80. *Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910).* — Судя по тексту, знакомство Мандельштама с игрой актрисы произошло на спектакле «Гедда Габлер» Г.Ибсена в постановке В.Э.Мейерхольда. Этим спектаклем 10 ноября 1906 г. театр ее имени открыл свой сезон, переехав в новое помещение на Офицерской ул. 22 ноября там прошла «Сестра Беатриса» М.Метерлинка, 30 декабря — «Балаганчик» Блока.

*...следить за веком, за шумом и прорастанием времени.* — Само понятие «шума времени» сложилось на переломе веков как главное определяющее мироощущение нового литературного поколения. Свое прямое выражение оно находит у Андрея Белого (впервые в его письме Блоку от 20 октября 1911 г.: «...я, прислушиваясь к шуму времени (курсив А.Белого. — А.М.), глух решительно ко всему»). Ср. в его «Воспоминаниях о Блоке» (1922): «Действительность, даже биография А.А. необъяснима без фона ее строящих: ритма и перебоя, «музыкальных напоров»; «шума времени», вплоть до личных отношений... Молодежь того времени слышала нечто подобное шуму и видела нечто подобное свету; мы все отдавались стихии

грядущих годин, отчетливо слышимой в воздухе поступи нового века».

Символизм Мандельштам называл «широким лоном» всей новой русской поэзии, из которой вышли «индивидуально законченные поэтические явления» (статья «Выпад», 1923).

*...лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык. — Ср.:*

Я с веком поднимал болезненные веки —  
 Два сонных яблока больших,  
 И мне гремучие рассказывали реки  
 Ход воспаленных тяжб людских.

*(«Нет, никогда, ничей я не был современник...», 1924)*

*Революция — сама и жизнь, и смерть...* — Здесь находит свое выражение та психология «революционности», о которой Н.А.Бердяев напишет, что она «есть тотальность, целостность в отношении ко всякому акту жизни... Революционер имеет интегральное миросозерцание, в котором теория и практика органически слиты. Тоталитарность во всем — основной признак революционного отношения к жизни» («Истоки и смысл русского коммунизма»). Оценки Мандельштама здесь, как и в других местах книги, принадлежат времени, их породившему, сами являясь его свидетельством.

С. 81. *Бравич* (Баранович) Казимир Викентьевич (1861—1912) — артист Театра В.Ф.Комиссаржевской.

*Почему она была вождем, какой-то Жанной д'Арк?* — «Вдохновительницей юности на русской сцене» назвал В.Ф.Комиссаржевскую Блок. Соученик Мандельштама по Тенишевскому училищу (Н.Н.Розенталь) вспоминал: «Мы с особенным восхищением относились к открывшемуся в 1904 г. в Петербурге «Театру В.Ф.Комиссаржевской» и к возглавлявшей его гениальной артистке. Мы систематически ходили туда по воскресеньям, когда перед утренними спектаклями там устраивались для молодежи литературные доклады. Любимый наш поэт Блок рассказывал нам о «Строителе Сольнесе» Ибсена...»

9 февраля 1909 г., в воскресенье, Петербург прощался с Комиссаржевской, уезжавшей на гастроли в провинцию, откуда она не вернулась. Актриса в сотый раз выступала в «Норе» Ибсена («нигде нежная поэзия чув-

ства и обаяния женщины не сливаются так гармонично с высочайшим подъемом души и пафосом прозрения», — писал рецензент). Есть основание думать, что стихотворение Мандельштама «Нежнее нежного...» (1909) обращено к Комиссаржевской, рисует ее прощальный облик.

*Савина* Мария Гавриловна (1854—1915) — признанная «царица» Александринского театра, в труппе которого состояла с 1874 г.

*Деревянный амфитеатр, белые стены...* — Описывается внутреннее помещение театра на Офицерской улице.

С. 82. *Смешная трагедия потерянной рукописи.* — В пьесе «Гедда Габлер».

*Аптекарью из Христиании...* — То есть Г.Ибсену.

С. 83. *...малиновые шары аптек.* — Выставленные в окнах и освещенные изнутри, эти стеклянные шары с малиновой жидкостью служили ночью светящейся вывеской аптек.

*Спутник мой, выйдя из литературской квартиры-берлоги...* — Место действия — 8-я линия Васильевского острова, где жил преподаватель литературы Владимир Васильевич Гиппиус (1876—1941). У него на квартире, сообщал ученический журнал, происходят «собеседования» с учащимися «по разным вопросам жизни». Поэт, начинавший с утверждения крайнего декаденства при одновременном воздействии на него поэзии Фета, Гиппиус ко времени своего преподавания приходит к поиску религиозного идеала; всего дороже для него «святое беспокойство» — оно «двигает всю жизнь людскую, порождает и искусство». Спустя год по окончании училища Мандельштам пишет ему из Парижа (14/27 апреля 1908 г.): «...я всегда видел в вас представителя какого-то дорогого и вместе враждебного начала, причем двойственность этого начала составляла даже его прелесть. Теперь для меня ясно, что это начало не что иное, как религиозная культура... Я прошел 15-ти лет через очистительный огонь Ибсена — и хотя не удержался на «религии воли», но стал окончательно на почву религиозного индивидуализма и антиобщественности... Я не имею никаких определенных чувств к обществу, Богу и человеку — но тем сильнее люблю жизнь, веру и любовь».

*...первосвященник мороза и государства. Власть и мороз.* — В основе образа известный политический

вывод из философско-исторических построений К.Н.Леонтьева (1831—1891): «...надо действовать в наше время противу равенства и либерализма. То есть надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не гнила». Сберечь хотя на время российское государство значит, по Леонтьеву, оставить ее в политической системе «византизма», то есть сильной самодержавной власти.

*Новгородцы и псковичи — вот так же сердились на своих иконах...* — Разумеются иконы новгородской школы.

С. 84. *...с чем бы стал я есть земную соль?* — Ср. сходный образ в стихах Пастернака (1917):

...Я молил тебя: членораздельно  
Повтори творящие слова!

И тебе ж невыносимы смеси  
Откровений и людских неволь.  
Как же хочешь ты, чтоб я был весел,  
С чем бы стал ты есть земную соль?!

*Развеселится ли на морозной некрасовской улице?* — Подразумевается стихотворение Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...»

*То был человек с пересохшим горлом.* — Говорится о В.В.Гиппиусе.

*«Конный или пеший»...* — Из стихотворения Фета «Даль» («Облаком волнистым / Прах встает вдали; / Конный или пеший — / Не видать в пыли!»). Далее следует строчки из стихотворений «Сияла ночь. Луной был полон сад...» и «С бородою седою верховный я жрец...» У Фета читается: «И нетленную солью горячих речей».

*Больные, воспаленные веки Фета мешали спать.* — Признания литературной молодости Мандельштама. Ср. в связи с дальнейшим начало стихотворения 1908 г.:

Только детские книги читать,  
Только детские думы лелеять,  
Все большое далеко развеять,  
Из глубокой печали восстать.

С. 85. *«Северные цветы»* — три ежегодных альманаха (1901—1903), организованные московским символистским издательством «Скорпион» с Брюсовым в главной

роли. С 1904 г. в том же издательстве стал выходить ежемесячник «Весы».

...*дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве»*... — Стихотворение К.Случевского называется «После казни в Женеве».

...*товарищ Коневского и Добролюбова*... — Об Иване Коневском см. в главе «Эрфуртская программа». Александр Михайлович Добролюбов (1876—1945?) — поэт и религиозный искатель, с 1898 г. пришедший к идее самоосвобождения личности от «силы условий мирских», ушедший в странствия; основатель секты добролюбовцев в Поволжье.

«*Надо мной орлы, орлы говорящие*». — «Подо Мною орлы, орлы говорящие» — начальная строка стихотворения А.М.Добролюбова «Бог Отец» из сборника «*Natura naturans...*» (1895).

«*Жар-птица*» *Фета* — стихотворение «Мы одни; из сада в стекла окон...»

С. 86. *Недоброво* Николай Владимирович (1888—1919) — поэт петербургского строя, знаток и ценитель русской классической поэзии, повлиявший на развитие таланта Анны Ахматовой. Стихи Тютчева, по рассказу знавшего Недоброво, «входили в самые истоки его духовного мира».

«*А который год белеет*»... «*А заря и ныне сеет*». — Строки из стихотворения Тютчева «Яркий снег сиял в долине...»

С. 87. *Короленко... так много писавший о зырянах*... — Это небрежность. Короленко был защитником крестьян-вотяков (удмуртов), проходивших по так называемому Мултанскому процессу (1895—1896).

...*до Коневца раннего символизма*... — То есть до И.И.Ореуса, псевдоним которого — Иван Коневской — восходит к названию острова Коневец на Ладожском озере.

*За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом*. — Председатель пира в маленькой трагедии Пушкина, где, по ремарке, действие происходит за накрытым столом посреди опустевшей от чумы улицы. «*Спой, Мэри*» — обращение Вальсингама:

Спой, Мэри, нам, уныло и протяжно,  
Чтоб мы потом к веселью обратились  
Безумнее, как тот, кто от земли  
Был отлучен каким-нибудь виденьем.

С. 88. ...единство «непомерной стужи»... — Напоминание о блоковских стихах «Шаги командора»:

...Из непомерной стужи,  
Словно хриплый бой ночных часов —  
Бой часов: «Ты звал меня на ужин.  
Я пришел. А ты готов?..»

Печатаются по книге: М а н д е л ь ш т а м О. Шум времени. Л., 1925.

Рассказы написаны в 1924 г. Под названием «Феодосийские рассказы» анонсировались в литературно-художественном альманахе «Ковш» (1925). В книгу Мандельштама «Египетская марка» (Л., 1927) вошли под общим титулом «Феодосия».

В Феодосии и Коктебеле Мандельштам жил с сентября 1919 г., уехав (морем в Грузию) спустя год — в сентябре 1920 г. Под властью белого командования Крым находился с июня 1919 г. После эвакуации Белой армии из Новороссийска правительство в Крыму возглавил генерал П.Н.Врангель, назначенный 4 апреля 1920 г. главнокомандующим Вооруженными силами Юга России на место А.И.Деникина.

С. 93. *Начальник порта.* — Герой первого рассказа — начальник феодосийского торгового порта капитан 2-го ранга Александр Александрович Новинский. В книге А.Седых «Далекие и близкие» (Нью-Йорк, 1962) дана такая зарисовка его облика: «...человек крохотного роста, с черной бородой, разгуливавший по городу в белоснежном кителе с кортиком. Он умер несколько лет назад в Холливуде, где стал киноартистом».

...*легендарному Каниферштану...* — Правильнее «каннитферштан» (*голл.*), — *букв.*: не могу вас понять. Выражение, идущее от рассказа с таким названием И.-П.Гебеля, переведенного в стихах В.А.Жуковским (поэма «Две были и еще одна»). В рассказе голландцы отвечают: «каннитферштан», — на вопрос одного немца, кому принадлежат те и другие богатства. Простодушный немец принял ответ за имя владельца.



*Центросоюз* — бывший Московский Союз потребителей обществ, центральный кооперативный орган в России.

Описываемые здесь спекуляции морского ведомства с вывозом из Крыма хлеба так освещаются в книге Н.В.Савича (государственного контролера в правительстве Врангеля) «Закат белого движения»: «Представители ведомств, главным образом чины военных управлений, покупая заграничные товары, платили нашими денежными знаками, выдавая одновременно свидетельства на право вывоза определенного количества хлеба. Продавец уже сам обязан был закупить хлеб для вывоза, отправить его за границу и продать его, чтобы вырученной валютой покрыть стоимость товара и все связанные с этим делом хлопоты и расходы. Конечно, на этой почве создавалось много злоупотреблений. Прежде всего при этом цена хлеба учитывалась наиболее невыгодно для казны, а затем происходило много недоразумений с количеством вывезенного хлеба, никто его при вывозе точно не учитывал, и фактически вывозили много больше разрешенного».

С. 94. ...*потрясая воздух известным пэаном...* — Пэан (др.-греч.) — хвалебный боевой гимн. Такого рода было юнкерское подношение генералу Шкуро.

С. 95. ...*тайно-враждебный парусиновый служащий.* — Ироническая реминисценция из Блока («Друг другу мы тайно враждебны, / Завистливы, глухи, чужды...» — стихотворение «Друзьям»).

*В старину же город походил не на Геную... а скорей на нежную Флоренцию.* — В XIII—XIV вв. Феодосия была генуэзской колонией Каффой. Говоря «в старину», Мандельштам подразумевает: до революции, когда он приезжал сюда в 1915 и 1916 гг.

*Сарандинаки* Михаил Николаевич (ум. 1917) — заведующий метеостанцией в Феодосии, автор поэтического сборника «Этюды 1901—1916» (Феодосия, 1916). *Мабо* Михаил Васильевич (1878—1961) — директор Азовского банка в Феодосии.

С. 95—96. *Короли французские даже не вставали, а восходили, как солнце...* — Время короля Людовика XIV, избравшего солнце эмблемой своего царствования.

С. 96. ...*вдохновителя... биржевого фонтана...* — Около фонтана в сквере Айвазовского собирались биржевые дельцы.

С. 97. ...*теософка Анна Михайловна...* — Александра Михайловна Петрова (1871—1921), давний друг М.А.Волошина.

*Карантинная слобода* — место по соседству с феодосийским портом, где раньше проходили сорокадневный карантин мусульмане, возвращаясь через Феодосию из паломничества в Мекку.

*По льду замерзшего Перекопа возили тяжелую артиллерию.* — Из-за наступивших в январе 1920 г. двадцатиградусных морозов замерз крайне соленый залив Сиваш. Белое командование проводило испытания, выдержит ли лед артиллерию подступавших к Перекопу красных сил.

*...английские солдаты — «бобби»...* — Скорее их звали «томми». «Бобби» — обычное прозвище английских полицейских (от имени сэра Роберта Пиля, организатора английской полиции в XIX в.).

*...веселый чернобородый караим...* — Караимы — народность в Крыму. По вероисповеданию ведут свое происхождение от саддукеев древней Иудеи.

С. 98. *Крупной солью сътались на двор зимние звезды.* — Образ, знакомый по стихотворению Мандельштама «Умывался ночью на дворе...» (1921):

...Тает в бочке, словно соль, звезда,  
И вода студеная чернее,  
Чище смерть, соленее беда,  
И земля правдивей и страшнее.

*Когда Деникин отступал от Курска...* — Курск был оставлен Белой армией к 20 ноября 1919 г. Вывоз железнодорожников белым командованием имел значение для дезорганизации сообщений между наступающей армией красных и ее тылом.

С. 103. *Осваг* — Осведомительное агентство, или Отдел пропаганды при Особом совещании главнокомандующего Вооруженными силами Юга России, создано в начале 1919 г. После упразднения Особого совещания в декабре Осваг распался на ряд информационных органов. Многочисленные газеты Освага издавались на всей занятой Белой армией территории.

*От Митридата...* — Холм на окраине Феодосии с остатками генуэзских укреплений. «Митридатом» (персидское имя) назван условно по примеру известной горы в Керчи.

С. 104. *Полковник Цыгальский* — Александр Викторович (1874—1941), военный инженер, автор трудов по морской фортификации. В эмиграции жил в Болгарии (1920-е гг.), впоследствии в США был уполномоченным

главы Российского императорского дома по штату Массачусетс, редактировал бостонское издание «Вестник русского духовного возрождения» (см.: Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 157. Сообщение Р.Д.Тименчика).

...клиента *Кубу или Дома ученых*. — Комиссии по улучшению быта ученых, существовавшей в Петрограде и Москве с ноября 1921 г. В задачи Комиссии входило «выдавать им (ученым кадрам. — А.М.) дополнительное академическое обеспечение (паек и деньги. — А.М.)».

...он прочел стихи. — Известна (по названию) книжка стихов А.В.Цыгальского «*Душа русского гражданина. Избранные стихи 1911—1920*», изданная в Феодосии в 1920 г. Цитируемое ниже стихотворение напечатано в альманахе «*Ковчег*» (Феодосия, 1920) — под названием «*Храм Неопалимой Купины*», с посвящением М.Волошину и датой: 20 января 1920 г. Стихотворение запомнилось М.Цветаевой. Вот его полный текст:

Пусть всё и вся, что я воспел доднесь,  
лишь плоть моя дворянская да спесь!  
Провидя даль ничтожества и славы,  
крушений гул и почести булавы,  
и лавр, и тернии, и мира дни,  
«Да здравствует!» раскаты и «Россия!» —  
в дали судеб я вижу одесную  
не страшную Россию, а иную:  
Россию — Русь, изгнавшую бесов,  
увенчанную бармами закона, —  
мне все равно, с царем или без трона,  
но без меча над чашами весов.  
Тогда для вас, умершие граждáne  
Руси былой, поверженной во прах,  
обломанной, как жертва в алтарях,  
настанет час крещенья в Иордане.  
И через крест, забвенью преданы,  
не оцененные моими днями,  
все наречетесь пастырями в храме  
Неопалимой Купины.

...Фемиду на петербургском Сенате. — Группа «Правосудие» (скульптор В.И.Демут-Малиновский) над аркой, соединяющей здания Сената и Синода.

С. 106. *Мазеса да Винчи*. — В разных источниках встречается имя феодосийского художника: Мозессо Гурвич (Гуревич). Его настоящее имя было Моисей.

Печатается по книге: М а н д е л ь ш т а м О. Египетская марка. Л., 1928, — с проверкой по тексту в журнале «Звезда» (1928. № 5) и по сохранившимся рукописям (см.: Египетская марка: Неизданные фрагменты / Публ. С.Василенко и Ю.Фрейдина // Наше наследие. 1991. № 1).

Время написания повести определяется тремя датами: 21 апреля 1927 г. автор заключает договор с издательством «Прибой» на издание своей книги «Похождения Валентина Гаркова» (роман); 15 июля того же года в одном частном письме сообщается о Мандельштаме, что он «пишет повесть, так странно перекликающуюся с Гоголем “Портрета”»; 4 января 1928 г. в другом письме зафиксирован результат: «О.Мандельштам написал любопытнейший роман, который, вероятно, будет печататься в “Звезде”». Судя по рукописям, на первой стадии работы дело шло о похождениях героя, чье имя и фамилия могли напомнить современникам имя поэта, хореографа и джазмена Валентина Парнаха (1891—1951). Действие задуманной повести происходило в 1920-х гг. в Москве. Замысел претерпел решительное изменение с переходом повествования от третьего к первому лицу — генеральный путь лирической прозы Мандельштама. Слегка намеченный сюжет в духе петербургских повестей Гоголя будит в авторе цепочку внешне бессвязных, по-детски пронзительных воспоминаний, группировавшихся вокруг недекларируемой темы. Это гибель города, а с ним всего петербургского отрезка русской истории, — тема, сама являющаяся продолжением гоголевско-достоевского «мифа» о Петербурге. Гибель представлена в реальной обстановке Февральской и последующей революции. С В.Я.Парнахом (кстати, не петербуржцем по рождению и жившим все время революции за границей)

созданный в повести образ Парнока, служащий как бы вторым рупором авторского «я» (у Мандельштама в стихах и в прозе: «я — это я»), имеет общего разве чисто внешние черточки поведения. Лицо Парнока в повести подходит под литературное понятие «двойника» автора (здесь уместно имя немецкого писателя-фантаста Э.Т.А.Гофмана, прародителя темы двойничества) или его «антигероя». Вспоминаются слова Мандельштама о лирическом поэте как о «двуполом существе», способном к расщеплению «во имя внутреннего диалога» (в статье о Франсуа Вийоне).

*Не люблю свернутых рукописей...* — Эпиграфом служит автоцитата из рукописного отрывка, предполагающего другой, чем в окончательном тексте, зачин повести: «На Миллионной Парнока остановил старик угрожающе поднятой свернутой рукописью. Она была тяжела и промаслена временем, как труба архангела. Короли мусорщиков и тряпичников обошли для него все шоколадные трущобы Парижа и сложили к его ногам свои смердящие дары. Казалось, полвека назад, в шестьдесят пятом примерно году, он собрался на доклад... на похороны Бодлера или на премьеру Массне и так и остался ни при чем».

С. 113. *Прислуга-полька ушла в костел Гваренги...* — Костел в Петербурге — церковь св. Екатерины на Невском пр., построенная Ж.-Б.Валлен-Деламотом. С именем Дж.Гваренги (Кваренги) ассоциируется другой католический центр Петербурга — построенная этим архитектором Мальтийская церковь Пажеского корпуса на Садовой ул. Известное смещение дат, имен и топографических ориентиров, допускаемое в повести, включается в хаотичную атмосферу потерявшего себя города.

*...китаец, обвешанный дамскими сумочками...* — То есть китаец — продавец мелочей дамского туалета где-нибудь в Гонконге. Обрывки детских сновидений, состоящие из виденных журнальных картинок в отделе «Смесь» (о них рассказывалось в «Шуме времени»), отчасти пародируют характер многозначимых снов у Гоголя и Достоевского.

*Тридцать лет прошли как медленный пожар.* — С 1896 или 1897 г., когда семья переехала на жительство в столицу.

*...спинки зеркал с ярлычками судебного пристава.* — То есть с номерными знаками, проставленными на движимом имуществе согласно описи его за долги.

...*Кокоревские склады*. — Мебельный склад на Гиговке, принадлежавший С.В.Кокореву, сыну известного промышленника и финансиста В.А.Кокорева (1817—1889). Сюда петербуржцы сдавали мебель, переезжая летом на дачу и меняя осенью квартиру.

С. 114. *Мервис похитил ее, как сабинянку*. — Сюжет похищенной визитки первоначально включал неожиданное автобиографическое признание: «Портной с Монетной улицы потребовал назад к себе визитку, чтобы распустить ее в каких-то проймах. Парнок со сна отдал визитку и больше ее не увидел. Визитка погибла бесславно, за недоплаченные пять рублей, а не в ней ли Парнок накануне падения монархии прочел свою речь «Теософия как мировое зло» в особняке Турчанинова и обедал по приглашению тайного католика Волконского в кабинете у Донона с татарами и бразильским атташе и не в ней ли он должен был войти в замороженную сферу верховного политического эфира, чтоб проповедать хроменькой девице, жующей соломинку английского «th», свою теорию о Габсбургах? Теперь все рушилось. Без визитки нельзя было сунуться ни к германофилам, ни к теософам».

Свой доклад «Скрябин и христианство» Мандельштам читал, вероятно, в октябре 1916 г. на заседании петроградского Скрябинского общества. Упоминаются светлейший князь В.М.Волконский, товарищ председателя Государственной думы, и А.А.Вырубова, приближенная фрейлина императрицы.

...*карта полушарий Ильина*. — От имени генерала А.А.Ильина (1832—1889), основателя первого и лучшего в России картографического заведения (с 1859 г.). По его смерти фирма перешла к сыновьям.

С. 115. ...*певица итальянской школы*... — Анджелина Бозио (1830—1859), с большим успехом выступавшая в Милане, Париже, Лондоне и других европейских городах, в Америке, с 1853 г. — в России. Ведущая солистка Итальянской оперы в Петербурге, где последний раз пела в «Травиате» Верди. Простудилась и умерла 31 марта 1859 г. в доме Демидова на углу Невского пр. и М.Садовой ул. Похоронена на католическом кладбище св. Марии на Выборгской стороне (с разрушением кладбища в советские годы памятник на ее могиле перенесен в Александро-Невскую лавру). «Похороны этой артистки, — пишет историк Петербурга, — были первыми публичными похоронами... сошелся весь Петербург, весь Невский проспект был запружен взволнованной, глу-

боко потрясенной толпой... Артистке, певичке, оказывались чуть ли не царские почести» (С т о л п я н с к и й П.Н. Революционный Петербург. СПб., 1922. С. 58—59).

В 1929—1930 гг. в журнале «Звезда» анонсировалась новая повесть Мандельштама «Смерть Бозио». Вставная новелла в «Египетской марке» — след этого замысла. Ранняя редакция отрывка такова: «Теперь я знаю о ней уж достаточно. Пожалуй, больше, чем хотел. И немного разочарован. Эти ласточкины перелеты из Ковент Гардена в Большой театр и гастрольные поездки в молодую Америку. Видимо, деньги играли в ее жизни немалую роль. Она любила их, как цветы, предпочитая зеленые доллары с изображением Вашингтона и русские сотенные с их морозным хрустом. Пятидесятые годы ее обманули (никакое *bel canto* их не скрасит) — ужасно низкое небо, подпираемое древками шелестящих сплинном газет — в одних и тех же кабинетах для чтения и на Гаване, и в Лондоне, и в Петербурге. Услышав впервые русскую речь, она заткнула свои маленькие уши. Однако она развозила по всему миру свой “сладостный, гибкий, металлический” голос, — путешествуя с поваром, мужем-греком, заменившим ей импресарио, и любимой горничной, — ела креветок, посылала телеграммы Тамберлику и Верди, оказывала честь как бы нарочно для нее построенным первым железным дорогам и, умирая, сказала: “*Ma maladie c’est mon meilleur triomphe*”».

*Золотые птички-стервятники расклюют восковую римско-католическую певунью.* — Образ связан с фигурой двуглавого орла, украшавшей парадную каску кавалергардов (на гвардейском языке — «голубь»). Кавалергарды полка, сформированного в 1800 г., несли почетную дворцовую и коронационную службу.

*...Мервис жил на Монетной, возле самого Лицея...* — На углу Б.Монетной ул. и Каменноостровского пр. на Петроградской стороне помещался Александровский лицей (переименованный из Царскосельского — по переводе его сюда в 1844 г.).

*...перевел разговор на адвоката Грузенберга, который заказал ему в январе сенаторский мундир...* — Оскар Осипович Грузенберг (1866—1940), адвокат, известный своей защитой на политических процессах и на процессе Бейлиса, после Февральской революции декретом министра юстиции А.Ф.Керенского назначается сенатором Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената.

С. 116. *Люсьен де Рюбампре* — герой «Утраченных иллюзий» Бальзака.

*Тут был Пушкин, с кривым лицом...* — Литография или журнальный снимок с аляповатой картины П.Ф.Бореля «Возвращение Пушкина с дуэли».

*Сантос-Дюмон* Альберто (1873—1932), бразилец, один из первых аэронавтов. Облетел на дирижабле Эйфелеву башню в 1901 г.

*...ампирный павильон в Инженерном саду...* — Инженерным (от расположенного рядом Инженерного замка) назван здесь Михайловский сад за Михайловским дворцом. Павильон-пристань на берегу Мойки на территории сада построен К.И.Росси.

С. 117. *...фиванские сфинксы напротив здания Университета...* — Пример того же топографического смещения: сфинксы водружены напротив здания Академии художеств, ниже по течению Невы.

*...невзрачная арка в устье Галерной улицы...* — Арка, соединяющая здания Сената и Синода на Исаакиевской площади — творение Росси. Проход через арку вел с площади на Галерную улицу.

*Ему хотелось поступить драгоманом в министерство иностранных дел, уговорить Грецию на какой-нибудь рискованный шаг и написать меморандум.* — Драгоман (нем.) — переводчик, служащий при посольствах в странах Востока. Министерство иностранных дел помещалось в здании Главного штаба на Дворцовой площади. С этим, безусловно автобиографическим, эпизодом соединялись первоначально завязка и название повести. На сцену выходил чиновник министерства по греческой части Артур Яковлевич Гофман («Греция держалась нейтрально, но с революцией поздравила»). Обидным для Парнока образом Гофман, «вставая ему навстречу, отклеил от свежеполученного письма с оттиснутым наполовину каирским штемпелем марку хедива (титул вице-короля Египта. — А.М.) и, протянув ее, не здороваясь, произнес: — Вот, полюбуйте, египетская марка!» И далее в гоголевском стиле: «Как с зачумленного места, бежал он с Дворцовой площади. Все мерещился ему Артур Яковлевич Гофман, который, стоя посреди конференц-зала, показывает на него собравшимся чиновникам: — Вот, полюбуйте, египетская марка! Ну хорошо, пусть египетская марка. Но ведь должен же он где-нибудь успокоиться? — Если я марка — то наклейте меня, проштемпелуйте, отправьте. — Нет, — скажут ему на почтамте. — Отсюда нельзя. Только из



Каира. — Это при теперешних-то военных сообщениях! — Там вас, пожалуй, используют, а здесь — дудки!» В окончательном тексте повести говорится, что «египетской маркой», вероятно, за профиль лица, героя дразнили в школе. К характеристике Парнока в черновике: «Предки Парнока — испанские евреи ходили в остроконечных желтых колпаках — знак позорного отличия для обитателей гетто... Не от них ли он унаследовал пристрастие ко всему лимонному и желтому? Лет ему было немало — двадцать шесть с хвостиком, но он еще не развязался с университетом. У него была тонкая птичья шея и слишком сухая кожа для петербургских широт».

*В феврале он запомнил такое событие...* — «Февральской революции он не заметил, но запомнил такое событие» (рукопись). Видение за ярко-зеленой хвойной веткой во льду образа молодой гречанки рождает в потомке испанских евреев тягу на юг. Действие в рукописи происходит в Царском Селе. Вид полуциркульного Екатерининского дворца — создания Растрелли — будит мысль о «дикой параболе», соединяющей героя «с парадными анфиладами истории и музыки».

*— Выведут тебя когда-нибудь... из общества ревнителей и любителей последнего слова...* — «Общества ревнителей художественного слова» при журнале «Аполлон», чьим участником был Манделъштам.

*...из камерного кружка стрекозиной музыки...* — То есть из «Общества любителей камерной музыки», собиравшегося в зале Реформатского училища.

*...из салона мадам Переплетник...* — адвоката Г.М.Переплетника и его жены, проживавших на Литейном пр.

С. 118. *Пески* — район Рождественских улиц за Московским вокзалом, заселенный служилым людом.

*Финолинка* — невыясненное слово, в контексте — ночная лампа.

*Мадеполам (фр.)* — сорт хлопчатобумажной ткани.

С. 123. *...фиоль с тиксафоном...* — флакон с мыльной жидкостью этой марки.

*...ледяным миром...* — От церковного «миро» — душистого маслянистого вещества.

*...матушка, пожалей своего сына...* — Воскликание безумного Поприщина в «Записках сумасшедшего» Гоголя, когда тому льют на голову воду.

*...как бриллиантовый карат.* — Карат — единица веса для оценки драгоценных камней (около 2 гр.).

*...вроде котильонного значка.* — Котильон — сборный танец с играми. При помощи раздаваемых значков или сувенирных мелочей составляются разные фигуры или туры танца.

*Я бы их всех собрал и поселил в Сестрорецке, потому что больше теперь негде.* — То есть во время написания повести.

*Парнок был человеком Каменноостровского проспекта...* — Длиннейший, продуваемый всеми ветрами проспект, тянувшийся в продолжение Троицкого моста через всю Петроградскую сторону, Аптекарский и Каменный острова. Это была самая современная улица Петербурга времени конца империи, претендующая стать второй «большой перспективной дорогой» после Невского проспекта. Семья Мандельштамов жила здесь в 1916—1917 гг. Глава в рукописи кончалась так: «Тут жил член Государственной думы от евреев доктор Гуревич, который не знал, как ему относиться к своему положению: хотел всем рассказать, что он депутат, но боялся. Тут в страшную гололедицу ходила одна старушка с ведерком и детским совочком и сама для себя посыпала панель желтым царским песком, чтоб не поскользнуться».

С. 124. — *Николай Александрович, отец Бруни!.* — Настоящий Н.А.Бруни (1891—1938, расстрелян) стал священником в 1918 г., приняв сан по обету после перенесенной им авиационной катастрофы. Авиатор в войну 1914 г., полный Георгиевский кавалер, он был знаком с Мандельштамом еще по Тенишевскому училищу, потом как участник «Цеха поэтов». Окончил Петербургскую консерваторию.

*Парнок считал его в некотором роде дамой.* — Далее в рукописи: «...которую нужно занимать, осторожно нащупывая круг дамских интересов. Поэтому он заговорил с ним о старцах из Оптиной пустыни».

*Стояло лето Керенского...* — В рукописи намек на мажонские связи правительства: «Нами правило лимонадное правительство. Глава его, Александр Федорович, секретарь братства...»

*...айсоры — чистильщики сапог...* — Айсоры (ассуры) — народность, будто бы происходящая от древних халдеев. В Петербурге занимались сапожничеством.

*...прикрываясь авторитетом отделенной от государства церкви...* — Отделение церкви произведено ленинским декретом 21 января 1918 г. Действие повести,

происходящее в один майский день 1917 г., вбирает в себя «воспоминания о будущем».

*То было страшное время...* — В рукописи: «Тогда не было ни властей, ни полиции, а над милицией Керенского смеялись даже дети. Не было ни на кого управы, а сильные издевались над слабыми, упиваясь сладким безвременьем. Портные отбирали визитки, а прачки подменивали белье, отпирались, глумились в лицо. Страшно жить без закона; государственность — это второй воздух, а тут черт знает что — все двигалось и шло своим порядком, но не в воздухе, а в гремучем газе: вдруг запляшут проклятые молекулы, передерутся, закрутятся и вспыхнут самосудом».

С. 125. — *Ротмистра Кржижановского, — ответили девушки...* — В газете «Петроградский голос» 7 марта 1917 г. упоминается новоназначенный начальник городской милиции Петрограда Д.А.Кржижановский.

*Варьятка (польск.)* — сумасшедшая.

*«Концерт» в Palazzo Pitti* — картина Джорджоне из ху дожественной галереи дворца (Флоренция).

*Зубной врач повесил хобот бормашины...* — В черновой рукописи начало этой главы имеет такой вариант: «Было два часа дня и ночи. Петербургская ночь серебрилась от задержанных солнечных лучей. Нева, отказывая в признании потерявшему стыд Петербургу, катилась зверем-Иртышом. Вода ее мнется, как свинцовая чайная бумага...» Действие главы, судя по приметам, забегает вперед, минуя свершившийся октябрьский переворот. События, подобные описываемому ниже, составляют фон газетных сообщений осени-зимы 1917 г., начиная с разгрома винных погребов и кончая дикими самосудами толпы. Наиболее близкий случай произошел 19 декабря — зверское утопление в Фонтанке у Семеновского моста трех человек, причем мост и обе набережные реки были запружены народом.

С. 126. *...апраксинские пиджаки...* — От Апраксина двора между Фонтанкой и Садовой ул., где была барахолка.

*Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь... как его самого взяли бы в переделку...* — Так и случилось в происшествии 19 декабря. Рабочий И.Ф.Костин убеждал толпу не совершать самосуда и разделил судьбу утопленных.

*...как шиты в день Шахсе-Вахсе...* — Ритуальная, сопровождаемая самоистязаниями, процессия мусульман-

шиитов в день ежегодного поминовения смерти имама Хусейна, внука Магомета.

С. 127. *Хризалида* (греч.) — куколка (стадия в развитии насекомых).

*Щербак* *переулок* — узкий переулок между Фонтанкой и Владимирской площадью.

*Цирк Чинизелли* — на Фонтанке. Построен по заказу циркового артиста Чинизелли в 1876 г.

С. 128. ...*фирму, незапятнанную с тысяча восемьсот восемьдесят первого года...* — То есть с года убийства царя Александра II.

...*река-покровительница плюгавого Малого театра...* — Театр Литературно-аристократического кружка, ранее принадлежавший А.С.Суворину. С 1919 г. — Большой драматический театр.

*Пачули* — духи с крепким, но дешевым запахом.

*Египетский мост* — со стилизованными египетскими сфинксами стоял на Фонтанке в месте пересечения с Лермонтовским проспектом. Обрушился в январе 1905 г., когда по нему проходил эскадрон конного полка. Восстановлен в 1955 г. *Калинкин мост* — нижний по течению Фонтанки. Название происходит от финской деревни «Каллина» или «Кальюла»

С. 129. *Однако он звонил из аптеки...* — Перед этим в рукописи: «Тогда он спросил у провизора «Весь Петербург», всегда хранящийся, как некая библия, в аптеке, и для успокоения отыскал в ней князя Абамлек-Арутюнова. Были тут и другие телефоны, когда-то горевшие фосфоровыми цифрами созвездия на группу А, на Б, а теперь погасшие, как гнилушки».

*Перо рисует усатую греческую красавицу и чей-то лисий подбородок.* — Перед этим в рукописи: «Зато профиль провизора был прелестен. — Лисий подбородок и лапки очков. Точь-в-точь рисунок пером на черновой рукописи двадцатых годов. Ах, эти скрипичные человечки! Завитушки! Фельдмаршальские носы и сенаторские подбородки! Давайте порвем серьезные рукописи и оставим одни петушиные арабески на полях. Да здравствуют третьи скрипки Мариинской оперы! Пусть они нам заварят увертюру к «Леноре» или к «Эгмонту» Бетховена». «Скрипичные человечки, петушиные гребешки и завитушки, банкиры-сенаторы и красавица завитушка, одни фармазонские подбородки и гофманские носы мне гораздо милее круглолицых характеров».

*Артур Яковлевич Гофман — чиновник министерства иностранных дел по греческой части.* — Настоящий А.Я.Гофман (1891—1942?), филолог, поэт, служил в Министерстве торговли и промышленности.

С. 130. *Эрмитажные воробьи щебетали о барбизонском солнце...* — Барбизонская школа живописцев 1830—1860-х гг. (Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добиньи и др.), предшественников импрессионистов. Они работали в деревне Барбизон под Парижем, открыв природу сельской Франции. Далее в тексте описывается «толпокрылатый воздух» картин импрессионистов, — прибежище для автора-героя от зловеще мрачной атмосферы Петербурга.

*Паровоз... негодовал на тяжесть шапокляков и муслина.* — Шапокляк (*фр.*) — складывающаяся шляпа, цилиндр. Муслин (*фр.*) — кисейная ткань. Воссоздается типовой сюжет импрессионистских картин.

С. 131. *По домам ходят меньшевики-оборонцы, организуя ночное дежурство...* — Бытовая деталь зимы 1917 г.

*...и выпьет его с черным турецким кофе налетающая ночь.* — В черновике: «надвигающаяся историческая ночь».

*...Петербург чем-то напоминает адресный стол, не выдающий справок, — особенно в районе Дворцовой площади.* — Реалии исторического прошлого города, его блестящей архитектуры воспринимаются теперь как немые свидетельства неизвестно о чем. В рукописи глава начиналась так: «Встречу с дамой у Александровской колонны Парнок задумал в большом масштабе. Соленый ветер стратегической игры, ветер Иены и Аустерлица... «Куда летишь ты в горячий петербургский вечер, отклеившаяся от письма египетская марка?» — и вот он упал на пустую Дворцовую площадь, напоминающую стол красного дерева, убранный к началу исторического заседания — с белыми листами бумаги и отточенными карандашами и с графином кипяченой воды. Странную нежность питал этот человек к государству». В последующей сцене с глухонемыми мальчик передает Парноку письмо, на котором: «Французский адрес: Господину Артуру Гофману — министерству иностранных дел. Каирский штемпель оттиснут был лишь наполовину. Египетской марки не было».

С. 132. *Мне ставили руку по системе Лещетицкого.* — Теодор Лещетицкий (1830—1915) — польский пианист и музыкальный педагог, профессор Петербургской консерватории.

С. 133. *Ведь и я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы...* — Раньше говорилось о «дикой параболе», соединяющей Парнока с «парадными анфиладами истории и музыки». Морозная очередь за билетами в Александринский театр — это вход в подzemелье петербургской истории «достоевского» человека. Тут автору, несмотря на мольбы, не отличить себя от Парнока. В черновике можно разобрать, что они («мы») стоят в одной очереди с «несгибаемым стариком» — Инн.Ф.Анненским, автором известного стихотворения про «желтый пар петербургской зимы» («Я не знаю, где вы и где мы, / Только знаю, что крепко мы слиты»). Прямая отсылка от имени Анненского ведет к его статье («Умиравший Тургенев»), начинающейся с описания похорон Тургенева, где толпа ждет выноса тела, находясь рядом со зданием «Бойни», этим «страшным символом неизбежности и равнодушия, схваченного за горло». Описание у Анненского переходит в объяснение ждущей автора перспективы: «Я, видите ли, тогда проводил время еще на площади и каждую минуту готов был забыть, что нахожусь хотя и в хвосте, но все же перед театральной кассой, откуда в свое время и получу билет. Но теперь, когда поредело передо мной, а зато позади толпа так и кипит, да только вернуться-то туда я уже не могу, — теперь, когда незаметно для самого себя я продвинулся с площади в темноватый вестибюль театра и тусклый день желто смотрит на меня уже сквозь его пыльные окна, — когда временами, через плечо соседа, я вижу даже самое окошечко кассы...»

*Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершалось зверское убийство...* — За статьей о Тургеневе у Анненского следует в его «Книге отражений» разбор «социальных драм» Писемского «Горькая судьбина» и Толстого «Власть тьмы». Убийство в первой драме объясняется «какой-то душной сутолокой задыхающихся людей, которых заперли в темную баню. Из драмы нет просвета, как нет и выхода из жизни, которая в ней изображается».

*...добродушно рассказывая об отроках в огненной печи.* — Сюжет Книги пророка Даниила (гл. 3).

С. 134. *Юдифь Джорджоне улизнула от евнухов Эрмитажа.* — Парнока, ожидающего встречи с «дамой», ждет полное поражение. В рукописи: «По Миллионной неслась пролетка. Ротмистр Кржижановский скачет с Юдифью Джорджоне, сбежавшей от евнухов Эрмитажа, с той самой девушкой, которая назначила свидание

Парноку. Копыта раскололись по бесстыжей мостовой, как серебряные ложечки, сбивающие гоголь». «Юдифь» — картина Джорджоне в Эрмитаже.

*Скандалом называется бес, открытый русской прозой...* — В рассказ впутывается гротескная история петербургского «разночинного человека», с темами из Достоевского, включая само понятие «скандал», ассоциируемое с его героями. Обыгрывается известная фотография 1857 г. старших сотрудников «Современника» во главе с Тургеневым. «Вот на лестнице к тому фотографу, — иронически говорилось в рукописи, — и обронили маленькую крупиночку. Хватились — но поздно. Без нее все переменялось». Обронили крупиночку «чести». О принятом молодыми «праве на бесчестие» говорит в «Бесах» Достоевского Степан Верховенский, представитель поколения 40-х годов: «...сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено». В то же время сцене исповеди юнца Ипполита в «Идиоте» придается у Мандельштама смысл, намекающий на слова из этой исповеди: «Кто посягает на единичную «милостыню» — тот посягает на природу человека и презирает его личное достоинство... Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую» (ср. с поведением Парнока в сцене самосуда). Дальнейшая эволюция «литератора-разночинца», в начале следующего века обуржуазившегося, «вселившегося в квартиру на Разъезжей», рождает среду, в которой уже не было места таким разночинцам, как Мандельштам и его герой.

С. 136. *...к неприлично ватерпруфному зданию...* — Ватерпруфный (англ.) — непромокаемый. Мариинский театр стоит непосредственно на берегу Крюкова канала, своим задним фасадом как бы оседая в воде.

*...через Колтino и Среднюю Рогатку...* — Места на выезде из Петербурга в Царскосельском уезде.

С. 141. *Страшная каменная дама «в ботиках Петра Великого» ходит по улицам...* — В рукописи: «Может ли дама носить ботинки Петра Великого? Страшный вздор всегда лезет в голову в решающий момент. Мусор на площади... Самум.... арабы....» Ночной бред Парнока, близкий к сумасшествию Евгения из «Медного всадника». В это время ротмистр Кржижановский увозит его «даму» в Царское село. «Самум» — название стихотворной кни-

ги В.Я.Парнаха (Париж, 1919), в которую вошло и стихотворение «Араб».

*«Просеменил Семен в просеминарий»...* — Студенческая шутка над Семеном Афанасьевичем Венгеровым, руководителем пушкинского семинария в университете.

*Память — это больная девушка-еврейка...* — В рукописи: «Не вспоминайте лишнего. Остановите «мемуары». Память, изнасилованная воспоминаньем, — как та больная девушка с влажными красными губами, убегающая ночью на чадный петербургский вокзал: не увезет ли кто? Но все-таки еще немного: только «страховой старичок»...» В воспаленной голове несчастного Парнока пробегают последние, как перед концом, детские воспоминания.

С. 142. *Ехали таратайки от «ярви» до «ярви»...* — От эстон. järv — озеро.

*Молодая ворона натыжилась...* — В цепь детских воспоминаний героя Мандельштам включает отрывок из своей прозы о Выборге, задуманной, вероятно, одновременно с «Шумом времени». Сохранились ее фрагменты.

*Мон-Репо* (фр.: «мой отдых») — пейзажный парк на островке под Выборгом, созданный в начале XIX в. его хозяином Л.-Г.Николаи (1737—1820), ранее президентом петербургской Академии наук. За приведенным отрывком в рукописи Мандельштама следует: «...Должно быть, барон Николаи знал и ценил художника Бёклина, потому что соорудил у себя в парке «Остров мертвых». Для сообщения с фамильным склепом он выстроил паром, вполне исправный, как бы дежурящий в ожидании свинцового гроба, но вот уже лет двадцать отдыхает эта древнегреческая переправа — видно, барон не слишком торопится в бёклинскую нирвану».

С. 143. *Где-то практиковала женщина-врач Страшунер.* — В рукописи была фраза: «Если хорошенько все перетряхнуть, то изо всех правд останется только одна — правда страха».

*Я, признаться, люблю Мервиса...* — Далее фигура Мервиса уподобляется портному Сорокеру, одному из героев трагического театра С.М.Михоэlsa. Весь этот отрывок перенесен сюда Мандельштамом из черновика его статьи о Михоэlse 1926 года.

С. 144. *...несчастливого певца-кифаредата...* — Намек на драму Инн.Анненского «Фамира-кифаред».

*...хруст мышьяка на зубах у черноволосой французской любовницы...* — В сцене отравления Эммы Бовари



(«младшей сестры» Анны Карениной) из романа Флора.

*Вы, дровяные склады — черные библиотеки города...* — В рукописи далее: «Бабушка Парнока — Ревекка Парнок содержала «библиотеку для чтения». Почтенное ремесло старушки льстило ему. Он гордился бабушкиной библиотекой на углу Вознесенского и Гороховой».

С. 145. *Кому — Бурже, кому — Жорж Онэ...* — Поль Бурже (1851—1935), Жорж Онэ (1848—1918), французские романисты.

*«За несколько минут до начала агонии...»* — Кавычки в тексте говорят об автоцитации — очевидно, из задуманной повести о Бозио.

*Брио (ит.)* — веселость, живость.

*«Duo Foscari»* — опера Дж.Верди на сюжет одноименной драмы Байрона.

*Прощай, Травиата, Розина, Церлина...* — Партии из оперного репертуара Бозио: Виолетта в «Травиате» Верди, Розина в «Севильском цирюльнике» Россини, Церлина в «Дон Жуане» Моцарта.

С. 146. *Тоже, проклятые, завели Трианон...* — Большой и Малый Трианон — увеселительные замки в версальском парке, построенные французскими королями для своих любовниц.

*...тетя Иоганна.* — Иоганна Борисовна Копелянская, родственница матери Мандельштама. Родом из Прибалтики, она своей дородной внешностью и остзейским акцентом напоминала детям императрицу Анну Иоанновну.

*А капитан Голядкин?* — Сознательное смешение имен титулярного советника Голядкина из повести «Двойник» Достоевского и капитана Лебядкина из романа «Бесы».

С. 147. *Под лебязьим, гагачьим гагаринским тухом — под тучковыми тучками...* — Обыгрываются петербургские топонимы: Лебязья канавка, Гагаринская улица (и Гагаринский пеньковый буян), Тучков мост.

*...под французским буше умирающих набережных...* — От имени Фр.Буше (1703—1770), живописца пастельных тонов и декоратора стиля рококо.

*...партия свежих кяхтинских чаев.* — От Кяхты — города и торговой слободы в Забайкальской области на границе с Китаем. Был известен своей чайной торговлей.

С. 148. — *В город Малинов...* — Возможно, название города взято из «Записок молодого человека» А.И.Герце-

на — там это «худший город в мире, ибо ничего нельзя хуже представить для города, как совершенное несуществование его».

*...все шло обратно, как всегда бывает во сне.* — В рукописи: «...я понял, что все мы живем обратно, как всегда бывает во сне».

*...из петербургского инфлюэнциного бреда.* — Основное понятие об инфлюэнции (слово вошло в петербургский оборот с XVIII в.) — горячка в морозы.

С. 149. *...российская лира из безгласного теста.* — Возможно, намек на представление о народе как о «калужском тесте», обратное представлению о нем как о творящей силе, — проблематика, знакомая со времен спора между западниками и славянофилами. В рукописи далее было: «Тогда, окончательно расхрабрившись, я влетаю в хоровод вещей и свою нечесаную голову, и Парнока — египетскую марку, и милую головку Анжиолины Бозио».

С. 150. *Железнодорожная проза... развязана от всякой заботы о красоте и округленности.* — В рукописи следует французская поговорка: «Il faut battre le fer lorsque il est chaud» (куй железо, пока горячо), словно ее бормочет тот кошмарный «мужичок» у Толстого, кто в последнюю секунду жизни Анны Карениной, «приговаривая что-то, работал над железом».

*...все шестьсот девять николаевских верст...* — Расстояние от Петербурга до Москвы по Николаевской железной дороге. В рукописи далее: «...там бросается на рельсы то, что было некогда словом».

*В Москве он остановился в гостинице «Селект»...* — Намек на дальнейшую карьеру бывшего жандармского ротмистра, потом начальника петроградской милиции Кржижановского. В этой гостинице на Лубянке, как и в прилегающих зданиях страхового общества «Россия», с 1918 г. располагалась ВЧК.

Печатается по сверке двух списков Н.Я.Мандельштам, изготовленных ею в 1940-е гг. с более ранних, несохранившихся списков.

Проза диктовалась Мандельштамом жене зимой 1929/1930 г. Ее заглавие, по высказанному предположению, могло означать: последняя, крайняя или не могущая быть проза (по аналогии, например, с выражением «четвертый Рим»).

С. 155. *Веньямин Федорович Каган* (1869—1953) — математик, с 1923 г. профессор Московского университета.

*...в невероятном деле спасения пятерых жизней...* — Дело, о котором идет речь, связано с приговором к расстрелу (14 апреля 1928 г.) шести членов правлений кредитных обществ (их фамилии: Гуревич, Винберг, Гр.Ратнер, Капцов, Синелобов, Ким) и одного работника Наркомфина (Николаевский), обвиненных в экономической контрреволюции (прелюдия к так называемому Шахтинскому процессу «вредителей», открывшемуся 18 мая). «О.М., — пишет Н.Я.Мандельштам в «Воспоминаниях», — случайно узнал на улице про предполагаемый расстрел пяти стариков и в дикой ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все только пожимали плечами, и он со всей силой обрушился на Бухарина, единственного человека, который поддавался доводам и не спрашивал: «А вам-то что?» Как последний довод против казни О.М. прислал Бухарину свою только что вышедшую книгу «Стихотворения» с надписью: в этой книге каждая строчка говорит против того, что вы собираетесь сделать... Приговор отменили, и Николай Иванович сообщил об этом телеграммой в Ял-

ту, куда О.М., исчерпав все свои доводы, приехал ко мне».

*Исай Бенедиктович* — И.Б.Мандельштам (1885—1954), дальний родственник поэта, переводчик. От него первого Мандельштам узнал о вынесенном приговоре.

С. 156. *Как турок ездит к черному камню Каабы...* — К мусульманскому святилищу в Мекке.

*...кушал свой потаж...* — Potage (фр.) — суп.

*...ходил... к двум скупицам переводного барахла.* — То есть в издательства, занимавшиеся выпуском переводов (в Ленинграде это местное отделение Госиздата и «Прибой»).

С. 157. *Легкая кавалерия.* — Летучие отряды из комсомольцев, созданные в 1928 г. в Москве с задачей чистки государственного аппарата и с лозунгом — превратим легкую кавалерию в движение миллионов!

*Мы бузотеры с разрешения всех святых.* — Подразумеваются систематически проводимые кампании публичных издевательств над религией, в особенности встречи «комсомольского Рождества» и «комсомольской Пасхи» — с шутовскими шествиями под глумливые лозунги, с несением кощунственных чучел святых и т.п.

С. 158. *...стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате...* — В старом пассаже на Тверской ул. (в здании, где ныне Театр им. Ермоловой), с рестораном и театральным залом, помещались редакции газет объединения «Московская правда». «Все вместе называлось «комбинатом», — пишет Н.Я.Мандельштам, — а управлял им «лихач-хозяйственник» Гибер... просто завхоз или коммерческий директор с лихим воображением». На службу в газету «Московский комсомолец» Мандельштам поступил в августе 1929 г.

*Здесь, как в пушкинской сказке, жида с лягушкой венчают...* — Из пушкинского стихотворения «Гусар»:

Гляжу: гора. На той горе  
Кипят котлы; поют, играют,  
Свистят, и в мерзостной игре  
Жида с лягушкой венчают...

*Он саваном газетным шелестит.* — Строка из финала пьесы немецкого революционного поэта Э.Толлера «Человек-масса» (1921) в переводе Мандельштама. Приговоренная к смерти Женщина, соблазненная революцией, так отвечает на призыв пришедшего ее освободить безымянного Человека-массы:

...Ты бедный маршал от намыленной веревки.  
Словарь твой скудный: «Смерть» и «истребить».  
Сбрось легкий плащ речей высокопарных,  
Он саваном бумажным шелестит.

В статье о Толлере Мандельштам писал, что «в уста героини, погибшей от раздвоенности, он вложил самые сильные, самые огненные слова, какие мог произнести старый мир в защиту гуманизма».

...*прямо из караван-сарая Цекубу.* — Из «Общежития для приезжающих ученых», устроенного Центральной комиссией по улучшению быта ученых в доме на Кропоткинской (Пречистенской) набережной (№ 5).

С. 159. *Дикое мясо* — болезненный мясистый нарост на ранах и язвах (Даль).

«*И до самой кости ранено...*» — Строчки из поэмы Важа Пшавела «Гоготур и Апшина» в переводе Мандельштама.

...*всех посадить за стол в Доме Герцена...* — Дом на Тверском бульваре (№ 25), где родился А.И.Герцен. Там в 1920-х гг. размещались писательские организации. В общежитии этого дома жили Мандельштам с женой в 1922—1923 и 1931—1933 гг.

*Горнфельд* Аркадий Георгиевич (1867—1941) — литературовед, критик и переводчик. На конфликте с защищающим свои юридические права Горнфельдом строится крупная нравственная драматургия «Четвертой прозы».

...*отцы их запроданы рябому черту...* — То есть Сталина.

*Вот эта литературная страничка.* — «Литературной страничкой» назывался раздел, который вел Мандельштам в «Московском комсомольце».

С. 160. *Пошли вон, дураки!* — «Ну так, если вы хотите кончить одним разом, скажите просто: “Пошли вон, дураки”» (из «Женитьбы» Гоголя).

*Халды-балды* — пустословие, вздорные речи (Даль).

*Сарты* — народность, представлявшая остатки коренного иранского населения русской Средней Азии.

*Мравьян-Муравьян* — Асканаз Артемьевич Мравьян (1886—1929), нарком просвещения Армянской ССР. В июне 1929 г. на запрос Н.И.Бухарина, может ли Мандельштам получить какую-нибудь работу в Армении, пришел телеграфный ответ Мравьяна: «Просьба передать поэту Мандельштаму возможно предоставить в Универ-

ситете лекции по истории русской литературы также русскому языку в Ветеринарном институте».

...в армянский особняк на самой чистой, посольской улице Москвы. — Представительство Армянской ССР находилось на ул. Рождественка (дом № 3).

С. 165. *Есть прекрасный русский стих... «...не расстреливал несчастных по темницам».* — Из стихотворения С.Есенина «Я обманывать себя не стану...» (1922).

*Благой* Дмитрий Дмитриевич (1893—1984) — литературовед-пушкинист. С 1926 г. занимался организацией литературного музея в Доме Герцена, где был отдел памяти С.Есенина.

*Пся-кровь* — польское ругательство. За концом этой главки в одном списке «Четвертой прозы» следовало еще: «Кто же, братишки, по-вашему больше филолог: Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отречься до десятых петухов, — или Митька Благой с веревкой? По-моему — Сталин. По-моему — Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык».

*Этот паралитический Дантес...* — А.Г.Горнфельд был калекой, с больными ногами.

...этот дядя Моня с Бассейной... — Горнфельд жил в Петербурге на Бассейной улице (ул. Некрасова).

С. 166. ...имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. — Пародийное совмещение лиц из иконостаса русской либеральной общественности. Имя бельгийского «короля-рыцаря» Альберта I, сражавшегося в Первую мировую войну во главе своего войска, было на устах ее патриотической части. С В.Г.Короленко Горнфельда связывала долголетняя служба в народническом журнале «Русское богатство».

...с удовольствием слушаю, как он твердит из «Уленшпигеля»... — Горнфельду принадлежит первый русский перевод романа Ш. де Костера об Уленшпигеле (1915). Роман тогда ассоциировался с судьбой оккупированной немцами Бельгии и героическим поведением ее короля.

...«Нет на свете мук сильнее муки слова». — Из стихотворения С.Я.Надсона «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю...» (1882). Свой теоретический трактат «Муки слова» Горнфельд выпустил в 1906 г. (переиздан в расширенном виде в 1924-м), сопроводив его эпиграфом из Надсона и посвящением «памяти Пушкина» (!).

...в буфете Квисисана... — Квисисана (ит. «здесь лечатся») — дореволюционный ресторан на Невском пр. с механическим автомат-буфетом.

*...зачем ты пошел жаловаться в «Биржовку», то есть в «Красную вечернюю газету», в двадцать девятом советском году? — «Биржевые ведомости» — газета, основанная в 1880 г. банкиром С.М.Проппером, самая распространенная из петербургских обывательских газет до революции.*

28 ноября 1928 г. в ленинградской вечерней «Красной газете» появилось письмо в редакцию А.Г.Горнфельда под названием «Переводческая стряпня», — по случаю выхода в издательстве ЗИФ «Тили Уленшпигеля» де Костера. Переводчиком на титульном листе был указан Мандельштам. На самом деле издательство заказало ему литературную обработку романа на основе двух имевшихся переводов — Горнфельда и В.Н.Карякина. О том, что вместо: «Перевод с французского О.Мандельштама» должно было стоять: «Перевод с французского в обработке и под редакцией О.Мандельштама», — издательство сообщило письмом в редакцию «Красной газеты» 13 ноября, то есть до появления письма Горнфельда, что не мешало тому заявить: «Но когда, бродя по толчку, я захожу там, хотя и в переделанном виде, пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить: “А ведь пальто-то краденое”». Поставив эти слова Горнфельда эпиграфом к своему ответу ему (газ. «Вечерняя Москва», 10 декабря), Мандельштам спрашивал «литературного критика Горнфельда», как мог тот «унизиться до своей фразы о “шубе”» и заканчивал ответ: «Дурным порядкам и навыкам нужно свертывать шею, но это не значит, что писатели должны свертывать шею друг другу». Все это было лишь увертюрой к «процессу», основное действие которого разыгрывалось в 1929 г.

*...банкиру с... кугелем и талесом... — Кутель — традиционное еврейское блюдо (лапша с гусиным или овечьим салом). Талес — молитвенная накидка у евреев.*

*Есть одна секретарша... — Августа Петровна Короткова (р. 1899), секретарша Н.И.Бухарина, которую он звал «пеночкой».*

*Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия. — Циническая шутка В.П.Катаева. Мрия (укр.) — мечта, сон.*

*С. 167. ...с телефоном и классической газетой! — То есть с газетой «Правда», которую редактировал Бухарин.*

*...певица Бозио... — См. о ней в «Египетской марке».*

*Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами... вынесут полицейский гроб... из продыmlенной залы окружного суда. — Обстановка*

похорон Бозио смешивается в этом пассаже с тем, что творилось в зале Петербургского окружного суда при оправдании революционерки Веры Засулич в 1878 г.

«Черная оспа / Пошла от Фоспа». — От Федерации объединений советских писателей, созданной на своем учредительном заседании 5 января 1927 г. (торжественный акт ее создания состоялся 21 ноября). Именно 1927 год назвал Пастернак в телефонном разговоре со Сталиным датой, когда обращаться за помощью в писательские организации стало бесполезно. Конфликтная комиссия ФОСПа решала дело Мандельштама в 1929 г., — ее разбирательство перешло в травлю поэта.

С. 168. ...*скрипящий табор немывтых романес...* — От самоназвания цыган — «ром» («романес» — значит «поцыгански»).

*Было два брата Шенье...* — Андре-Мари Шенье (1762—1794), певец свободы и ненавистник революционного насилия, стал жертвой якобинской диктатуры за два дня до ее падения. (В стихах Мандельштама: «Шенье достойно принял рок, / Когда на черной колеснице / Он просиял, как полу-Бог»). Его младший брат Мари-Жозеф Шенье (1764—1811), член Конвента и Якобинского клуба, добивался поэтической славы, одновременно делая карьеру политического демагога.

С. 169. *Nel mezzo del cammin di nostra vita* — стих, которым открывается «Божественная комедия» Данте.

...*внушил петербуржскому хаму желание процитировать... жаркую гоголевскую шубу...* — 7 мая 1929 г. в «Литературной газете» (органе Федерации объединений советских писателей) с нагло клеветническим фельетоном о Мандельштаме и его конфликте с Горнфельдом выступил небезызвестный партийный журналист Д.О.Заславский. Фельетон назывался «О скромном плагиате и развязной халтуре», в нем опять прозвучала злощастная фраза Горнфельда об унесенном из его прихожей пальто или шубе. Как потом признавался Заславский, фельетон был заказан ему и одобрен «Литературной газетой». Дело Мандельштама с Горнфельдом получило необратимый характер.

...*похабного дома на Тверском бульваре...* — То есть писательского Дома Герцена.

С. 170. *Хоть бы раз Иван Моисеич в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак!* —

«Эй, Иван! иди-ка стряпать!

Эй, Иван! чеши собак!»



Пил детина Ерофеич,  
 Плакал да кричал:  
 «Хоть бы раз Иван Мосеич  
 Кто меня назвал!»  
 (Н. Некрасов. «Эй, Иван!», 1867)

*Французику — шер мэтр, дорогой учитель...* — Намек на приезд в СССР в октябре-ноябре 1928 г. французского поэта Шарля Вильдрака, удостоившегося полного внимания со стороны «общественности».

С. 171. *...для меня в бублике ценна дырка.* — В агитпьесе Маяковского: «Одному бублик, / другому дырка от бублика. / Это и есть демократическая республика» («Мистерия-буфф»).

*Л. и Т. ходят в обнимку...* — Ленин и Троцкий. Пародируются типовые начала политических анекдотов той поры.

*Уодного ведрышко и константинопольская удочка...* — Троцкого, высланного за пределы СССР, препроводили в Константинополь, куда он прибыл 12 февраля 1928 г. на пароходе «Ильич». Турецкое правительство назначило ему жительство Принцезы острова.

*Лееркастен (нем. Leierkasten)* — шарманка.

*Эм-эс-пэ-о...* — Московский союз потребительских обществ.

С. 172. *Ходят армяне... с зелеными крашеными селедками.* — Из абсурдных «армянских загадок» того времени (Висят крашеные селедки и пищат. — А почему пищат? — Чтобы понятно было...).

*А в Армавире...* — Армавиром (город на Северном Кавказе) когда-то называлась легендарная столица Великой Армении.

Текст на основании сохранившейся авторской рукописи подготовлен С.В.Василенко.

Последнее появившееся в печати произведение Мандельштама (Звезда. 1933. № 5 — с пропусками и искажениями), над которым он работал с весны 1931 г. В марте 1933 г., отвечая М.С.Шагинян на ее критику своего замысла, Мандельштам писал: «Книжка моя говорит о том, что глаз есть орудие мышления, о том, что свет есть сила и что орнамент есть мысль. В ней речь идет о дружбе, о науке, об интеллектуальной страсти, а не о «вещах». Надо всегда путешествовать, а не только в Армению и в Таджикистан. Величайшая награда для художника — подвигнуть к деятельности мыслящих и чувствующих иначе, чем он сам. С вами на этот раз не удалось».

В черновых записях Мандельштама осталось его раздумье над самой сущностью прозаического повествования: «Действительность носит сплошной характер. Соответствующая ей проза, как бы ясно и подробно, как бы деловито и верно она ни составлялась, всегда образует прерывистый ряд. Но только та проза действительно хороша, которая всей своей системой внедрена в сплошное, хотя его невозможно показать никакими силами и средствами. Таким образом, прозаический рассказ не что иное, как прерывистый знак непрерывного... Безынтервальная характеристика невозможна. Для прозы важно *содержание и место*, а не содержание-форма. Прозаическая форма: синтез. Смысловые словарные частицы, разбегающиеся по местам. Неокончателность этого места перебежки. В прозе — всегда «Юрьев день»».

С. 177. *На острове Севане...* — Островом была скалистая суша на высокогорном озере Севан (другое название — Гокча), ставшая впоследствии полуостровом (в 1955 г. — из-за варварского сброса озерной воды через р. Раздан). В бывших монастырских помещениях на острове был устроен профсоюзный дом отдыха, где Мандельштам с женой прожили июль 1930 г.

*Два достойнейших архитектурных памятника* — церкви св. Апостолов и св. Богородицы, построенные в 874 г.

*...месмерический сеанс изменения погоды...* — От «месмеризма», учения о магнетических влияниях на животные организмы. Основатель — Фр.Месмер (1738—1815), лечил больных, вызывая у них различные кризисные состояния.

С. 178. *...на длинной и унылой косе Саманакерта...* — Тянущейся от северного берега озера (по ней впоследствии прошла перемычка, соединившая остров с берегом).

*Профессор Хачатурьян* — Асатур Хачатурович (1862—1938), армянский этнограф и археолог, специалист по истории государства Урарту. Работал в Эрзеруме и Константинополе, с 1925 г. — в Эривани.

*...директором... армянской гимназии в Карсе.* — Областной город в юго-западной части Закавказья. Карсская область отошла к Турции по мирному договору с ней советского правительства в 1921 г.

*...вражду к яфетическим выдумкам Марра...* — В системе «нового учения о языке» академика Н.Я.Марра (1865—1934) особая роль отводилась кавказским («яфетическим») народам.

*Кариньян* Арташес Баласиевич (1886—1982) — председатель ЦИК Армянской ССР в 1924—1930 гг., в новой должности — заместитель директора Историко-литературного института.

*...чтение напостовской литературы...* — То есть продукции «неистовых ревнителеей» пролетарской диктатуры, какими были критики журнала «На посту» (с 1926 г. — «На литературном посту»).

С. 179. *...с осьмигранниками монастырей.* — Армянские церкви с восьмигранными барабанами куполов.

*...почтенный краевед и друг армянского лесонасаждения Ив. Як. Сагательян...* — Иоанес Теракопович (1867—1936), в прошлом ректор Эчмиадзинской духовной семинарии, депутат II и III Государственных дум от партии «Дашнакцутюн», вернулся в Армению из эмиграции

ции в 1921 г., занимался природоохранной деятельностью.

*...жизнерадостный химик Гамбаров.* — Степан Погович Гамбарян (1879—1948), работавший с 1920 г. в Эривани, где основал кафедру и лабораторию органической химии. Один из открывателей советского синтетического каучука.

С. 180. *Непрочитанная газета загремела жестью в руках.* — Телеграмма о гибели проф. Гамбарова была уже отправлена.

*Еленовка* — село на южном берегу Севана (с 1935 г. — г. Севан).

С. 181. *На рыбной пристани Норадуза...* — Селение восточнее Еленовки, где располагался главный рыбозавод Арменторга, с 1924 г. арендовавшего Севан.

*...экскурсию, обошедшуюся, к счастью, без хорового пенья...* — В черновых записях к «Путешествию в Армению» было: «Хоровое пенье, этот бич советских домов отдыха, совершенно отсутствовало на Севане. Древнему армянскому народу претит бесшабашная песня с ее фальшивым былинным размахом, заключенным в бутылку казенного образца».

*В... столовой, такой же бревенчатой и — мин-херцпетровской...* — Ассоциация с Немецкой слободой в Москве времен юности Петра I («минхерц» — «сердце мое» — бывшее там в обычае обращение. У Мандельштама здесь след чтения романа «Петр Первый» А.Н.Толстого).

*...с ее домами из апельсинного камня...* — Из базальтового армянского туфа розоватого цвета. Этот камень широко применялся в начатом тогда строительстве «нового Еревана».

*Л.В.Арнольди* заведовал ихтиологической станцией в Еленовке.

*...в молоканской Еленовке...* — Молокане — секта «духовных христиан», известная со второй половины XVIII в. В Армении жили в нескольких деревнях неподалеку от Севана.

С. 182. *...на развалинах Звардnodза...* — Зварнодз (Звартноц) — храм Бдящих Сил, всемирно известный храм, построенный близ Эчмиадзина при католикосе Нерсесе III (640—661) в память просветителя Армении св. Григория. Разрушен арабами в конце X в. Здание было центрально-купольным, типа ротонды, в три яруса. Его развалины, вернее, что осталось из его обломков, составляют музей под открытым небом.

С. 183. *Ашот Аванесьян* — Ашот Гареникович Ованесян (1887—1972) — государственный и партийный деятель (первый секретарь ЦК КП(б) Армении в 1922—1927 гг.), историк, с 1928 г. — в Москве.

*Институт народов Востока* — Институт по изучению языков и этнических культур восточных народов СССР, размещавшийся в палатах дьяка Аверкия Кириллова XVII в. на *Берсеневской набережной*. *Дом Правительства*, построенный в 1928—1930 гг., — комплекс жилых правительственных зданий на этой набережной.

Описываемый визит происходит летом 1931 г. «Это был гребень моих занятий арменистикой, — записывает Мандельштам, — год спустя после возвращения из Эривани — глухонемая пора, о которой я должен теперь рассказать...»

*Воздух на набережной Москвы-реки тягучий и мучнистый.* — На противоположном берегу находилась кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (бывшая Эйнема).

*...дух яфетического любомудрия, проникающий в структурные глубины всякой речи...* — В основе теории Н.Я.Марра лежала идея развития языков не от единого корня, а происходящего в результате скрещения, причем главная роль в этом отводилась яфетическому (кавказскому) компоненту как наиболее древнему и «глубинному». Яфетиды, по Марру, были первоначальным населением всего Средиземноморья, позднее скрещенным с индоевропейцами, семитами и другими народами.

С. 185. *...книжку Синьяка в защиту импрессионизма.* — Книжка П.Синьяка (1863—1935) под названием «От Эж.Делакруа к неоимпрессионизму» появилась в русском переводе в 1913 г.

*...«закон оптической смеси»...* — Новый живописный метод, предложенный художниками Сёра и Синьяком, исключал смешение красок на палитре, еще допускавшееся импрессионистами. Чистые цвета смешивались уже в глазу зрителя — оптически, подчиняясь закону спектрального анализа. Нужный эффект достигался посредством живописного мазка определенной формы.

С. 186. *...беседовать с читателем о настоящем в tone абсолютной вежливости...* — Выходить на прямой разговор с современниками можно, «сохранив дистанцию свою», — вероятно, эта мысль вложена Мандельштамом в слова об «абсолютной вежливости».

*...это происходит от нетерпения, с которым я живу и меняю кожу.* — Отвечая самому себе в стихах, Мандельштам пишет:

Не волноваться! Нетерпенья роскошь  
Я постепенно в скорость разовью —  
Холодным шагом выйдем на дорожку,  
Я сохранил дистанцию мою.

(«Довольно кукусься...», 7 июня 1931)

*Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся.* — Действие происходит в июне-августе 1931 г., когда Мандельштам с женой снимали комнату в Замоскворечье на Б.Полянке. В черновике осталась зарисовка бытовой обстановки: «Соседи мои по квартире были трудящиеся довольно сурового закала. Мужчины умывались в сетчатых майках под краном. Женщины туго накачивали примуса, и все они яростно контролировали друг друга в соблюдении правил коммунального общежития». «О.М. употреблял слово “трудящиеся”, — замечает Н.Я.Мандельштам, — которое навязло на зубах из-за газетного треска, в значении “служащие”, “обыватели”».

*...как будто произносили слово «повидло».* — В то время «на кухнях коммунальных квартир непрерывно говорили о повидле, заменявшем дорогой сахар» (*примеч. Н.Я.Мандельштам*).

С. 187. *Выбор университета остановился на Б.С.Кузине...* — С Борисом Сергеевичем Кузиным (1903—1973) Мандельштам познакомился в мае 1930 г. по приезду в Эривань. Энтомолог Кузин занимался в Армении наблюдениями за выходом кошенили. В 1931 г. была его вторая поездка туда с этой целью.

С. 188. *Старик Сергеев* — Илья Сергеевич (ум. 1933), университетский столяр при Зоологическом музее, где работал Б.С.Кузин.

*...имел какое-то прикосновение к саламандрам знаменитого венского самоубийцы — профессора Каммерера...* — Пауля Каммерера (1880—1926). История его гибели в книге Д.Гранина «Зубр» рисуется так: «Австрийский зоолог свято верил в наследование приобретенных признаков. Он ставил опыты, чтобы доказать это на пятнистых саламандрах, на жабах. Над ним смеялись, он же все более упорствовал. Он опубликовал книгу о том, как он переделал одну жабу в другую, о том, что он получил якобы жабу с мозолью другой окраски. Тогда америка-

нец зоолог Нобель приехал в Вену и стал исследовать препараты Каммерера. Внимательно осмотрев мозоли у жаб, он обнаружил, что в них впрыснута тушь. История эта получила огласку, и на Каммерера посыпались обвинения. Он покончил с собой. Позже выяснилось, что Каммерер искренне заблуждался. Для него было страшным ударом обнаружить, что это — подделка... Он не мог жить, если его подозревали в фальсификации данных». В своем предсмертном письме Каммерер передал привет группе своих советских друзей, в том числе Б.С.Кузину.

*Разлука — младшая сестра смерти.* — Далее описывается празднование дня рождения Кузина, совпавшее с его проводами. Это день 11 мая 1931 г.

С. 189. *...в линнеевской латыни...* — То есть в двойной номенклатуре животных и растений по роду и виду, разработанной в классификационной системе Карла Линнея (1707—1778).

*...в споре между ламаркистами и эпигенетиками...* — Спор шел о природе и смысле эволюции. Эпигенез — учение о развитии организмов как процессе последовательных новообразований в послезародышевый период, — взгляд, обратный признанию в зародыше изначального многообразия структур. Из учения Ж.-Б.Ламарка (1744—1829) эпигенетики во главе с П.Каммерером использовали мысль о целесообразном реагировании организмов на меняющиеся условия жизни и о наследовании приобретенных признаков. Эпигенетиками-неоламаркистами считали себя новые друзья Мандельштама — биологи Кузин, Е.С.Смирнов, Ю.М.Вермель, Н.Д.Леонов. Антидарвинистами их делало отрицание творческой роли естественного отбора.

*Хондрилла* — каучуконосное растение.

С. 190. *...поездки в Узкое...* — В подмосковный академический санаторий, расположенный в бывшем имении кн. Трубецких (ныне в черте города).

*...пирамиду черепов на скучной картине Верещагина.* — «Апофеоз войны» — картина В.В.Верещагина в Третьяковской галерее.

*...бальные, лжекотильонные знаки...* — Значки раздавались при котильоне для определения разных фигур или туров танца.

*Итак, Б.С., вы уезжаете первым.* — Мандельштам мечтал о новой поездке в Армению. Однако в стихах, замечает Н.Я.Мандельштам, «он не тешил себя пустыми

надеждами». «Я тебя никогда не увижу, / Близорукое армянское небо», — сказано в стихотворении 1930 г.

...у милейших людей — Тер-Оганьянов. — Двух сестер биологов и брата врача из близкой Б.С.Кузину семьи. В доме Тер-Оганьянов Кузин договорился встретиться с Мандельштамом, познакомившись с ним накануне.

С. 191. ...*большеротые люди с глазами, просверленными прямо из черепа, — армяне.* — Мандельштам повторил этот образ в стихах, обращенных к армянским ссыльным, — в 1937 г. В памяти Н.Я.Мандельштам сохранились две строчки из них:

Такие же люди, как вы, с глазами, вдолбленными в череп...  
Такие же судьбы, как вы, лишили вас холода тутовых ягод...

...служившие сардарскому правосудию... — Сардары — персидские наместники в Армении (XVI—XVIII вв.).

С. 192. ...у Гёте в «Вильгельме Мейстере»... — В романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера».

...о теории «эмбрионального поля», предложенной профессором Гурвичем. — Речь шла об осуществлении и наследовании пространственной формы организмов, не сводимой к набору чисто химических признаков. Процессу эмбрионального развития придавались динамические характеристики, и задача сводилась к отысканию вида функциональной зависимости, существующей между организмом и вызывающей его к росту средой. Теория разрабатывалась А.Г.Гурвичем (1874—1964) начиная с 1910-х гг., вылившись в общую «Теорию биологического поля» (1944). На примере развития формы листа настурции ее проводил Е.С.Смирнов (1898—1977), выдвинув в двух статьях 1931 г. понятие векторного поля.

С. 193. ...звук, извлеченный палочкой терменвокса... — Терменвокс — электромузыкальный прибор, изобретенный в 1920 г. петроградским инженером Л.С.Терменом. Звук извлекался приближением палочки или руки исполнителя к антенне.

...один писатель принес публичное покаяние в том, что был орнаменталистом... — Имеется в виду доклад писателя М.Э.Козакова (1897—1954) «О самокритике и о самом себе», напечатанный в «Литературной газете» 25 августа 1931 г. Орнаментализмом в тогдашней критике считалась всякая система изобразительных средств, не служащая целям социального задания. Мандельштаму дорого понятие орнамента, связанное с «ткачеством».



Оно выражает его представление о конструктивном характере художественного образа (см. в «Разговоре о Данте»).

*...место в седьмом круге дантовского ада...* — Где казнятся насильники над собою и над своим достоянием — «Ад», песнь XIII.

С. 194. *...наша кровь излучает митогенетические лучи...* — Слабое ультрафиолетовое излучение, продуцируемое в биохимических процессах живыми тканями организма и стимулирующее деление клеток. Открыто А.Г.Гурвичем в 1923 г. в дополнение к его теории «поля». Н.Я.Мандельштам вспоминала, что об этих лучах Кузин заговорил с Мандельштамом сразу при их знакомстве.

*...процесс припоминания... удивительно схож с феноменом роста.* — Из работ дружественных Мандельштаму биологов вытекало, что нет резкой грани между понятиями роста и формообразования. «Рост» — оборотень, а не реформатор, — шутливо записывает Мандельштам. — Кроме того, он фольклорный дурень, плачущий на свадьбе и смеющийся на похоронах. Недаром мы наиболее бестактны в возрасте, когда у нас ломается голос».

С. 195. *В начале апреля я приехал в Сухум...* — По пути в Армению, куда Мандельштам с женой добрались в начале мая (1930 г.). В ожидании документов («к которым по совести и не мог относиться иначе, как к липовым», — сказано у Мандельштама в черновых записях) их поселили на даче Совнаркома Абхазии — Доме отдыха им. Орджоникидзе в Сухуме. Как известно, поездку устроил Н.И.Бухарин, действуя через Молотова и С.И.Гусева (из Культпропа ЦК). К этому времени конфликт Мандельштама с советской общественностью из-за дела с Горнфельдом достиг крайних степеней — дело перешло в Центральную Контрольную комиссию ЦК, где велись многочасовые политические допросы. По Москве прошел слух о самоубийстве или сумасшествии Мандельштама (30 марта 1930 г. Горнфельд пишет А.Б.Дерману: «Несчастный О.М. попросту свихнулся и сидит в доме умалишенных... Очень жаль поэта, но я в этом не виноват: Вы засвидетельствуете это, когда меня будут винить в том, что я затравил М., как Буренин Надсона»).

*...город траура...* — «Сухум зимой и ранней весной — город туберкулезных, — замечает Н.Я.Мандельштам. — Траурный марш слышался при всех, частых весною, похоронах».

«Апсны» — абхазский язык.

...с так называемой горы Чернявского... — Гора называлась по имени купца, когда-то купившего ее и вырубившего на ней лес. Дом отдыха располагался на площадке горы.

С. 196. *Подвойский* Николай Ильич (1880—1948) — бывший организатор Красной армии, первый «наркомвоен» (до Троцкого) в советском правительстве. В 1930 г. — руководитель Культпросвета и Всероссийского общества борьбы с алкоголизмом.

...его мечтой было проштудировать «Капитал» Карла Маркса в шалаше Поля и Виргинии. — Персонажи руссоистской идиллии «Поля и Виргиния» (1784) французского писателя Бернардена де Сен-Пьера. Подвойский выражал недовольство времяпрепровождением отдыхающих на правительственной даче, «рассматривающих свой отдых как удовольствие, а не как необходимость», — пишет он жене. Его девизом было: «Я должен всех повернуть на коммунизм».

С. 197. *Гулия* Дмитрий Иосифович (1874—1960) — абхазский поэт и ученый, в 1930 г. — председатель Академии абхазского языка и литературы. Организовал и возглавил первую в Абхазии театральную труппу.

*Тартарен и оружейник Костекальд* — персонажи романа «Тартарен из Тараскона» (1869) А.Доде.

*Евреинов* Николай Николаевич (1879—1958) — драматург и режиссер петербургских театров, объявивший своим принципом универсальную театрализацию жизни, включая мир собственной души. Древнейший «культ козла» служил в этом образцом. В Сухум заехал во время своих скитаний 1917—1920 гг.

...четверо эпических молодцев из армии Блюхера... — В.К.Блюхер с августа 1929 г. командовал Особой Дальневосточной армией. «После очередной японской стычки (1930) четверо отличившихся лейтенантов были посланы в санаторий абхазского ЦИКа» (примеч. Н.Я.Мандельштам).

...бриллиантом Тэта. — Видимо, говорится об алмазах «Тойт» (или «Тю Тойт» — по названию рудника) — два крупных алмаза желтоватого цвета, найденные в южноафриканских коях в 1871 и 1887 гг.

...если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия. — Следовала вычеркнутая фраза: «Да поможет нам кисть, резец и голос и его союзник — глаз».

С. 198. *Безыменский* Александр Ильич (1898—1973) — поэт комсомола, деятель «ассоциаций пролетарских пи-

сателей» (с 1928 г. — РАПП) — гегемонов в переустройстве литературы на партийных началах. В записях Мандельштама рассказывается, как от Безыменского он принял «океаническую весть» о смерти Маяковского 14 апреля 1930 г. и как «общество, собравшееся в Сухуме», приняло ту же весть «с постыдным равнодушием». «В тот же вечер плясали казачка и пели гурьбой у рояля студенческие вихрастые песни».

С. 199. *...азарт голубых и оранжевых маек...* — Перед этим в записях: «Такая определенность цвета, такая облизывающаяся дерзость раскраски бывает только на скачках...»

*Время в музее обращалось согласно песочным часам.* — Обстановка в Музее нового западного искусства, объединившем коллекции С.И.Щукина и И.А.Морозова в Москве. Музей (расформирован в 1948 г.) размещался в бывшем особняке последнего на Пречистенке. Описываются картины великих мастеров импрессионистской живописи, ныне хранящиеся в московском Музее изобразительных искусств и в Эрмитаже.

С. 200. *Доски пола в ночном кафе наклонены...* — В картине Ван-Гога «Ночное кафе в Арле». Жемчужину московской коллекции продали в 1933 г., и ныне она находится в галерее Йельского университета (США).

*...зрительные пособия — карты из школы Берлица.* — Школы преподавания новых языков методом наглядных пособий. Основана в конце XIX в. М.Д.Берлицем во многих городах Европы и Америки.

*В комнате Клода Моне воздух речной.* — Далее в записях: «Входишь в картину по скользким подводным ступеням дачной купальни. Температура 16° по Реомюру... Не заглядывайся, а то вскочат на ладонях янтарные волдыри, как у изнеженного гребца, который ведет против течения лодку, полную смеха и муслина». Из картин К.Моне описывается еще «Сирень на солнце» — первообраз стихотворения Мандельштама «Импрессионизм» (1932): «Роскошные плотные сирени Иль-де-Франс, сплюсненные из звездочек в пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную лепестковую массу; дивные пчелиные сирени, исключившие все на свете, кроме дремучих восприятий шмеля, — горели на стене самодышащей купиной, более сложные и чувственные, чем женщины».

*Озанфан Амеде (1886—1966)* — художник уже последующей, «кубистской» эпохи. Его натюрморт «Графика на черном поле» (1928) музей приобрел в 1929 г.

С. 205. *Но вероятность тиража обратно пропорциональна его осуществимости.* — То есть «выигрыш» зрителя от контакта с картиной достигается путем, обратным ее прямому воздействию, это — предварительное уравнивание чувств зрителя и чужого художественного опыта, затем — внутреннее проникновение в этот опыт и наконец — «очная ставка с замыслом» — свободное, независимое от «шелухи» внешнего покроя картины, общение с ее сутью.

С. 206. *Вокруг натуралистов.* — В черновых записях остались слова, могущие быть вступлением к этой главе: «Мы приближаемся к тайнам органической жизни. Ведь для взрослого человека самое трудное — это переход от мышления неорганического, к которому он приучается в пору своей наивысшей активности, когда мысль является лишь придатком действия, — к первообразу мышления органического. С тех пор как друзья мои — хотя это слишком громко, я скажу лучше: приятели — вовлекли меня в круг естественнонаучных интересов, в жизни моей образовалась широкая прогалина. Передо мной раскрылся выход в светлое деятельное поле».

*...как научные дикари XIX века?* — Научным дикарством, «невежеством» людей этого века Мандельштам считал их представление о прогрессе как о дурной бесконечности сменяющих друг друга временных явлений, что входило и в само понятие эволюции.

*...не прощай природе пустячка, который называется изменчивостью видов.* — У Ж.-Б.Ламарка в его «Философии зоологии» (1809) с признанием изменчивости видов животных соединялось представление о «подвижной лестнице» живых существ, обусловленной в своем восхождении от низшего к высшему внутренним стремлением к совершенствованию. Перемены, происходящие от воздействия условий меняющейся среды, ведут, по Ламарку, к уклонениям от правильной «градации» видов.

*Aux armes!* — Призыв из «Марсельезы», боевого гимна 1792 г.

*Чтение натуралистов-систематиков...* — Систематика в биологии — расположение видов растительных и животных организмов по определенному системному признаку вне зависимости от их происхождения, — такой подход ближе творческим принципам Мандельштама, чем основанный на причинно-следственной связи. «Систематиком без всякой примеси» считал себя

Б.С.Кузин с тех пор, как он, по его словам, потерял интерес к эволюции (см.: Куз и н Б. Воспоминания. Произведения. Переписка. СПб., 1999).

*Паллас* Петр Симон (1741—1811) — знаменитый академик-натуралист и путешественник екатерининских времен, приглашенный в Россию в 1768 г. Мандельштам читал пять томов его «Путешествий по разным провинциям Российской империи» (1773—1776).

*Мариона* (марена) — краситель алого цвета, добываемый из корня одноименного растения.

С. 207. *Демон чтения вырвался из глубин культуры-опустошительницы.* — Перед этим в записях: «Она (книга. — А.М.) еще не продукт читательской энергии, но уже разлом биографии читателя; еще не находка, но уже добыча. Кусок струистого шпата. Наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных ассоциаций достаются ей в обладание бесконтрольное и хищное». И далее: «Новая литература предъявила к писателю высотное требование, от которого у многих авторов закружилась голова: не смей описывать ничего, в чем так или иначе не отобразилось бы внутреннее состояние твоего духа... Итак, авторский замысел вторгается в пережитое. Мы читаем книгу, чтобы запомнить, но в том-то и беда, что прочесть книгу можно только припоминая».

*...я благодарю кита за то, что он пробудил во мне ребяческое изумление перед наукой.* — В черновых записях: «В темном вестибюле зоологического музея на Никитской улице валяется без призора челюсть кита, напоминающая огромную соху. Навещающая ученых друзей на Никитской и любящая на эту диковину...»

*Низшие формы органического бытия — ад для человека.* — Тема апокалипсического стихотворения Мандельштама «Ламарк» (1932):

...И от нас природа отступила  
Так, как будто мы ей не нужны,  
И продольный мозг она вложила,  
Словно шпагу, в темные ножны,

И подъемный мост она забыла,  
Опоздала опустить для тех,  
У кого зеленая могила,  
Красное дыханье, гибкий смех...

С. 208. *Лафонтен Жан* (1621—1695) — французский писатель, прославленный книгами своих басен.

С. 210. *Люблю мусульманские эмали и камни.* — То есть те же миниатюры, как если бы они были созданием резца (намек на «Эмали и камни» — сборник стихотворений Т.Готье в переводе Н.Гумилева).

*Фирдусси* (Фирдоуси, 934—1020) — персидский поэт, автор грандиозной поэмы «Шах-наме» («Книга царей»), основанной на героических сказаниях древних персов.

*Джемджид* — из «Шах-наме», царь, чье счастливое правление длилось семьсот лет.

С. 211. *Мамикон Артемьевич Геворкьян* (1877—1962) — переводчик и театральный деятель, в то время директор Государственной публичной библиотеки Армении.

С. 212. *Аштарак* — селение (ныне город) к северо-западу от Эривани, на южном склоне горы Алагёз (Арагац).

*...служение облаков Арарату.* — Высочайшая гора армянского нагорья здесь образ и символ «земли араратской» — Армении. Ранее пограничная область между Россией, Турцией и Персией, Большой и Малый Арараты по договору 1921 г. отошли к Турции.

*Ямщицкая гора, сверкающая снегом...* — Алагёз. Вершина этой горы, как и араратской, покрыта вечным снегом.

*...скрипка, расхищенная на сады и дома...* — Намек на «танцующие осколки скрипки, некогда разбитой Пикассо», как писал Мандельштам в одной статье, подразумеваемая кубистскую картину Пикассо «Скрипка» из Музея нового западного искусства.

С. 213. *Ваше письмо на восемнадцать листах...* — Письмо от Б.С.Кузина.

С. 214. *Аштарацкая церковка...* — Из двух древних церквей в Аштараке — Кармравор (VII в.) и Марине (1281) — к описанию Мандельштама ближе первая.

*...вмурован в плоскостенный дом свой, как несчастный персонаж в романе Виктора Гюго.* — То есть в чересчур очевидную нравственную логику его романов.

*Труженик в черной рубашке...* — Портрет напоминает фигуру рабочего Клода Ге из одноименной повести В.Гюго.

*...к шотландским мученикам, к Стюартам.* — То есть к запечатленным судьбам представителей древнего шотландского рода Стюартов — шотландской королевы Марии Стюарт и ее внука, английского короля Карла I, кончивших жизнь на плахе.

С. 215. ...*как некогда «Вертер»*. — «Страдания юного Вертера» Гёте.

С. 216. ...*славный латинский «герундивум»*... — В латинском языке это причастие будущего времени пассивного залога, в соединении с глаголом «быть» означающее, что кто-то должен подвергаться известному действию. Однако в примерах (на глагол *laudare* — хвалить) Мандельштам употребляет форму причастия активного залога, означающую, что кто-то намерен что-либо сделать: *laudaturus est* вместо пассивного *laudandus est*. Активный залог здесь напоминает о знаменитом приветствии римских гладиаторов: *Ave, Caesar, morituri te salutant* (Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют), эта категория страдательного долженствования, принятая по отношению к действительности в этой главе. В черновых записях осталось: «Я хочу познать свою кость, свою лапу, свое гробовое дно. Выйти к Арарату на каркающую, крошащуюся и харкающую окраину. Упереться всеми ребрами моего существа в невозможность выбора, в отсутствие всякой свободы. Отказаться добровольно от светлой нелепицы воли и разума. Если приму как заслуженное и тень от дуба, и тень от гроба, и твердокаменность членораздельной речи — как я тогда почувствую современность? Что мне она? Пучок восклицаний и междометий! А я для нее живу...»

С. 221. *Шарманка диоритовых пород*... — Диорит — кристаллическая зеленокаменная порода, сложившаяся в результате древнейших выбросов из глубин Земли.

С. 222. *Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану*. — Перед этим в записях: «Тамерланова завоевательная даль стирает всякие обычные понятия о близком и далеком. Горизонт дан в форме герундивума».

С. 223. *Тело Аршака неумыто, и борода его одичала*. — Следует вольный перевод отрывка из «Истории Армении» Фастоса Бюзанда (V в.). На русский язык «Историю» переводил М.А.Геворкьян (перевод увидел свет в 1953 г.). Вероятно, Мандельштам знакомился с этим источником через посредство Геворкьяна. Канва исторического сюжета состоит в следующем. Армянский царь Аршак II (IV в.) восстал против персидского царя Шапуха. Тот якобы для заключения мира пригласил Аршака в свою столицу Ктесифон и вероломно заключил его в крепость Аньош — «крепость забвения», где узник обречен был закончить

свою жизнь. Дармаст спрашивает для Аршака «один добавочный день». Был устроен подобающий царям ужин и заказана музыка. В середине пиршества Аршак схватил нож и вонзил его себе в сердце.

«Этот кусок был снят цензурой, — замечает Н.Я.Мандельштам. — Каким образом он прошел? Не за это ли крыли Вольпе (редактора в «Звезде». — А.М.)?»

*Александр Морозов*



# СОДЕРЖАНИЕ

*Андрей Битов*  
ТЕКСТ КАК ПОВЕДЕНИЕ  
(*Воспоминание о Мандельштаме*)

—5—

ШУМ ВРЕМЕНИ

—17—

ФЕОДОСИЯ

—89—

ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА

—109—

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА

—151—

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ

—173—

ПРИМЕЧАНИЯ

—225—

**ШУМ ВРЕМЕНИ**

Редактор *В.П.Кочетов*  
Художественный редактор *Т.Н.Костерина*  
Технолог *С.С.Басилова*  
Компьютерная верстка обложки *В.М.Драновский*  
Оператор компьютерной верстки *М.Е.Басилова*  
П. Корректоры *В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский*

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года  
Налоговая льгота –  
общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,  
том 2: 953000 – книги, брошюры  
Подписано в печать 10.11.2001  
Формат 60x100/16. Гарнитура Гарамонд  
Печать офсетная. Объем 19 печ. л.  
Тираж 5 000 экз. Изд. № 1448  
Заказ № 2616

Издательство "ВАГРИУС"  
129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1  
Электронная почта (E-Mail) – *vagrius@vagrius.com*

Получить подробную информацию о наших книгах и планах  
Вы сможете, посетив сайт издательства в сети  
Интернет *http://www.vagrius.ru*

Отпечатано с готовых диапозитивов  
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Оптовая торговля:  
Эксклюзивный дистрибьютор издательства "Клуб 36'6"  
г. Москва, Рязанский пер., д. 3, этаж 3  
Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90  
E-mail: *club366@aba.ru*

КОРФ "У Сытина":  
125008, Москва, пр-д Черепановых, д 56  
Тел.: (095) 156-86-70. Факс: (095) 154-30-40  
Электронная почта: *shop@kvest.com*

Фирменный магазин "36'6 – Книжный двор":  
Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93  
Тел.: 523-92-63, 523-25-56. Факс: 523-11-10  
107078, г. Москва, а/я 245 "Клуб 36'6"

Интернет-магазин: *http://www.24x7.ru*

*«Литературные мемуары»* —  
живые и яркие свидетельства выдающихся российских  
и зарубежных писателей об эпохе,  
о современниках, о себе.

В серии вышли:

- Михаил и Елена Булгаковы* «ДНЕВНИК МАСТЕРА  
И МАРГАРИТЫ»
- Владимир Гиляровский* «МОИ СКИТАНИЯ»
- Артур Конан Дойл* «ЖИЗНЬ,  
ПОЛНАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

---

Готовятся к изданию:

- Иван Бунин* «ГЕГЕЛЬ, ФРАК, МЕТЕЛЬ»
- Зинаида Гиппиус* «НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ»
- Редьярд Киплинг* «НЕМНОГО О СЕБЕ»
- Агата Кристи* «АВТОБИОГРАФИЯ»
- Тэффи* «МОЯ ЛЕТОПИСЬ»
- Виктор Шкловский* «ЕЩЕ НИЧЕГО  
НЕ КОНЧИЛОСЬ»

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT  
СЛОВА УЛЕТАЮТ, НАПИСАННОЕ ОСТАЕТСЯ



*Осип Мандельштам (1891–1938) –  
одна из ключевых фигур  
русской культуры XX века,  
ее совершенно особый  
и самобытный поэтический голос.*  
*«В ремесле словесном я ценю только дикое мясо,  
только сумасшедший нарост», –  
так определял Мандельштам особенность  
своей автобиографической прозы,  
где он сознательно ломает  
классическую форму повествования,  
ибо под напором внешних событий  
судьбы отдельных людей  
как бы отодвигаются на второй план.*  
*Проза Мандельштама  
с ее афористичной, лаконичной, плотной  
языковой тканью – это прежде всего  
«шум времени», не летопись,  
а – оратория эпохи.*

ISBN 5-264-00436-6



9 785264 004360 >

ВАГРИУС